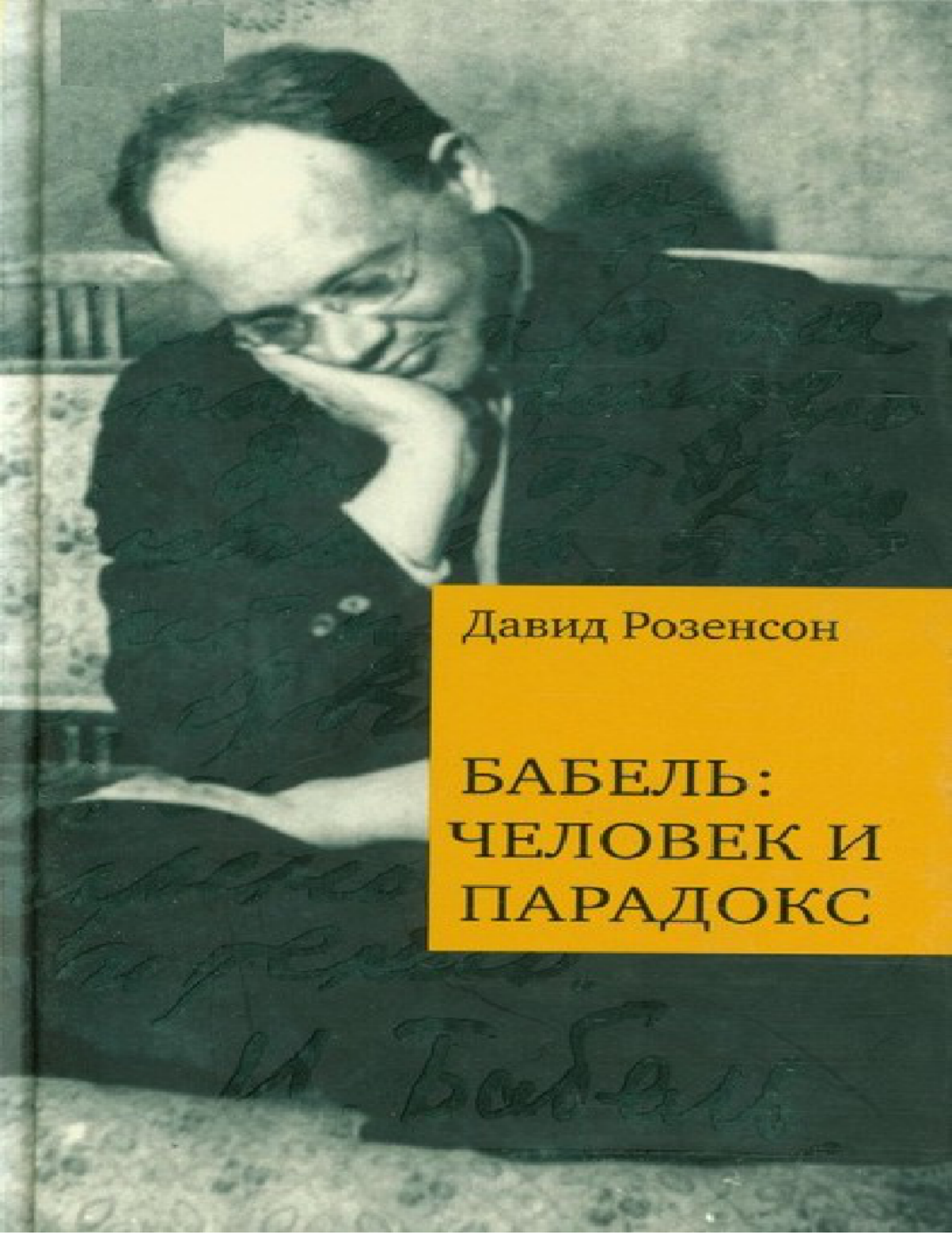


Давид Розенсон

БАБЕЛЬ: ЧЕЛОВЕК И ПАРАДОКС

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу. Вместе с читателями автор книги пытается найти ответ на вопрос: в чем сложность и тайна личности Исаака Эммануиловича Бабеля?

- Давид Розенсон
  - Предисловие
  - Бабель:
    - Введение
    - Часть I
    - Часть II
  - ПРИЛОЖЕНИЯ
    - Библиография переводов Бабеля на иврит, опубликованных в периодических изданиях до 1970 года (в хронологическом порядке)
    - Сведения об ивритских журналах и газетах, в которых публиковались переводы творчества бабеля до 1970 года
    - Переводчики, переводившие произведения Бабеля на иврит до 1970 года
    - Список литературы
  - Исаак Бабель
  - Иллюстрации
    -
    -
    -
    -

- notes
  - 1

Давид Розенсон
Бабель: человек и парадокс

С любовью посвящаю эту книгу маме, сестре и моей жене Дженни. Вместе с моими детьми они постоянно дают мне возможность видеть смысл и красоту жизни.

Предисловие

«…Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?..

…Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены»[1].

Это книга — результат любви. Многие спрашивали меня, почему я решил написать ее. Мои коллеги хотели знать, для чего я добровольно отказался от сна, ночами работая над этой рукописью. Моя семья, которая всегда являлась моей главной опорой в жизни, тоже пыталась понять причины. И хотя я удовлетворил их любопытство, все же от истинного ответа уклонился. Почему? Все просто: в то время, когда я осознал, что не смогу писать так же мощно, как Бабель, его личность, мудрость, тяга к жизни и его молчание в те трудные годы еще с детских лет привлекли мое внимание.

Возможно, мой интерес к Бабелю связан с детскими воспоминаниями о квартире моего деда в центре Ленинграда и о фотографии Бабеля, которую он прятал в ящике комода около кушетки. Помню, над ней висел большой шерстяной ковер с изображением двух сражающихся казаков, который согревал и стену, и меня. На фото Бабель сидел, поджав под себя ноги, и смотрел в сторону, при этом на его лице играла озорная улыбка. Он улыбался самому себе, окружающему миру и, быть может, читателям своих произведений. Был еще один снимок, обнаруженный мной годы спустя: фото из его досье после его ареста.

И, разумеется, сила прозы Бабеля, его рассказы, которые я прочел, а затем перечитывал снова и снова, уже не отпускали меня.

Я очень хорошо помню эту ленинградскую квартиру, и как я лежал на кушетке в крошечной кухне под древними деревянными настенными часами, которые перевезли из Рогачева, где родился

мой дед. Тиканье старых настенных часов пугало, очаровывало и волновало меня, заставляя бежать к окну и вглядываться в темную ленинградскую ночь. Я открывал окно, впускал холодный зимний ветер, и мое воображение разыгрывалось. Когда занимался рассвет, я бежал в соседнюю комнату, будил деда и слушал, как он читает отрывки из произведений великих мастеров. Таким было мое детство, и Бабель всегда оставался нераскрытой тайной для меня. Я был юн, и он увлек меня, чтобы никогда больше не отпустить.

Позже, когда я читал воспоминания Паустовского о Бабеле, о его жизни и борьбе, мне казалось, будто сам Бабель разговаривал со мной — это чувство было очень личным и одновременно преобразующим.

Бабель был непростым человеком — так, не стоит недооценивать его страстное служение своему делу, равно как и его желание понять этот непростой мир. Его личность сложна, многогранна, и мне хотелось понять его, найти ответы на свои вопросы.

В частности, меня интересовало творческое молчание Бабеля в определенный период. Тем не менее меня не покидало желание приблизиться к истине, дабы понять бушевавшие в нем страсти, его беду, славу, падение, воскрешение и любовь, которую он питал к своей семье, близким друзьям и своему народу.

Как отмечает Григорий Фрейдин, Бабель до сих пор остается загадкой. Даже слегка приоткрыть завесу тайны, окутывавшую жизнь этого человека, оказалось делом нелегким; мои друзья и коллеги предупредили меня, что всех, кто пытался сделать это, Бабель ставил в тупик, заставляя тратить годы на исследования. А в результате их рукописи заполняли пыльные ящики без надежды когда-либо увидеть свет.

Сложность этой задачи и натолкнула меня на мысль заняться исследованием личности Бабеля. Более того, те же коллеги и друзья постоянно призывали меня не бросать мои исследования, несмотря на многие препятствия, которые, возможно, сам Бабель и расставил на моем пути.

Хотя я понимаю, что полностью раскрыть тайну Бабеля почти невозможно, я все же надеюсь, что читатель найдет интересными и книгу, и идеи, изложенные в ней. Когда я вспоминаю все места и города, где я работал над книгой, — моя любовь и, если угодно, одержимость Исааком Бабелем и русской литературой по-прежнему не покидают меня. И у меня есть стойкое ощущение, что Бабель не отпустит никого, кто заинтересовался его судьбой, равно как не оставлю его я.

Завершив книгу, я должен поблагодарить тех, кто лично, а

также своими работами помогал в моих исследованиях, проясняя многое. Среди них Поль Мендес-Флор, Григорий Фрейдин, Эфраим Зихер, Федор Левин, Сергей Поварцев, Борис Фрезинский, Стив Левин, Борис Сарнов, Леонид Кацис, Павел Шкаренков, Алена Яворская, Елена Куракина, Анна Мисюк, Зоя Копельман, Михаил Одесский, Аркадий Ковельман, Екатерина Скороспелова, Синтия Озик, Рут Вайс, Шауль Штампфер, Семен Парижский, Александр Иличевский, Константин Паустовский, Антонина Пирожкова, Наталья Бабель, Андрей Мамаев-Бабель и многие другие.

В процессе работы я провел немало времени в Одесском литературном музее, Московском литературном музее и РГАЛИ (Российском государственном архиве литературы и искусства), встречался с людьми, которые были либо лично знакомы с Бабелем, либо знали его близких знакомых и друзей.

Особенно я хочу поблагодарить своего коллегу и друга Светлану Бусыгину за ее бесконечное терпение, которое понадобилось ей при прочтении черновиков, что оказало мне неоценимую помощь.

Выражаю свою признательность редакторам книги Михаилу Эдельштейну и Юлии Зварич. Их труд — внимательное прочтение рукописи и редактирование — сыграл важную роль в усовершенствовании книги, а все ошибки и недочеты этой работы остаются исключительно на моей совести.

В заключение хочу добавить, что работа над книгой была бы невозможна без поддержки моей семьи — моей мамы Милы, сестры Елены и родителей моей жены — Адели и Феликса.

Отдельные слова благодарности и признательности — моей жене Дженни и моим детям. Они наполняют мою жизнь смыслом, и я не нахожу слов, дабы выразить свою благодарность за их любовь, веру в меня и поддержку во всех моих начинаниях.

Давид Розенсон

Москва — Иерусалим, 2014

Бабель:
Человек и парадокс

Введение

За последние полвека жизнь и творчество Исаака Эммануиловича Бабеля рассматривались с самых разных позиций. Но художественный мир автора «Конармии» еще таит в себе загадки. Одна из них — еврейская тема, ее образность и символика, пронизывающие его произведения.

Казалось бы, невозможно игнорировать еврейскую тему в текстах Бабеля, но именно это происходит в мировом литературоведении вот уже шестьдесят лет. Умолчание советской литературы можно объяснить цензурой, но что мешало западным исследователям? К примеру, выдающийся американский критик Лайонел Триллинг в предисловии к сборнику переводов рассказов Бабеля, упомянув о еврейском образовании автора, заключает: «Остается неясно, что думал автор о евреях, о религии или о человеческих добродетелях».

Замалчиванию еврейской темы способствовали и личность Бабеля, и судьбы людей, связанных с ним семейными узами. Биографии последних разделили многочисленные драматические повороты в участи советского еврейства от первых послереволюционных десятилетий до времени посмертной реабилитации писателя, включая «дело врачей» и гибель столпов советской идишской культуры: посмертное издание Бабеля началось лишь в 1957 году.

Вплоть до гибели Бабель хранил молчание о своей личной жизни, тем более о каком-либо следе еврейства в ней; вдобавок он редко когда, говоря о себе, не вплетал в подлинные факты вымысел, а в вымысел реальные события. Все это делает образ автора расплывчатым и вызывает необходимость навести резкость.

К тому же никто не рассматривал, как воспринимала Бабеля зарождающаяся ивритоязычная пресса, хотя среди его переводчиков и критиков были и те, кто начинал свою работу в 1920-х в СССР, а продолжал уже в новообразованном Израиле. Между тем книги Бабеля и вызванные ими споры использовались для формирования определенных политических позиций как среди русских, так и среди ивритоязычных читателей.

Исследование критического корпуса, основанного на произведениях Бабеля, и двух его самых личных текстов — дневника 1920 года и писем родным — позволит нам сделать вывод о принципиальной двойственности личности Исаака Бабеля; и о том, что иудаизм стал ключевым фактором формирования его как писателя. Мы увидим, как иудаизм и

иудейские образы участвовали в создании художественного мира Бабеля, исследуем опорные точки отношения писателя к религиозному наследию своего народа, рассмотрим, как менялось его отношение к религии, и выявим документы времен Гражданской войны, отразившие события, которые происходили в местах традиционного проживания евреев Восточной Европы и которые также попали в дневник 1920 года, чтобы стать основой богатых и ярких образов бабелевской прозы.

Часть I
Внутри и снаружи

Отчуждение как сродство

Понимание творчества и судьбы Бабеля возможно только в широком контексте того исторического периода, когда он жил и работал, в контексте смыслов, порождаемых еврейской интеллигенцией в мировой культуре того времени.

Как отмечает ведущий современный историк Поль Мендес-Флор, отношения еврейской культуры с доминантной культурой определяются тем, что сохранение культуры меньшинства требует сознательного усвоения ею моделей жизни, предлагаемых обществом, и приспособления отдельной личности к социальной системе взаимоотношений. Например, положение немецко-еврейской интеллигенции XX века во многом было сходно с положением евреев в царской и затем в советской России после революции. Еврейские интеллектуалы в Германии являли собой архетип «близкого чужака». В культуре большинства они оказывались «инсайдерами», однако социально-политическое отторжение евреев обществом затрудняло приспособление их к структуре социума, всегда накладывало печать «инакости». Часто еврейский интеллектуал оказывался отчужденным, и преодолеть это можно было, лишь отвергнув свою религиозную принадлежность, то есть крестившись. Однако метаморфоза идентичности не отменяла полностью маргинальности, инакости таких евреев, отрекшихся от еврейства.

Оставив общину, еврейские интеллектуалы погружались в светскую культуру, не унаследовав традиционных обычаев неевреев. Еврейская же интеллигенция удерживалась обществом снаружи — часто при помощи сознательной позиции, диктуемой «стыдом за своих», который иногда порождал неприятие господствующей культуры, часто гневное. Даже признанные в литературе, искусстве или науке еврейские интеллектуалы оставались чужаками.

Такого «далекого, но близкого» чужака можно понимать как инсайдера с когнитивной точки зрения, но аутсайдера с точки зрения социальной и нормативной. Когнитивно он инсайдер, поскольку его чужеродность предполагает сродство (хотя и не экзистенциальное отождествление) с миром жизненного опыта внутри социального контекста, в котором находится чужак;

нормативно же чужак — аутсайдер, поскольку объективные факторы отчуждают его от общепринятых норм и ценностей.

Но отчего же еврейские интеллектуалы, несмотря на все усилия вживить свое сознание в область познания господствующей культуры, остаются чужаками, выпадающими из норм? Основной причиной этой фундаментальной отчужденности, маргинализации европейского еврейского интеллектуала было социальное отторжение. Желая слиться с обществом и раствориться в нем, добившись высокого интеллектуального статуса или ученой степени, еврейский интеллектуал разрывает завесу, пускает корни в культуре, становясь когнитивным инсайдером, но в отношении культурных смыслов, впитать которые возможно только с самого рождения, он не вполне оказывается наделен душевной силой, необходимой для полного включения в социум.

Человек, покидающий дом, видит много непривычного; но это не означает, что он станет молиться всем чужим богам, попадающимся ему на пути. Хотя интеллектуально еврей, вероятно, превратится в чужака и, возможно, интегрируется в доминантную культуру, духовно он, скорее всего, останется евреем. Это неискоренимое еврейство объясняется прочностью фундаментальных этнических привязанностей и моральных норм.

Еврейский дом

Исаак Бабель родился в 1894 году в Одессе, портовом городе на Черном море. В 1880-1920-х годах одесская еврейская община количественно уступала только варшавской и оказывала значительное влияние на еврейскую диаспору в других частях страны.

В 1897 году евреи составляли около трети городского населения; причем община стремительно увеличивалась, ее влияние росло благодаря тому, что евреи активно участвовали в экономической, политической, образовательной и культурной жизни Одессы. До Второй мировой войны в городе проживало более двухсот тысяч евреев; каждый третий одессит был евреем, но сначала погромы, а затем катастрофа Второй мировой войны нанесли чудовищный урон еврейской общине Одессы, отличавшейся необыкновенным разносторонним колоритом.

Одесская еврейская община, в которой родился Бабель, была едва ли не самой «западной» общиной черты оседлости. В Одессу стекались евреи со всей России и из-за границы (в частности, из галицийских Бродов и из Германии в 1820-1830-х годах). В начале

XIX века Одесса стала важнейшим связующим звеном между черноморскими и средиземноморскими портами. В других регионах Российской империи евреи были ограничены в правах из опасения, что они составят конкуренцию христианам, и оказывались востребованы в Одессе именно потому, что поддерживали отношения с другими еврейскими общинами в пределах черты оседлости, умели вести с ними торговые дела. Евреи стали важнейшими посредниками одесской коммерции, занимали центральные посты в промышленных и торговых компаниях и превратили Одессу в крупнейший порт идишского мира.

Благодаря прочным связям с внешним миром отказ от еврейской религиозной традиции стал в Одессе обычным делом. Повсеместная ассимиляция впервые столь широко способствовала распространению русского образования. Сионистское движение начиная с 1890-х годов стало влиятельным, привлекало молодых интеллектуалов из городков черты оседлости. Еврейские литераторы, интеллектуалы, историки, активисты сионистского движения: Ахад а-Ам, Менахем Усышкин, Меир Дизенгоф, Владимир Жаботинский, Хаим Черновиц, Йеошуа-Хоне Равницкий, Менделе Мойхер-Сфорим, Семен Дубнов, Шаул Черниховский — лишь немногие из тех, кто публиковался в Одессе на русском и еврейском языках и участвовал в сионистском движении Одессы.

В частности, благодаря им далеко за пределами Одессы распространялись секуляризация прежде закрытых еврейских общин, сионизм как важный символ национальной гордости (и альтернатива традиционным еврейским ценностям), западная литература и мировая культура.

Многие одесские евреи были маскилим, то есть последователями еврейского просветительного движения Хаскала, и их подход к иудаизму был, по сути, светским. В те годы для одесского еврейства ассимиляция не означала совершенного разрыва с еврейским прошлым: в городе было множество хедеров; в более современных еврейских школах преподавали русский язык; выходили влиятельные еврейские газеты, работали сионистские организации, организовывались многочисленные еврейские семинары и ешивы (откуда, например, вышли такие светила, как лингвист Иосиф Клаузнер и другие). На улицах слышалась идишская речь, соблюдались традиции еврейских праздников.

Ассимиляция нередко регулировалась сильной еврейской идентичностью и образованием. Многие из ассимилянтов в юности получили еврейское образование, и в их культурном

багаже имелись еврейская традиция, идиш, иногда даже иврит; их активная позиция в еврейской культуре сочеталась с жаждой ближе познакомиться с российским обществом и приспособиться к нему.

Невзирая на стремление к интеграции, еврейская община была до основания потрясена еврейскими погромами в Одессе (1821, 1859, 1871, 1881 и 1905 годы) и другими примерами агрессии в отношении еврейской общины, в результате чего радикализовалась социально-политическая позиция одесского еврейства.

Отчетливые, упорные антисемитские настроения угрожали еврейскому населению, его росту и развитию культурных достижений. Поскольку в некоторых городах страны не было таких условий, одесские богатые русские и греческие купцы, украинские интеллектуалы-националисты и христиане свободных профессий опасались роста еврейской общины Одессы и ее коммерческого успеха (погромы 1871 и 1881 годов).

Власти не обращали внимания на антисемитские течения в деловой и частной жизни. Они закрывали глаза на жестокие погромы и в некоторых случаях даже способствовали им; эти сопряженные с насилием антиеврейские выступления потрясли еврейские общины черты оседлости и особенно западническое, образованное еврейское население, преобладавшее в Одессе. До начала трагических событий эта прослойка считала, что ее интеграцию в российское общество не просто терпят, но принимают с уважением.

При этом предполагается, что правительство одобряло погромы, используя их как возмездие за участие евреев в революционном движении и механизм перевода активности возмущенных масс с антиправительственных выступлений на юдофобию (1881, 1905 годы).

Самый жестокий погром случился в городе в 1905 году при явной поддержке властей. Тогда в Одессе погибли более трехсот евреев, тысячи были ранены. В рассказах Исаака Бабеля «Первая любовь» и «История моей голубятни» описывается жестокость погромов тех лет, когда толпа разграбила лавку его отца и жестоко убила его деда (возможно, двоюродного деда) Шойла.

Но предреволюционными эксцессами дело не ограничилось. Погромы происходили на Украине и в Бессарабии повсеместно. Знаковыми здесь стали кишиневский погром 1903 года с жестокими выступлениями казаков против евреев при полном попустительстве царской полиции и киевский погром 1919-го, положивший кровавое начало массовым погромам в местах компактного проживания евреев накануне и во время

Гражданской войны. По разным подсчетам, в этот период на Украине произошло от 887 до 1500 погромов, в ходе которых были убиты от тридцати до семидесяти тысяч евреев. По подсчетам историков, в 1918–1920 годах было убито до двухсот тысяч евреев (у историков есть разногласия по этим цифрам. В разных подсчетах от пятидесяти до двухсот тысяч). Погромы были отмечены редкой жестокостью: тысячи изнасилованных, дома и лавки в местечках разграблены и разгромлены, мужчины и женщины избиты до смерти или похоронены заживо. Казаки поджигали синагоги, обезглавливали евреев. Город Проскуров (позже Хмельницкий) стал местом самого ужасного преступления из всех, что совершались против евреев до появления нацизма. Жестокие массовые еврейские погромы продолжались по всей Украине до 1921 года.

Причем антиеврейские настроения и резню по-прежнему провоцировал кровавый навет. Дело Менахема-Мендла Бейлиса, украинского еврея, отставного солдата, приказчика на кирпичном заводе Зайцева в Киеве, послужило основанием для чудовищных обвинений, выдвигаемых против евреев. В 1911 году Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве тринадцатилетнего украинского мальчика, пропавшего по дороге в школу. В ожидании суда Бейлис два года просидел в тюрьме, а российские газеты между тем развернули яростную антисемитскую кампанию, обвиняя евреев в ритуальных убийствах христианских детей. Максим Горький, Александр Блок и многие другие опровергали эту ложь, западная пресса регулярно критиковала антисемитскую политику Российской империи, однако Бейлис вышел на свободу, лишь когда были дискредитированы главные свидетели и дело совершенно развалилось. Бейлиса полностью оправдали, но раны «дела Бейлиса» так и не затянулись, и в городах и деревнях по всей империи по-прежнему лилась еврейская кровь.

В таком ландшафте еврейской жизни родился Исаак Бабель. Его семья ассимилировалась, он впитывал с детства русскую и западную культуру, учил французский и немецкий, и, если верить его словам, первые рассказы написал по-французски. В то же время он не мог не видеть ужасов жестоких погромов и антиеврейского законодательства, хоть они и не коснулись непосредственно его семьи (во всяком случае, документальных подтверждений тому нет). Как было отмечено выше, в «Истории моей голубятни» и «Первой любви» описано убийство его родственника, а также казаки, грабящие лавку, которая напоминает лавку отца Бабеля. В «Первой любви» он говорит, что семья не пострадала. Поскольку в своих работах Бабель смешивал факты с вымыслом, трудно сказать, какая из версий истинна, но

не приходится сомневаться в том, что погромы сильно повлияли на семью, даже если члены семьи не пострадали лично.

Несмотря на рождение в ассимилированной семье, Бабель полагал себя частью своего народа, и его духовные искания касались традиций и обычаев его веры. Из-за процентной нормы, ограничивающей поступление евреев в высшие учебные заведения, Бабель не мог поступить в университет в Одессе и уехал в Киев, где в 1911 году поступил в Киевский институт финансов и предпринимательства (он окончил его в 1917-м). Как мы знаем, Бабель жил в городе в период дела Бейлиса — еще одно обстоятельство, которое вряд ли избежало внимания любознательного юноши. В 1913 году он опубликовал свой первый рассказ «Старый Шлойме» — о старом еврее, который покончил с собой, чтобы не отказываться от религии отцов.

Бегство с Молдаванки

В рассказах Бабель зачастую мифологизирует свою биографию, но вот что он сам пишет о своей юности: «Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там monsieur Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков… и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне».

«Он обучил меня своему языку», — пишет Бабель, с детства погруженный в многоязычную культурную среду, с юности испытавший влияние французского языка и, главным образом, Ги де Мопассана, который был для него одним из главных писателей и чьего уровня Бабель стремился достичь.

Бабель гордится тем, что с юных лет был обращен к миру, но

подчеркивает свое еврейское воспитание. Симон Маркиш вспоминал, что, хоть Бабель и не соблюдал религиозных еврейских традиций, они всегда оставались неотъемлемой частью его натуры. Потомок евреев с Молдаванки, сын торговца, заставлявшего сына учить еврейскую науку, Бабель признается, что навязанное родителями домашнее обучение его утомляло, школу он воспринимал как отдых и более всего восхищался учителем французского, далеким от всего еврейского человеком. Месье Вадон познакомил его с французской литературой, чем, по сути, выдернул из анклава на Молдаванке, из Библии, Талмуда, вытолкнул в мир писателей, которыми — особенно Мопассаном — Бабель научился восторгаться.

Тем не менее Бабель чувствовал, что французский язык не позволил ему достичь вершин литературы. Для этого ему пришлось вернуться к его родным темам и языку — к русским и еврейским персонажам и сюжетам, которые оказались гораздо ближе и роднее его самости и куда более податливы его способности подчинять язык воле художественной выразительности.

Бабель продолжает: «…в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением.

Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке „Летописи“ за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди».

Итак, Бабель вновь обращается к новому миру, а не к своему еврейскому прошлому. Вероятно, его задатки позволяли понять, что все самое интересное в художественном мире рождается именно в диалоге культур. Возможно, уроки, преподанные Горьким, он сравнивал со школьными уроками французского, полагаясь на то, что лишь нееврейский мир позволит ему полностью раскрыться как писателю. Вместе с этой историей побега Бабель пишет автопортрет, черты которого явно выдают влияние, которое оказал на него Горький, один из крупнейших литературных деятелей того времени, отправивший своего

подопечного учиться уму-разуму у жизни — в ту настоящую (а не одесскую) Россию, описанную им в автобиографической повести «Мои университеты». Письма Бабеля матери и сестре и воспоминания его жены Антонины Пирожковой подтверждают, что Горький играл крайне важную роль в жизни Бабеля и до самой смерти защищал своего протеже от многочисленных опасностей. После смерти Горького Бабель говорил: «Теперь мне жить не дадут». В письме от 19 июня 1936 года Бабель пишет из Москвы: «Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним…» Его придворный покровитель скончался, Бабель остался один на один со своей жизнью, частной и литературной, и вынужден был сам — и тщетно — увертываться от отравленных стрел своих недругов и от ужасов того времени.

Дочь Бабеля Натали пишет: «Бабель изобретательно искажал факты своей биографии — отчасти потому, что хотел изобразить прошлое, подобающее молодому советскому писателю. (К примеру, мама говорила, что его сотрудничество с ЧК — фикция чистой воды.) Дело осложняется тем, что Бабель с наслаждением мешал факты с вымыслом, будто одной силы поэзии достаточно, чтобы превратить выдумку в явь».

Четырнадцатого октября 1931 года Бабель и сам написал матери: «Я просил… послать вам и Жене по номеру журнала „Молодая Гвардия“. Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием „История моей голубятни“. Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено…»

В упомянутом сборнике, в рассказе «В подвале», Бабель выразительно показывает разницу между собственным гротескно-печальным семейством и семьей умного и богатого Марка Боргмана, чей отец — «директор Русского для внешней торговли банка». Он начинает рассказ словами, противоречащими ранее упомянутым автобиографическим воспоминаниям: «Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..»

Так какому Бабелю верить?

Лишь некоторые факты его биографии сомнению не

подлежат. Интересуясь идишем, Бабель знакомится с «дедушкой идишской литературы» Менделе Мойхер-Сфоримом (1836–1917). Бабель редактировал переводы Шолом-Алейхема на русский язык, а в 1920-х написал титры к немой экранизации рассказов о Менахеме-Мендле, фильму Алексея Грановского «Еврейское счастье», в котором сыграл его друг, знаменитый еврейский актер Соломон Михоэлс. В 1926 году появился киносценарий Бабеля по роману Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды»; в 1936-м издательство «Academia» поручило Бабелю отредактировать рассказы в полном собрании сочинений Шолом-Алейхема, готовившемся к 80-летию писателя: раньше он уже редактировал их в переводе Семена Гехта при подготовке двухтомника.

В 1914 году Бабеля освободили от военной службы, однако в 1917 году он записался добровольцем, но осенью уже вернулся в Петроград. Там он, по-видимому, через некоторое время был мобилизован строить заграждения против наступающего Юденича и после этого вернулся в Одессу. Все это позволило ему «отправиться в люди», как советовал Горький.

В апреле 1920 года, обзаведясь документами на решительно нееврейское имя Кирилла Васильевича Лютова, Бабель военным корреспондентом от «Юг-РОСТА» отправился в Первую конную армию Семена Буденного, скрыв это от родных. Сестра Бабеля Мария Эммануиловна Шапошникова рассказывала: «Поздней осенью 1920 года отец был вызван в редакцию, где ему сообщили, что сын его погиб… Отец имел мужество сохранить это известие в себе. Жена брата уехала в сторону фронта на розыски, но вскоре брат вернулся, об этом сообщили жене… К Буденному они собирались вместе с Исааком Лившицем. Лившица не пустили родители, а Бабель уехал».

Почему же Бабель в 1920 году вернулся на фронт? Судя по тому, что нам известно, Бабель испытывал неотвязное желание сбежать из еврейского дома в мир «других». Он хотел тщательнее изучить «других», хотел, чтобы «другие» стали своими, хотел войти в новый мир, находящийся за пределами родных переулков и дворов Молдаванки. А если вспомнить царские погромы и черту оседлости, легко допустить, что Бабель какое-то время искренне верил в мессианскую ценность революции и надеялся, что она принесет его народу освобождение, исполнение прекраснейшей мечты: полной интеграции евреев в советское общество. Бабель, без сомнения, был писателем революции, ее порождением; был захвачен ее идеализмом и идеями равенства, но со временем разочаровался и охладел к новой эпохе.

Глядя в зеркало: казак в еврее и еврей в казаке

Чем же объяснить зачарованность Бабеля обитателями нового становящегося мира — казаками Первой конной армии? Парадоксальный ответ на этот вопрос в том, что Бабель отождествлял казаков с евреями, аутсайдерами. Это кажется нонсенсом, ибо казаки преследовали евреев еще задолго до кровавой гайдаматчины. Однако казаки обладали особыми и не только героическими свойствами лихих воинов. Бабель испытывал к ним любопытство художника, потому что они были созвучны еврейской инаковости — они были «другими», ибо существовали в пограничье российского общества, выступали его инсайдерами, поскольку принесли присягу Красной армии, но оставались аутсайдерами с точки зрения общества в целом. В отличие от евреев, они отнюдь не были интеллигенцией — то есть Бабель столкнулся с народом столь же «иным», сколь «иным» был его собственный народ, с людьми, которые сознательно предпочли сражаться под чужим флагом, притом что никогда не смогут слиться с теми, для кого этот флаг родной.

Писателя завораживало и притягивало это странное метафорическое сродство казаков и евреев. Тем более сравнение евреев и казаков героизирует первых и гуманизирует вторых. В повести «Эдо и Эйнам» великого еврейского писателя Шмуэля-Йосефа Агнона рассказывается легенда о еврейском племени великанов — об одном из потерянных колен, которое обитает в далекой пустыне и может принести избавление своему народу. Этот мифический образ евреев-великанов — явно отчужденных, но глубинно родственных соплеменников, способных прийти на помощь в эпоху страданий и бедствий, — мог сыграть определенную роль в этом необычном сближении, использованном Бабелем.

Различия между евреями и казаками многообразны, однако рассмотрим сходства. В первом рассказе «Конармии» («Конармия» — книга из 34 рассказов — сделала Бабеля звездой мировой литературы), «Переход через Збруч», Бабель устами Лютова повествует, как квартировал у еврейской семьи в Новограде. Большевики проигрывают войну, победа переходит к полякам. Лютов обнаруживает беременную женщину, двух евреев, «третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене». Лютов видит омерзительные условия, в которых живут эти евреи, замечает «обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на Пасху». Он велит все убрать — быть может, это метафора избавления от прошлой жизни, сломанной, физически уничтоженной буйствующими поляками, и подготовки — во всяком случае, с точки зрения создателя Лютова — к чистоте и

здоровью, которые несет революция. Возможно, разбитая посуда символизирует конец еврейской свободы от рабства, празднуемой на Песах, — и исчезновение этих черепков — немаловажный залог обретения избавления. Герой засыпает, и его будит беременная еврейка, потому что он кричит и бьется во сне, — чтобы не толкался, она укладывает его подальше от своего отца. Она снимает с отца одеяло, и Лютов видит, что старик не спит — он убит. «Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца». Женщина говорит, что это сделали поляки. Отец умолял их убить его на дворе, чтобы дочь не видела, но они не послушались. И с душераздирающим чувством, которое Бабель передает всего несколькими короткими фразами, беременная женщина кричит: «…он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…»

Беременная еврейка, что носит в себе будущее, оплакивает смерть самого важного, что есть в ее жизни.

Позже Бабель предъявляет нам самого важного для казака «человека» — его коня. В рассказе «Афонька Бида» Конармию снова теснит неприятель, она внезапно получает поддержку местных мужиков, которые дерутся вместе с буденновцами «с величайшей старательностью», однако сдержать противника не удается. Быстро разделавшись с сутулым [еврейским] юношей в очках, слабаком, который дрался с «рассеянностью мечтателя», Бабель переключает внимание и неукротимое восхищение на казачьих лошадей. Взводный Афонька Бида, всеобщий любимец, убежден, что его возлюбленному коню не страшны никакие вражеские пули. Тем не менее коня ранили, «конь круто согнул передние ноги и повалился на землю».

В теле умирающего коня воплощается еврей, умирающий при погроме. «Прощай, Степан, — сказал он [взводный] деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?..»

Он лег лицом в рану, «струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его [коня] груди», но Афонька не шевелился. Коня пристрелили, но вечером Бабель/Лютов видит, что Афонька лежит подле сбруи своей лошади, неустанно, неотступно оплакивая ее смерть. «„С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биденко, — такого коня — где его найдешь?“ „Конь — он друг“, — ответил Орлов. „Конь — он отец, — вздохнул Биденко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня…“» Конь Афоньки Биды, «его отец», мертв — и где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец?

Бабель сопоставляет кровавое убийство еврейского отца с кровавой смертью коня. И здесь, возможно, и находится разгадка увлечения Бабеля казаками и его стремления в кавалерию. Казацкий конь и еврейский отец отражают друг друга. Подобно тому как отцы суть заступники своих детей перед лицом опасностей жизни и праотцы — благодаря своим заслугам суть заступники для них перед Всевышним, так и конь — красивое сильное бессловесное животное — спасает и бережет воина от его врагов. И Бабеля эта необычная, но смелая красивая метафора завораживает — он видит солидарность еврейского мира своих отцов и конного мира казаков. Важно также добавить, что и сами казацко-еврейские взаимоотношения не так уж просто выглядят с еврейской стороны. Ибо евреи из Российской империи, ранние сионисты, охраняя свои земельные наделы от нападений арабов, представляли себя именно казаками. В новой ситуации они реализовывали и переворачивали полюсами трагический опыт, приведший и к возникновению сионизма, и к их практическому участию в строительстве еврейского национального очага.

Еврейскость рассказов Бабеля простирается далеко за пределы этих еврейско-казацких взаимных отражений. Противоречия между желанием войти в большой мир, а после Октября 1917 года и влиться в революционный поток привели к ситуации, которую можно охарактеризовать как война внутри: «да» субботе или «да» революции, но это — заведомо безнадежная битва.

Важно проследить эти «боренья с самим собой», как назвал это явление Борис Пастернак, чье имя нам еще встретится, поскольку возвращение Бабеля в актуальный мир советской и мировой литературы (начиная с ивритской) знаменательно совпадет с разгаром скандала вокруг «Доктора Живаго».

Опубликовав в журнале «Огни» свой первый рассказ «Старый Шлойме», девятнадцатилетний Бабель понял, что, работая с еврейской темой, важно обращаться не только к еврейским, но и к русским читателям. Единственный же способ этого достичь — примирить и сопоставить внешнюю позицию наблюдателя и собственные чувства и опыт. Лирический герой Бабеля сложился практически в самом начале творчества, начиная уже с рассказа «Детство. У бабушки». Ключ рассказа — в переключении с внутренней точки зрения на внешнюю, детскую. Мечта мальчика о побеге из душного замкнутого мира повторяется трижды. В этом рассказе есть парадоксальная фраза, которую можно было бы взять в качестве эпиграфа к теме отношения многих русских писателей и поэтов к своему еврейскому происхождению: «От всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться».

В «Истории моей голубятни» и «Первой любви» (оба 1925) ребенок с восхищением смотрит на казака, угрожающего его отцу, и замечает красоту физической силы в молодом крестьянине, который уничтожает его дом. Так инсайдер смотрит извне. Это создает поразительный художественный эффект, необычайно мощный, но вызывающий риск для писателя подпасть под обвинения в имморализме.

В «Пробуждении» (1931), опубликованном несколько лет спустя, Бабель изображает побег иного свойства. Главный герой, мальчик, который прежде не замечал мира за пределами своей еврейской жизни, бунтует против родителей и их стремления сделать из него гениального скрипача (в Одессе пестовались еврейские музыкальные вундеркинды) — и бежит к морю. Он учится плавать у русского атлета и газетного корректора, мечтает выучить названия деревьев и цветов, показывает свои первые литературные опыты этому обитающему далеко за пределами его корневого мира человеку. Он пытается вырваться на свободу и ступить в новый чуждый мир, который отчаянно мечтает покорить. Вот оно, подлинное «пробуждение».

Величайшее достижение, подаренное Бабелем мировой литературе, — это многоликий, с разъединенной душой рассказчик «Конармии», который с трагической тщетностью пытается отыскать свое место меж двух эпох и двух культур. Один из самых блестящих примеров мы обнаруживаем в трехстраничном рассказе «Гедали» (1924), где описывается бушующая внутри героя битва: «В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах…» Затем Бабель описывает свои «блуждания»: «Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды… Вот предо мною базар и смерть базара».

Звезда, отыскиваемая героем, — первая звезда, появляющаяся на небе, знаменуя начало субботы. Авраам Ибн-Эзра (1089–1164) — выдающийся средневековый еврейский сочинитель — важная фигура бабелевского контекста. Ибн-Эзра был не только известным комментатором Торы, но и великим поэтом и мыслителем, знатоком философии, астрономии и астрологии, математики, поэзии, лингвистики и экзегезы. Барух Спиноза, знаменитый голландский философ XVII века, автор «Этики», изгнанный из Амстердама еврейской общиной и живо описанный Бабелем в рассказе «В подвале» (датированном 1929 годом, но опубликованном в 1931-м), на комментариях Ибн-Эзры к

Второзаконию основывал свой вывод о том, что Тора была написана гораздо позже времен Моисея, — еретическая позиция с точки зрения традиционной еврейской мысли. Неизвестно, упоминает Бабель Ибн-Эзру в этом контексте (в рассказе «В подвале» говорится об отлучении Спинозы) или просто с ностальгическим вздохом по ушедшей юности, но очевидно, что упоминание Ибн-Эзры, а не более популярных комментаторов здесь не случайно.

На базаре главный герой находит старого Гедали, владельца еще не закрытой на субботу лавки. Гедали вопрошает: «Революция — скажем ей „да“, но разве субботе мы скажем „нет“?» «В закрывшиеся глаза не входит солнце, — следует ответ, — но мы распорем закрывшиеся глаза…» Затем старый Гедали говорит о злом поляке, который «закрыл мне глаза… Он берет еврея и вырывает ему бороду», и о чудесном обещании, что революция покончит с убийцами-поляками. Однако мудрый Гедали тут же добавляет: «И потом тот, который бил поляка, говорит мне: „Отдай на учет твой граммофон, Гедали…“ — „Я люблю музыку, пани“, — отвечаю я революции. „Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция…“»

Следует заметить: маловероятно, чтобы Бабель использовал имя «Гедали» случайно; почти наверняка это намек на праведного Гедалью, которого вавилонский царь Навуходоносор после завоевания Иерусалима назначил наместником Иудеи. После этого назначения многие евреи вернулись в Иудею, однако Гедалия был убит посланцами враждебного царя около 582–581 годов до н. э. Его убийство стало концом еврейского правления после разрушения Первого Иерусалимского храма (Иер., 40 и 1 Цар., 25). В Талмуде (трактат «Рош а-Шана») говорится, что однодневный пост, установленный в память об убийстве Гедалии, учит нас, что смерть праведного человека сопоставима с разрушением Храма, самого святого места для еврейского народа. Что касается «солнца, не входящего в закрытые глаза» — это явная библейская аллюзия, и в тексте Торы и Пророков есть несколько фрагментов, на которые можно сослаться. Наиболее вероятен такой укор согрешившему еврейскому народу: «Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели» (Ис., 44:18).

Бабель мастерски сгущает и сталкивает два борющихся в его душе отношения. Писатель, как никто, знал, как это делается: в июле 1930 года он дважды на обороте собственных фотографий пишет «В борьбе с этим человеком проходит моя жизнь». Одну такую фотографию он отправляет сестре в Брюссель, а вторую

дарит Татьяне Тэсс (псевдоним; настоящее имя Татьяна Николаевна Сосюра [1906–1983] — советская писательница, журналистка и публицистка, многолетняя сотрудница газеты «Известия». Окончила Одесскую консерваторию по классу рояля. Автор очерков, рассказов, документальных книг и повестей, публицист).

С одной стороны, звучит голос старого Гедали: «…поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раши и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..» Гедали умолкает, затем с важностью произносит: «Заходит суббота <…> евреям надо в синагогу». Он просит собеседника: «Привезите в Житомир немножко хороших людей», и тогда все они примут революцию.

Но вторым голосом автора герой отвечает: «Его [Интернационал] кушают с порохом и приправляют лучшей кровью…»

Так Бабель разрывает завесу, скрывающую революцию и ее кровожадных бойцов. В чем разница между одним и другим, между русским и поляком, если нет больше хороших людей?

Затем наступает суббота. И очарованный доблестью революции борец, явившийся ниспровергать прежнюю жизнь, спрашивает: «Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?» Негде достать. «Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…»

Свой шедевр Бабель завершает словами: «Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться».

Бабель осознает: выхода нет, все пропало. Оружие поляка и оружие русского — нет между ними разницы. Сеется хаос, разрушаются жизни, уничтожаются еврейские общины.

В некоторых других рассказах Бабель идет по тому же пути. «Сын рабби» (1924), который поначалу завершал «Конармию», открывается похожими воспоминаниями об уюте и тепле субботы, которые когда-то были испытаны героем в Житомире. В новелле «Рабби» Бабель приводит нас к рабби Моталэ Брацлавскому, где

мы знакомимся с его сыном Ильей, «последним принцем в [раввинистической] династии». Затем история меняется: герой-революционер отбивается от «тифозного мужичья», пытающегося влезть в поезд, кидается листовками Троцкого — единственное оружие против тех, кто не понимает. И всего одна рука тянется за листовкой — изломанная, умирающая рука Ильи, последнего принца. Потом он лежал голый, и «девицы… сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную, курчавую мужественность исчахшего семита»: в некотором смысле эта сцена может быть интерпретирована как констатация смерти еврейства и его религиозных традиций. Затем Бабель мастерски описывает, как главный герой собирает пожитки Ильи: «Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом… и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов». Среди нехитрого добра Ильи нашлись и вырванные из Библии страницы, и револьверные патроны. Бабель уточняет, что на вырванных страницах была Песнь Песней Соломона — одна из книг Танаха, описывающая отношения женщины и мужчины, от ухаживаний до соития. В Танахе это одна из самых коротких книг — в ней всего 117 стихов. Еврейская традиция считает ее притчей об отношениях Бога с Израилем, уподобляя их отношению мужа с женой. Юношеское образование Бабеля, вероятно, позволяло ему оценить смысл и значение Песни Песней. Главный герой, обращаясь к умирающему юному принцу, недоумевает по поводу его внезапной партийности, и выясняется, что при первой их встрече Илья уже был членом партии, но «не мог оставить свою мать» — свою веру. Отправляясь сражаться за революцию, Илья вынужден был выбирать между верой и политической верностью. И то и другое умирает на глазах у героя.

Бабель так описывает смерть Ильи: «Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата». «Конармия» завершается мощным аккордом, смертью «брата», смертью еврейских традиций, обитающих в «древнем теле» героя и укорененных в его еврейском прошлом. Революция уничтожила его надежду. Маймониду и Ленину не место подле друг друга, синтез невозможен, и мир после революции, о котором мечтал Бабель, мир, олицетворяемый Ильей, мертв.

Отношение Бабеля к иудаизму можно определить как начало незаконченного учения. В последние два десятилетия ряд российских исследователей, с помощью новейшей истории избавленных от надзора советских цензоров, обратились к изучению того, как литературная среда, в которой существовал

Бабель, соприкасалась и сталкивалась с еврейским мироощущением писателя, пронизывающим все его литературное наследие.

Даже мировоззренческие модели христианского толка у Бабеля формируются через призму его еврейства. Бабель описывает в рассказе «Пан Аполек» Иисуса — превратившегося в человека, соединившегося с еврейкой Деборой, которая затем родила от этой связи сына. Так Бабель превращает Иисуса из мессии в благочестивого человека, в хасида. Мир Нового Завета у Бабеля, мир доброты, прощения и сострадания, преображается в мир Танаха, где человеку не прощаются его грехи, судьбой уготованы убийство и кровь.

Глубинный смысл мировоззрения Бабеля проистекает из лично виденных им страданий стариков, женщин и детей, чудовищных сцен казацких убийств, изнасилований и увечий, совершенных во имя революции. В рассказе «Берестечко» (1924) повествуется о городишке, где живут хасиды «Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий». Бабель вполне способен объективно описывать недостатки своего народа. Рассказ начинается с убийства, и одновременно объявляется о докладе военкомдива, планирующего поведать народу о славных переменах, которые принесет революция. И между тем: «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его за голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму. „Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно…“»

Бабель, вопреки критике за недостаточную революционность портретов, за то, что строит систему образов на морали и романтике, а не на героизме, изображая кровожадных солдат, а не героических патриотов, каковыми они являлись в действительности, вопреки обвинениям в том, что он изображает борцов за революцию бандитами и убийцами, — не пытался очернить или унизить бойцов, не стремился изобразить их тем, чем они не являются. Бабель пытается зафиксировать предстающие перед ним образы, что всерьез меняет моральную пропорцию этих эпизодов и преображает образ «жестокости» в понимании альтер эго писателя — Лютова. Бабель изображает солдат гуманными и сострадательными, желающими спасти побежденных, и тем самым опровергает вероятное

предположение, что в своих рассказах он отрекается от сострадания (и Нового Завета) и выбирает войну, кровь и жестокость (Ветхий Завет, то есть Танах).

Наиболее адекватное чтение «Конармии» следует предпринимать через призму Библии и Талмуда. Именно на этой библейско-талмудической «теоретической базе» строится представление Бабеля о реальности. Как Еврейская Библия охватывает кровавые войны и земную любовь, так рассказы Бабеля наполнены эротизмом и жестокостью.

При этом Бабель пытается тщетно навести мосты между христианским и еврейским миром: хоть Еврейская Библия требует «любить ближнего, как самого себя», однако христианство отвечает на этот «еврейский постулат» жестокостью, погромами и ненавистью, тем самым отменяя всякую возможность связи между двумя мирами, — в чем Бабель отдает себе отчет.

Однако существует и другой взгляд на проблематику взаимоотношения между религиями в произведениях Бабеля: им, религиям, никогда умышленно не навязывается неотвратимый конфликт, ибо аллюзии на Библию, Талмуд, евангельские и прочие новозаветные источники не формируют идеологической позиции.

Такой рассказ, как «Три часа дня» (о русском священнике, который поначалу сожалеет об успехах евреев, и его еврейском соседе Янкеле: священник считает его воплощением этого успеха, а затем полагается на него, когда ему необходимо снять со своего сына обвинение в убийстве), посвященный взаимоотношениям христиан и евреев, так и остался незаконченным. Вероятно, Бабель не пожелал завершать его, потому что сюжет оказался парадоксально-исключительным, маргинальным. В рассказе «Три часа дня» священник «жить не может без жида», и в то же время евреи у Бабеля не могут обойтись без отношений с неевреями. Русские поступают с евреями по-разному и, однако же, в любом случае не способны к равнодушию.

Еще отчетливее это проявляется в знаменитом рассказе Бабеля «История моей голубятни», зрелом шедевре, посвященном Максиму Горькому. В рассказе героиня говорит о евреях: «Семя ихнее разорить надо… семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих…», а безногий калека бьет девятилетнего еврейского мальчика — возможно, альтер эго Бабеля, — которого только что приняли в самую престижную гимназию города, и убивает голубей, о которых мальчик столько мечтал, полученных им от родителей за высшие оценки на вступительных экзаменах в учебное заведение, куда еврейских детей принимали неохотно.

В «Первой любви», рассказе о мальчике, влюбленном в соседку-нееврейку, спрятавшую потом его семью от погрома (казаки тогда жестоко убивают деда Шойла и разоряют отцовскую лавку), есть сцена, где испитой рабочий Власов, «обеими руками ласково трогая» отца героя, говорит: «…не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать… Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность… Ты подай ему, друг, слышь, подай… вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому…»

Эту позицию разделяли многие теоретики антисемитизма, и в то же время она, возможно, отражает сочувствие к отдельным евреям, которые рассматриваются вне контекста всего еврейского народа. Например, помощник попечителя в «Истории моей голубятни» поражается объемом знаний еврейского ребенка, в рассказе «Пробуждение» редактор «Одесских новостей» учит еврейских мальчиков плавать.

Сам Бабель нередко критикует евреев, и никакой дискриминации в отношении нееевреев в его рассказах нет. Свой народ он знает лучше прочих и не закрывает глаза на недостатки соплеменников. Это видно в первом же рассказе «Конармии» «Переход через Збруч».

Бабель, расквартированный в дом к еврейской семье, пишет: «Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на Пасху. „Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева…“»

Стоит упомянуть, что пасхальная посуда не только хранится в специальном месте или шкафу, не только специально стерилизуется в кипятке, но Пасхе (Песаху) предшествует грандиозная уборка всего дома, исключающая малейшую возможность контакта с квасным. Поэтому описанная Бабелем сцена — разбитая пасхальная посуда на полу среди мусора, в еврейском доме, — оказывается символом чудовищного разгрома. А холодное предложение еврея-конармейца с русской суровой фамилией Лютов выглядит как символ его отстраненности от происходящего.

В «Эскадронном Трунове» Бабель пишет: «Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга… В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями». В рассказе «Берестечко» Бабель

характеризует евреев как «контрабандистов» и отмечает, что еврейское местечко «нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки». Романтические контрабандисты одессита Эдуарда Багрицкого здесь ни при чем. Весь стиль этого высказывания напоминает, скорее, о том, что в начале XX века этим словом — «контрабандисты» — называлась знаменитая антисемитская пьеса, поставленная в театре А. С. Суворина (Театр Литературно-художественного общества, существовавший в Петербурге в 1895–1917 годах в здании бывшего Апраксинского театра на Фонтанке), которая вызвала возмущение демократической части русской общественности. Этот скандал получил широкий резонанс в Петербурге и сыграл роль в истории развития общественного сознания актерской среды. С. К. Литвин-Эфрон в соавторстве с В. А. Крыловым предложил Суворинскому театру пьесу «Контрабандисты» (первоначальное название «Сыны Израиля»), и решение о постановке пьесы стало одним из первых случаев в истории отечественного театра размежевания труппы по чисто политическим мотивам.

В «Учении о тачанке», говоря о разнице между одесскими евреями и теми, кого он встречает в черте оседлости, Бабель пишет: «Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород… Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса…»

Отметим, что подобные впечатления частенько бывали у евреев из обеспеченных семей, когда они по пути в Европу проезжали на поезде Галицию и другие районы традиционного проживания евреев. Здесь можно вспомнить и письма Бориса Пастернака родным, и ряд других документов. В «Шуме времени» Осипа Мандельштама сочувственно описывается черный, как жук, раввин, бегущий по улицам местечка.

В целом можно сделать вывод, что более всего Бабель стремился глубоко понять мир «иного», которому нет лучшего воплощения, чем ненавидящие евреев христиане и казаки; писатель стремился понять, могут ли сосуществовать эти два мира.

К примеру, в «Первой любви» он не просто влюбляется в соседку-христианку — они живут в соседних домах, и Бабель отмечает, что «стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого». Кроме того, именно эта христианская семья укрыла еврейских соседей, защитив их от казачьих кинжалов, и бережно ухаживала за больным еврейским мальчиком. И когда отец мальчика молит

верхового казака о пощаде — Бабель, похоже, восхищается им, даже жалея отца, — казак снисходит, и мародерствующие его товарищи отступают.

Пожалуй, отчетливее всего этот конфликт, это представление Бабеля о том, каким он хочет видеть еврея, выражены в рассказе «Рабби».

Бабель описывает еврейских учеников: «В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов». «Рыбаки и апостолы» — аллюзия на людей иной веры (ведь некоторые из апостолов как раз и были рыбаками), и, однако же, таким образом Бабель описывает евреев.

Впрочем, для образности еврейской трагедии времен Первой мировой и Гражданской войн — это обычный прием. Вспомним «еврейских Христов» Марка Шагала, где страдания Христа символизировали трагическую эпоху конца периода Второго храма. Позже фронтовик Борис Слуцкий размышлял в очерке о Второй мировой войне о том, что гитлеровцы «сделали с родственниками Христа».

В рассказе «Пробуждение» новый друг героя — «водяной бог тех мест — корректор „Одесских новостей“… в атлетической груди которого жила жалость к еврейским мальчикам», — подобно тому, как Горький рекомендовал самому Бабелю, — посоветовал юноше отправиться в люди. Выучить названия деревьев и трав, научиться плавать, понять, как живут, дышат, любят те, о которых у Бабеля не было никаких представлений, а уж затем учиться писать.

Выход провинциального еврея в мир природы, в мир «иных» людей и особенно в спорт был одним из идеалов радикальных сионистов вроде Жаботинского, организовавших специальные еврейские спортивные клубы «Маккаби», земледельческие колонии (в частности, в Крыму) и т. д. Так на фоне нового человека, который выковывался в горниле страшных войн начала XX века, выковывался и «новый еврей», одной из разновидностей которого были и упоминавшиеся ранее «евреи-казаки» из левого сионистского движения «А-Шомер а-цаир» («Молодой страж»).

Для тех, кто ставит под вопрос подлинность автопортрета Бабеля в его рассказах, следует отметить, что в «Первой любви» и профессия, и имя страдающего отца (персонажа, который фигурирует и в других рассказах Бабеля) — подлинные профессия и имя отца писателя. Отец Исаака Бабеля торговал сельскохозяйственной техникой. Его звали Мань Ицкович Бобель (Бабель изменил фамилию в 20-м году); как и в рассказе, родители Бабеля переехали в Одессу из Николаева.

О путях товарищества между евреями и другими — в неоконченной повести «Еврейка». Здесь изображена дружба двух молодых людей — Бориса Эрлиха, студента университета, где нет процентной нормы для евреев (вынудившей самого Бабеля поступать в Киевский университет, поскольку в одесских учебных заведениях процентная норма была), и Алексея Селиванова, потомка казаков.

Эрлих восхищается своим нееврейским товарищем, «чью юношескую страсть возмутил Эрлих, носатый студент университета со странным наименованием». Еврей Эрлих носил Селиванову революционные книги и «Коммунистический манифест»; они росли вместе и дружно боролись за дело революции. «Честь и чувство товарищества — высоко, с мучительной страстью — держал Борис Эрлих, — пишет Бабель. — Оттого ли, что раса его так долго лишена была лучшего из человеческих свойств — дружбы в поле битвы, в бою, — Борис испытывал потребность, голод к дружбе и товариществу». Эта страсть «делала всегда конуру Бориса клубом „красных комиссаров“. Клуб этот расцвел, когда к столу стали подавать не колбасу и водку, а фаршированную рыбу». Вместо жестяного чайника — самовар, привезенный из Кременца (его родного местечка), «и чай разливала старушечья успокоительная рука». Старушка сидела тихо, но в ее фаршированной рыбе (и в ее руках, что готовили чай) таилась «вся история проперченного этого народа».

Сохранившийся фрагмент рукописи завершается так: «Поначалу из-за этой рыбы на [Остоженке] сгустились тучи. Дело в том, что жилица-профессорша [соседка] сказала в кухне, что, благодарение богу, квартира совершенно провонялась. И действительно — с переездом Эрлихов душок чесноку, жареного луку [ощущался] уже в передней…»

Отметим, что проблема «запаха» еврея была старой, еще средневековой антисемитской темой. В начале XX века ее активно использовал В. В. Розанов в период дела Бейлиса и т. д. Ирония Бабеля в том, что соседка-профессорша иронически и по-русски произносит о евреях еврейскую формулу «Бе-эзрат А-Шем»: «С Божьей помощью».

Бабель живо рисует картину страхов еврея, вступающего в мир «иных», но доказывает, что такой переход (как и кровавый «Переход через Збруч») возможен, даже с потомком казаков-антисемитов в качестве товарища. В этом и была надежда Бабеля на революцию: он мечтал, что она объединит людей и обеспечит мирное сосуществование всех.

С одной стороны, писатель в «Еврейке» отмечает сильное

еврейское влияние, заставляющее людей полюбить фаршированную рыбу, а с другой — «вонь» иудаизма или, по крайней мере, вонь старого еврейского мира, в лице матери Бориса, — в коммунальной квартире, где люди всех сортов и родов в идеале должны жить мирно.

Все это Бабель блистательно изображает во второй части неоконченного романа; в первой части он представляет нам Бориса Эрлиха, возвращающегося в военной форме в родное местечко, — тот возвращается слишком поздно и не успевает попрощаться с умирающим отцом. Отец, умирая, выкликает его имя — умирает еврейское прошлое, — и, однако же, сын приходит слишком поздно. Он не застает смерть отца, и его мать, олицетворение еврейской истории, не может его простить. В ночь после приезда, пишет Бабель, Борис «ходил… по еврейскому местечку, его родине… несло вонью. В синагоге, противостоявшей некогда бандам погромщиков [Хмельницкого], были взломаны трехсотлетние стены. Родина его кончалась. Часы столетия вызванивали конец беззащитной жизни». Вернувшись домой, «он [по]чувствовал, как билось и улетало ее [матери] сердце — и [как отзывалось] его сердце, — потому что они были одни и те же [плоть от плоти]». Его ордена, символ его успехов в деле революции, «были мокры от слез [матери]». Мать и сын, их мечты, их надежды разнились, и, однако, они были единым целым.

Мать пребывает полностью вне нового мира, Борис же — когнитивный инсайдер и социальный аутсайдер. В жилах его текут еврейская история и собственное прошлое.

Борис уговаривает мать переехать вместе с ним — слиться с «иными» — в Москву, новую «Землю обетованную». Поначалу она отказывается покидать могилы предков, талмудистов и цадиков. «Она их больше не увидит». Она не может сбросить оковы еврейской истории. В конце концов она соглашается оставить местечко Кременец и уехать с сыном и дочерью; родственники, провожая их на станцию, говорят, что никогда не покинут старых своих домов. Она в слезах прощается с местечком: «Твой сын, Маркус, — высокий голос оглашал еврейское кладбище, — везет меня в Москву… Попроси, Маркус, чтобы он был счастлив…» Она не бросает штетл — она просто переезжает, потому что не хочет расставаться с сыном. Сын для нее — воплощение нового непостижимого мира, при этом весь остальной мир похоронен на местечковом кладбище. Все другое для нее кончилось.

Борис с комфортом перевозит родных в Москву и показывает им блага революции: «Он показывал ей Россию с такой гордостью и уверенностью, точно эта страна была им, Борисом Эрлихом,

создана и ему принадлежала…» И снова Бабель так и эдак пытается взломать замок, описывая причудливый еврейский ключ к новому миру, в котором предстоит жить его персонажам. Они в восторге бродят по современной квартире, какую и вообразить не могли в местечке: «Таская мать по кухням, ванным и антресолям княжеской этой квартиры, Борис, сам того не сознавая, исполнял предназначение семитической своей крови. Кладбище [в Кременце], могила неудачливого, ничего не дождавшегося его отца разбудили в нем ту могучую страсть семейственности, которой столько лет держался его народ. На тридцать третьем году [своей жизни], повинуясь древним этим велениям, он ощутил себя сыном, и мужем, и братом — защитником женщин, их кормильцем, их опорой, и ощутил это со страстью, с мучительным и упрямым сжатием сердца, свойственным его народу».

Мы видим, что Борис, несмотря на революционную страсть к новому миру, по-прежнему привязан к своему еврейскому наследию. Он не способен оставить его, даже уехав и увезя родных из ветхих, стесняющих стен местечка. В теле по-прежнему обитает древняя еврейская душа, и Бабель пишет, что идти этой душе некуда. Хотя Борис и переехал из местечка в столицу, социально он навсегда останется снаружи.

Многие факты повествования, в особенности касающиеся семейных забот отца, смыкаются с биографией Бабеля, и смысл сюжета «Еврейки» в том, что еврейский юноша пусть даже и способен к ассимиляции, но все же в венах еврея течет настолько могучая кровь его народа, что он пребудет аутсайдером навсегда. Если же он захочет прорваться внутрь, некая брезгливая профессорская жена непременно пожалуется на запах фаршированной рыбы. Так формируется сущность внутреннего чужака.

Здесь уместно будет внимательнее рассмотреть один из самых знаменитых рассказов Бабеля «Мой первый гусь» — историю, которую принято интерпретировать как момент инициации Лютова в казачьем обществе. Он стал своим среди казаков, толкнув старуху и жестоко убив гуся — доказав, что способен к жестокости.

В начале рассказа Лютов восхищается начдивом: «…и я удивился красоте гигантского его тела… От него пахло духами». Пожалуй, не без гомоэротического подтекста он восторгается длинными ногами начдива, похожими «на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты», завидует «железу и цветам этой юности», поражен приказом, в котором начдив обещает «шлепнуть на месте» всех, кто его ослушается.

Начдив весьма насмешливо смотрит на юношу с очками на носу, предупреждает Лютова, что «тут режут за очки» — предвидя естественное отчуждение Лютова среди казаков, — а затем спрашивает: «Поживешь с нами, што ль?» То есть: думаешь, ты сможешь стать одним из нас? «Поживу», — отвечает Лютов, мигом соглашаясь превратиться из очкастого еврея в казака. Начдив велит квартирьеру разместить Лютова в казачьем полку «и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего», что само по себе ставит предел приятию Лютова казаками. В то же время, заручившись приказом начдива, Лютов наконец получает шанс осуществить свою мечту: полностью влиться в общество.

Квартирьер ведет Лютова к хате, где квартируют казаки, и сразу предупреждает о тщетности этой мечты: «Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия [умеющий читать и писать] — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, [советует он Лютову], самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка…» При встрече с казаками надежды Лютова практически рушатся. В первые же минуты казаки, товарищи, о которых он так мечтал, издеваются над ним и выбрасывают его сундучок на улицу. Лютов, «ползая по земле», собирает свои пожитки. «Ползая по земле» — метафора молитвы, мольбы: человек готов на все, только бы его приняли.

Лютов замечает, что казаки готовят в котле свинину, самое нееврейское из всех возможных блюд: «…она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера». Он знает, что свинина ему запрещена, и, однако, его одиночество, его отчуждение, оказываются сильнее еврейских традиций, родного дома в деревне — ради того, чтобы влиться в казачье общество, он отдаст все на свете.

Казаки продолжают подшучивать над ним, и Лютов вынужден действовать. Он отталкивает с дороги несчастную старуху, хватает саблю — оружие и гордость казака — и гонится за гусем по двору. «Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла» — эта картина заставляет вспомнить сцены убийств евреев казаками. Лютов рубит птицу и, «копаясь в гусе саблей», велит старухе изжарить гуся.

Дело сделано: еврейская мораль — и с ней робость — преодолены: герой готов убивать — и за вступление в ряды казаков он заплатит любую цену.

Он тотчас получает одобрение: «Парень нам подходящий», — говорят казаки. Однако в душе Лютов начинает испытывать угрызения совести; он вытирает саблю песком (как делают и казаки, и еврейские резники) и томится. Лютов поступил смело,

но его мучает совесть, исток которой — в его еврейском воспитании. Здесь полезно вспомнить позитивистский взгляд на эту проблематику: совесть — это моральный невроз, продукт культуры и воспитания. Но для генетического его закрепления необходима обратная связь. Так фиксируется в поколениях предрасположенность к милосердию и ненасилию.

Однако желание Лютова исполнилось. Старший из казаков обращается к нему родственно: «Братишка… садись с нами снедать». Старший казак даже дает ему запасную ложку — делится с ним драгоценным, и они «похлебали самодельных щей и съели свинину».

Это единение с «иным» теперь пропитывает Лютова даже физически. Кроме того, он выполняет свой революционный долг и читает «громко, как торжествующий глухой» речь Ленина в газете «Правда». Добившийся приятия у казаков, он «читал и ликовал». Ночью «мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами» — он слился с «иным» физически и метафорически. Мечта исполнилась.

В самом деле? На мощном финальном повороте, в финальной фразе Бабель указывает на полную неудачу Лютова: «Я видел сны и женщин во сне» — что это: эротическое сновидение или, быть может, мать Лютова, его еврейское наследие? — «и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло». В душе Лютов знает: он не способен убивать без угрызений еврейской своей совести, никогда не станет таким же, как они. Одиночество, инаковость, голод позволили ему убить гуся. Но дальше этого он не продвинулся. Он разорвал завесу, вошел — и все же остался снаружи. Лютов снова обречен участи быть чужим среди своих и своим среди чужих.

В «Смерти Долгушова» (в этом рассказе начдив Корочаев был смещен Буденным и стал одним из бригадных командиров Шестой кавалерийской дивизии — в рассказе этого нет, но мы знаем об этом из дневника Бабеля) Бабель ярко показывает неспособность Лютова презреть как традиции еврейского дома, так и внешнее сопротивление, которое он вынужден преодолевать, чтобы стать своим среди казаков. В рассказе описывается еще одна проигранная битва его кавалерийского подразделения с поляками, обманувшими казачьих разведчиков.

Начало рассказа воспевает казаков — «опальный начдив» Корочаев описывается с восхищением: «сражающийся в одиночку и ищущий смерти… с угольными зрачками». Даже в опальном казаке больше силы и величия, чем в «очкастом» еврее. Но подлинное доказательство отчуждения Бабеля/Лютова от обоих миров еще впереди.

В бою казак Долгушов изувечен и лежит в агонии: «Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны».

Бабель видит казака насквозь — видит его еще живую разверстую плоть. Теперь он познал казака вдоль и поперек. Долгушов велит Лютову его убить: «Патрон на меня надо стратить… Наскочит шляхта — насмешку сделает…»

Несмотря на то что в XVI–XVII веках были многочисленные войны между поляками и казаками и из-за войны с поляками Хмельницкий присоединил Украину к России, к XX веку ситуация изменилась. В 1920 году эта вражда имела иное качество. Для казаков, присоединившихся к Первой конной, поляки были врагами на поле боя. Для еврея же казаки и поляки, вместе и по отдельности, представляют собой смертоносного врага. Один ничем не лучше другого, и те и другие грабят еврейские деревни, заживо сжигают еврейские семьи, пытают, увечат, убивают. Будучи врагами на поле битвы, поляки и казаки едины в своей ненависти к евреям. Лютов/Бабель должен был, не задумываясь, застрелить слабого, безоружного, беззащитного Долгушова. Долгушов — воплощение многих поколений казаков, в том числе Богдана Хмельницкого и его подельников, которых Бабель упоминает в других произведениях. К примеру, в рассказе «Кладбище в Козине» (1923) Бабель, описывая кладбище в местечке, говорит о многих поколениях погромщиков, терзавших его народ: «В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения евреев лежат в этой усыпальнице…»

Еврей Лютов/Бабель должен бы убить Долгушова в отместку за весь свой народ — это был бы единичный, но значительный акт отмщения за многие века казацкой жестокости. Казак Лютов/Бабель должен бы убить Долгушова, соблюдая негласный братский казацкий уговор. В такой ситуации твой боевой товарищ спокойно пристрелит тебя и напишет твоей матери, «как и что». Лютову следовало бы поступить, как подобает казаку, но он не способен на убийство человека.

«Нет», — отвечает Лютов/Бабель. Упреки не заставляют себя ждать. «Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво». Долгушов, прекрасно понимая, что Бабель еврей, поверить не может, что Бабель не способен убить его ни как еврей, ни как казак, которым он хочет стать.

«Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Беги, гад…»

Бабель/Лютов — «ублюдок», в буквальном значении этого слова. Незаконный еврей, незаконный казак. Он еврей, он мечтает

стать казаком, но он не казак и не еврей; такой герой — чужой среди своих и «не свой» среди «иных».

Дело принимает совсем дурной оборот. «Испарина ползла по моему телу», — пишет Бабель, и испарина здесь — внешнее, физическое проявление его внутреннего конфликта и его ненависти. И затем, новым поворотом ключа, доказательством мастерства Бабеля как писателя и психолога, его перо вызывает к жизни ангельского казака: «Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида».

Нимб, помещенный вокруг казацкой головы евреем — Бабелем, превращает казака чуть ли не в святого. Афонька, лишенный сомнений подлинный казак, прячет «книжку» Долгушова в сапог — тот самый сапог, которым он пинал и своего коня, и еврея-беднягу из местечка, — и стреляет Долгушову в рот.

Лютов/Бабель пытается его задобрить. «Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог». «С жалкой улыбкой» — Бабель прекрасно понимает то, что понимают и все другие. Афонька, однако, отвергает его извинения: «Уйди… убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку… — И взвел курок», готовясь воздать «очкастому» еврею по заслугам.

Даже в этом рассказе, где Бабель ни разу не употребляет прямо слова «еврей», еврейская тема вспыхивает, едва писатель говорит «очкастый» — его обозначение еврея. «Уйди» — скройся, еврей, — «убью». Бабелю некуда бежать, он сам загнал себя в угол, он, еврей, не может сражаться и убивать, как казак. Именно казак меняется с ним местами, перекладывает вину за юдофобию на самого еврея. И готовится пристрелить этого нееврея, неказака — и вообще не пойми кого.

Это выражение можно сравнить с антисемитскими образами Розанова, который говорил, что жалобы евреев на погромы — это жалобы паука на муху, потревожившую его паутину. Этому не стоит удивляться. Ведь все приводимые цитаты из антисемитской литературы писались в годы созревания Бабеля как писателя. Поэтому постоянная их переработка, «перевод» на бабелевский язык — точно такой же знак становления еврея русским писателем, как и попытки еврея Лютова под русским именем стать евреем-казаком.

Вернемся к рассказу. На помощь Лютову/Бабелю приходит Грищук, другой казак, который появляется в начале рассказа, — Бабель смеется над ним и его тачанкой; Грищук — наперсник героя, Грищук стенает о бессмысленности войны. «Холуйская кровь!» — кричит Афонька, оскорбляя его, выталкивая из казачьих рядов, поскольку Грищук защищает незаконного, бездомного и потерянного еврея: «Он от моей руки не уйдет…»

Казак как бы говорит: «Погоди-погоди, я прикончу Лютова/Бабеля — за еврейскую трусость, за то, что не понимает наших обычаев».

И Лютов/Бабель, невзирая на угрозу своей жизни, все равно цепляется за мечту и говорит — не сердито, но робко и разочарованно глядя в лицо своей неудаче: «…сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга…»

На этом рассказ не заканчивается. Он бросает в нас последнюю строку, и отсылка к Библии в ней столь явна, что читатель вздрагивает. «Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. „Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста…“» Разве это не отсылка к первородному греху — к яблоку с запретного дерева? Грищук, симпатизирующий Лютову, хочет подарить ему ключи от дворца — и уподобляется библейской Еве, уговаривающей героя отведать запретный плод и отправиться в изгнание, оставить райский сад, сойти на землю. «Кушай, пожалуйста», — говорит он: вот оно, сморщенное яблоко смерти, умения убивать, способности слиться с казачьим миром, яблоко изгнания из Эдема, прочь от твоих еврейских корней. Кушай, пожалуйста, освободись и стань чем пожелаешь. После этой фразы в рассказе наступает тишина. Больше ни слова. Лютов/Бабель не может сделать шаг, даже когда ему протягивает руку помощи обитатель мира его грез: он остается между мирами.

Кстати, яблоко как символ древа познания добра и зла — образ христианский. В еврейской традиции речь идет просто о плоде. Но если мы правы, то казак в своей системе ценностей мог предложить Лютову именно «яблоко» как символ понятия о разделении добра и зла, греха и добродетели.

В рассказе «После боя» Лютов/Бабель вновь оказывается перед выбором, способным подарить ему желанное растворение в чужом. Казаки, дерущиеся за поляков, побеждают в бою, и все пять тысяч бойцов шестой дивизии бегут. Начдив велит Лютову: «…завороти мне бойцов, душа из тебя вон!» Слово «душа» здесь ключевое — командир не просто грозится убить Лютова, он явно подразумевает, что, если Лютов не сможет «заворотить» казаков, добиться их доверия, он лишится «души». Лютов/Бабель должен принять решение — и это решение отразится на его судьбе и на его «душе».

Лютов тщетно пытается убедить казаков вновь вступить в смертельный бой, и тогда его разоблачает киргиз Гулимов. Он хватает Лютова за плечи, и Гулимов шепчет: «Твоя вперед… моя за тобой следом». Лютов/Бабель не знает, как поступить, какое принять решение. «Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее», — проникновенно пишет Бабель. И здесь он выдает в себе еврея: как бы ни хотел он стать казаком, смерть пугает его,

как пугала тех, кто спасался от казачьих сабель во время погромов.

Лютов/Бабель бежит — и он знает, чего эта нерешительность будет ему стоить: «Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом». Но рассказ еще не завершен, теперь в его центре — Акинфиев, припадочный и «бывший повозочный Ревтрибунала»: о его прежней должности в рассказе упоминается дважды, что необычно для Бабеля, крайне экономного в словах; вероятно, тем самым подчеркивается, что Лютова судит больной судья, в чьих решениях присутствует доля бредового произвола.

Акинфиев с омерзением обращается к Лютову/ Бабелю: «…но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает…» Возможно ли худшее оскорбление военному в бою? «Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфеев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал… где тому причина?..»

Дальше — больше. «Поляк тебя да, а ты его нет…» — бормочет припадочный обвинитель, обвиняя Лютова/Бабеля в измене: «Где тому причина?» Лютов/Бабель признает, что обвинения правдивы. «Значит, ты молокан?» — говорит ему Акинфиев. И снова Лютов отвечает «да», на сей раз увереннее. «Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством» (он готовится огласить смертный приговор), «ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают…»

Заметим, что молокане не только никого не могут убить, но и мяса не едят. Так они «почитают бога».

Лютов/Бабель оказывается отлучен от казачьего мира и приговорен к смерти за остатки веры, оказавшейся сильнее воли, натуры и обстоятельств. Теперь некуда бежать, оправдания бессильны, шансов выжить — нет. Он — человек, который бежал от *еврейского* Бога в объятия казаков и революции, в которую верил, но казаки и революция рубанули саблей у него перед носом. Лютову/Бабелю здесь больше нет места. Ему остается только молчание.

Собирается толпа, появляются свидетели. Лютов/Бабель пытается бежать, спастись, но он окружен. «Ты патронов не залаживал», — повторяет Акинфиев, он пытается разодрать Лютову рот — чтобы Лютов заговорил, ответил, подписал свой приговор, — и наносит последний удар: «…ты бога почитаешь, изменник…»

Лютов/Бабель отталкивает припадочного, сбивает его с ног. Он больше ничего не говорит. «Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы

простейшее из умений — уменье убить человека». Лютов/Бабель по-прежнему вымаливает у судьбы возможность стать как все, научиться убивать, не задумываясь, — и не может. Его «простейшее» желание так и не исполняется. Он остается снаружи всех миров, в которых пытался жить.

В «Учении о тачанке» Бабель пишет о том, как Лютову досталась тачанка (рессорная четырехколесная повозка с пулеметом) с повозочным, «и я перестал быть парией среди казаков». Казаки больше не видят в нем аутсайдера, не способного ездить на лошади, — навык, свойственный казакам настолько же, насколько умение плавать свойственно рыбам. И снова, описывая эту важную веху, достигнутую Лютовым в его стремлении к единению с казаками, Бабель переводит разговор на евреев.

В последнем абзаце он, катясь на своей тачанке, рассуждает о евреях и о синагогах, которые видит вокруг: «Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах… о раввинах…» Сколь бы близко Лютов ни подступил к казачьему миру, он не в силах забыть свой народ, и тот остается важной частью глубины его сознания.

В «Аргамаке» (1924) мечта Лютова исполняется: «Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь». Этот рассказ завершал в поздних изданиях «Конармию» из цензурных соображений, и потому его нужно рассматривать в определенном контексте. «Аргамак» должен был смягчить советскую цензуру тем, что теперь «Конармия» оканчивалась рассказом о том, как Лютов научился ездить на лошади, а не рассказом «Сын рабби», в котором речь идет о невозможности примирить наследие отцов и революцию.

Аргамак — кличка полудикого казачьего коня, который достается Лютову, когда тот переходит «в самую боевую дивизию». «Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь». Однако эта лошадь, отобранная в наказание за неподчинение у боевого казака, не желала носить еврея, чужака Лютова: такой конь неловкого ездока не стерпит. «Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил… — пишет Бабель. — Он не давался седлать». Аргамак в рассказе символизирует общество, которому навязывается еврей Лютов в своих попытках стать «иным».

В рассказе «Афонька Бида» произносится такой диалог: «„С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня — где его найдешь?“ „Конь — он друг“, — ответил Орлов. „Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня…“»

«Аннулировал ты коня, четырехглазый», — говорит Лютову взводный. Казаки в его полку не обращают внимания, и Лютову снится, как он скачет галопом меж казаков, а они «не смотрят, им не до меня… Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны». Желания Лютова осуществимы только в грезах. Казачья «ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился». И позже, когда Аргамак так и не подчинился и на спине у него появились язвы, «от сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило». «Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться», — говорит Лютов/Бабель. Когда он просит у бывшего владельца коня прощения, тот ему отказывает. «Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться». А эскадронный произносит самые страшные слова: «Я тебя вижу… я тебя всего вижу… Ты без врагов жить норовишь… Ты к этому все ладишь — без врагов…»

И даже обучившись у коня паре-тройке трюков — «как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке», — Лютов останется аутсайдером. Он не может войти в их мир, поскольку не желает менять свой подход к жизни, свои ценности. Его еврейство удерживает его снаружи — это решение ему не переменить, и потому «иные» никогда не примут его за своего.

Кроме того, Лютов остается чужаком, поскольку слишком мягок и умен. В «Вечере», рассказе о выпуске газеты «Красный кавалерист», он пишет: «Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами». «Очки» — намек как на образованность Лютова, так и на его еврейство. Одолеваемый жалостью к себе и своим одиночеством, Бабель/Лютов говорит: «…я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии».

Сидящий рядом нееврей отвечает ему: «Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев… Вся партия ходит в передниках, измазанных кровью и калом, мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку…» Роль Лютова/Бабеля — роль очкастого образованного писателя, роль еврея — ограничена описанием революционных подвигов после победы в войне. А пока пускай «сидит тихо» и «не скулит» — ему здесь не место. Он неудачливый «чужой».

И наконец — последний гвоздь в крышку гроба своей мечты — Бабель вкладывает в уста нееврея Галина слова, за которые впоследствии расплатится: «Конармия есть социальный фокус,

производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой…»

Бабель признает оба поражения. Он был уверен, что способен стать своим среди казаков. Он был уверен, что сами казаки переживут революцию и вольются в новое общество. Но он ошибся дважды и поэтому дважды останется изгнанным — горделивым и растерянным чужаком.

Многогранность Бабеля

При подробном изучении биографии Исаака Бабеля видно, что образ его личности двоится. Один — богемный писатель, неустанно ухаживавший за женщинами, не имел перед людьми никаких обязательств и готов был чуть не бродяжничать: ради сбора материала и поиска вдохновения. Он мечтал о полной свободе, о беспрестанных путешествиях — чтобы писать дальше.

В то же время его переписка показывает нам и другого Бабеля: заботливого, хоть и замученного обстоятельствами отца семейства и преданного сына, верного возлюбленного. Этот другой Бабель был обременен планами, сроками, договорами — откуда следует, что лучше всего эта вторая натура подошла бы буржуазному еврею, потомку «торговцев-евреев» (так Бабель в краткой «Автобиографии» назвал своего отца). Для второго Бабеля талант был ремеслом, способом содержать семью.

Итак, на первый взгляд мы имеем дело с вдохновенным писателем и «торговцем-евреем», — однако мои исследования рассказов Бабеля, его дневника 1920 года и писем к жене, матери и сестре показывают, что этой двоякостью дело, похоже, не ограничивается. Бабель гораздо сложнее.

Бабель становится чужаком — по собственной воле и в результате политических перемен в Советском Союзе. И это отчуждение Бабеля коренится в обоих его мирах. С одной стороны, он лишился уюта и тепла еврейской юности, оставленной им по доброй воле. С другой — новое российское общество отчуждает его, не способного, как выясняется, к полной ассимиляции, хотя он и пытался это сделать, начиная со своей бытности военным корреспондентом при Шестой кавалерийской дивизии. Еврейское воспитание и еврейская мораль неожиданным образом стали препятствием в этом его стремлении; впрочем, равно как и яростное отвержение его окружающим обществом.

В конце мая 1920 года Первая Конная армия под командованием Семена Буденного начала наступление в самое сердце черты оседлости, с множеством еврейских местечек. Новое советское правительство полагало, что после победы над поляками коммунистическая революция расправит крылья — сначала над Польшей, затем над Европой, а потом и над всем миром.

Польскую кампанию Бабель отобразил в цикле рассказов «Конармия», описывающих первые победы, начало поражения и отступления красноармейцев осенью 1920 года. Рассказы «Конармии» печатались в журналах и газетах в период между 1923 и 1926 годом. Тридцать четыре рассказа составили сборник, опубликованный в 1926 году; вышло в общей сложности восемь тиражей, книга была переведена на английский, французский, итальянский, испанский и немецкий, а Исаак Бабель стал одним из самых знаменитых за рубежом советских писателей.

Бабель подчеркивал, что эти рассказы не имеют точной документальной основы, что литературный эффект для него важнее исторической правды. Он изображал персонажей, которых наблюдал: например, командир Первой Конной армии Семен Михайлович Буденный (1883–1973), ставший позже маршалом Советского Союза, первым заместителем наркома обороны. Бабель показывает его нерешительным, неловким, жестоким. В рассказе «Чесники» (1924) Буденного просят накануне боя произнести речь перед солдатами. «Тот вздрогнул и тихо сказал: „Ребята… у нас плохая положения, веселей надо, ребята…“» — и это не вполне речь будущего Героя Советского Союза.

Другой исторически достоверный персонаж «Конармии» — член Реввоенсовета Климент (Клим) Ефремович Ворошилов (1881–1969). В «Чесниках» Бабель показывает, как Ворошилов не исполняет приказов командарма, что приводит к наступлению. Ворошилов был личным другом Сталина, а в период, когда вышла «Конармия», — народным комиссаром по военным и морским делам (в 1953-м он станет председателем Президиума Верховного Совета СССР). В условиях убийственной психотической диктатуры Сталина и его приспешников таких людей нельзя было критиковать. Почти наверняка они желали вычеркнуть из истории свои поступки — и особенно поражение в войне с поляками в 1920 году. Рассказы Бабеля набирали популярность и мешали отредактировать историю.

Нападки на Бабеля последовали незамедлительно — в основном это были статьи, подписанные Буденным. Не следует

также забывать, что в 1924 году Буденный участвовал в политической борьбе на стороне Сталина и поступки его диктовались стремлением поддержать Сталина и Ворошилова в приходе к власти. В 1924 году, за два года до книжной публикации «Конармии», Буденный написал язвительную статью о Бабеле и «коммунистическом» редакторе, который пропустил эти рассказы в печать. Свое послание Буденный озаглавил «каламбуром»: «Бабизм Бабеля из „Красной нови“». Командарм ужасался тому, что «художественно-публицистический журнал с ответственным редактором-коммунистом во главе» разрешил «дегенерату от литературы» Бабелю «оплевывать слюной классовой ненависти» Первую Конную Красную армию, «величайшее орудие классовой борьбы».

«Неужели, — продолжал Буденный, — т. Воронский так любит эти вонючие бабьи-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале?» В первый, но отнюдь не в последний раз за Бабеля вступился Горький — он похвалил стиль Бабеля и его образы. Вероятно, только человеку, обладающему статусом Максима Горького, крупнейшему писателю Советского Союза, которого Сталин в дальнейшем предпочитал удерживать в стране и не обижать, хватало веса и бесстрашия защищать Бабеля от нападок советских начальников.

Впрочем, за Бабеля вступился не только Горький. В тот же год А. Лежнев (Абрам Зеликович Горелик; 1893–1938), советский критик, чья жизнь закончится в застенках НКВД, публикует превосходный отзыв на «Конармию» в «Печати и революции», который затем перепечатала «Красная нива». Этот журнал выходил тиражом сто тысяч экземпляров, печатал Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Эдуарда Багрицкого, Сергея Есенина и многих других, пользовался большой популярностью и передавался из рук в руки.

В рецензии, украшенной иллюстрацией к рассказу Бабеля «Мой первый гусь», Лежнев пишет: «Вино бабелевских рассказов действует крепко и неотразимо», имея в виду значение Бабеля для русской литературы и ту русско-еврейскую музыку, которую писателю удается сыграть для широкой русской аудитории. Лежнев говорит о силе пера Бабеля и отмечает, что Бабель «не имеет себе равных. Здесь он исключительно оригинален».

Лежнев говорит о лаконической манере писателя, чьи рассказы занимают всего три-четыре страницы, и отмечает, что критики Бабеля просто не понимают его. Защищая писателя от упреков в любовании насилием, Лежнев пишет, что на самом деле Бабель презирает жестокость: «Он изображает ее так часто

потому, что она поразила его на всю жизнь… Бабель знает, что жестокость бывает иногда неизбежна, необходима, а значит, и оправданна… Но он не может принять это оправдание всем сердцем, и еще раз он возвращается к теме жестокости, останавливаясь, как его же Гедали, в горестном недоумении перед ужасной силой ненависти и злобы».

Бабель, по сути, психологически изживает рану, нанесенную ему жизненными обстоятельствами в детстве, утверждает Лежнев: в ранние годы писатель был свидетелем погромов и жестокого убийства деда Шойла, а его любимых голубей размозжили об его же голову (из «Истории моей голубятни» и «Первой любви»). Подлинную любовь, пишет Лежнев, Бабель питает ко всему «яркому, романтическому, цветущему…». В заключение он говорит, что Бабель — первый писатель, «вышедший за пределы еврейского анекдота»; что произведения Бабеля полны честности, иронии, любви, романтики, полнятся духом, которому нет равных в современной литературе.

В апрельском номере «Нового мира» за 1928 год советский театральный критик Павел Марков (1897–1980) опубликовал рецензию на пьесу Бабеля «Закат» (1926), написанную по мотивам сборника «Одесские рассказы»: действие пьесы происходит на Молдаванке в 1913 году. Спектакль по ней был впервые поставлен в Бакинском Рабочем театре 23 октября 1927 года.

В своей рецензии Марков пишет: «Пьеса Бабеля „Закат“ представляет нам картину жизни, замечательную своей литературностью». В то же время он критикует Бабеля: «Недостатки пьесы — не в ее философской природе, но, скорее, в том, что ее философия чужда нашей эпохе». Затем Марков меняет угол зрения, снова хвалит литературные таланты Бабеля и резко критикует второй МХАТ, взявшийся за постановку после премьеры в Баку: «Живые, теплые персонажи Бабеля превратились в гиперболизированные маски… конфликт позиций драматурга и режиссера столь очевиден, что порой создается впечатление, будто пьесу написал кто-то другой». Раскритиковав постановку, Марков в заключение пишет: «От художников, подобных Бабелю и Алексею Толстому, мы вправе ожидать, что они теперь покажут нам обычаи новой жизни». Комплимент двусмысленный, но замечательно то, что Марков ставит в один ряд Бабеля и Алексея Толстого.

Спектакль в МХАТе успеха не имел и вскоре пропал из репертуара, однако у пьесы по-прежнему было немало поклонников. В 1928 году, в письме к своему отцу-эмигранту, Борис Пастернак сообщает: «Вчера я прочел „Закат“, пьесу Бабеля, и еврейство, как этнический факт, стало для меня чуть ли не

впервые в жизни явленьем положительной и непроблематической важности и силы…»

Невзирая на эти хвалы, в 1928 году Буденный возобновил кавалеристскую атаку на Бабеля. Буденный после окончания Гражданской войны сочинял о себе героическую легенду, увязывая ее с неуклонно разрастающейся историей военных подвигов Сталина. Он не мог простить Бабелю того, что в «Конармии» тот правдиво изобразил его вождем разношерстной казачьей армии — бесстрашным, но таким же варваром, как его бойцы… На родине и за рубежом «Конармия» стремительно набирала популярность, и это стало реальной угрозой его репутации.

К тому же «Конармия» открывалась победой и завершалась отступлением, рассказывая об одном из крупнейших провалов Гражданской войны — поражении Советской республики в Польской кампании. К этой неудаче, возможно, приложил руку и Сталин, не позволивший соединить армию Буденного с силами Тухачевского под Варшавой. Этот эпизод подрывал полководческую непогрешимость Сталина и раздражал вождя достаточно, чтобы он попытался уничтожить свидетельства. Бабель должен был понимать проблему, однако в 1925–1926 годах, когда он заканчивал редактуру «Конармии», художественная цельность цикла, вероятно, перевесила все прочие соображения.

В конце 1920-х и в 1930-х, когда усиленно пропагандировался миф о военном гении Сталина, «Конармия» неизбежно двигалась против течения. Бабеля уничтожили бы, невзирая ни на какой мировой успех, заставили бы эмигрировать, если бы не могущественная защита Горького.

Двадцать шестого октября 1928 года Буденный атаковал самого Горького в «Правде». Озаглавив свою статью «Открытое письмо Максиму Горькому», Буденный отвечал на статью писателя, опубликованную в «Правде» и «Известиях» 30 сентября 1928 года. В ней Горький писал: «Товарищ Буденный охаял „Конармию“ Бабеля — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев».

Стараясь соблюсти приличия, Буденный, наверняка получивший разрешение на публикацию от Сталина, отвечает тем не менее упрямо и снова нападает на Бабеля. «Прежде всего, — пишет он, — чтобы лучше знать первоисточники „Конармии“ Бабеля, я должен оговориться, что Бабель никогда не был и не мог быть подлинным и активным бойцом 1-й Конной армии. Мне

только известно, что он где-то плелся с частицей глубоких тылов, к нашему несчастью, всегда отягощавших боевую жизнь 1-й Конной армии… Я полагал бы, что Бабель, с полным соответствием жанру и стилю бытописаний, мог бы скорее назвать (и это было бы правильнее) свои очерки: „На задворках Конармии“. Бабель фантазирует и просто лжет… Фабула его очерков, уснащенных обильно впечатлениями эротоманствующего автора, это — бред сумасшедшего еврея».

Напоследок Буденный обвиняет Бабеля в ужасающем преступлении — в контрреволюции: «Я думаю, что и вы, Алексей Максимович, со мной согласитесь в том, что, для того, чтобы описывать героическую, небывалую еще в истории человечества борьбу классов, нужно, прежде всего, понимать сущность этой борьбы и природу классов, т. е. быть хотя бы и не вполне осознающим себя диалектиком, марксистом-художником. А как раз ни того, ни другого у Бабеля нет. Вот почему его попытка изобразить быт, уклад и традиции 1-й Конной армии получилась в карикатурно-пасквильном виде, и вся его повесть пронизана мещански-обывательской точкой зрения с чистейшей мелкобуржуазной идеологией… Вот почему я охаял „Конармию“ Бабеля, и не только я, но и вся та революционная масса, силами которой мы на ваших глазах строим социализм».

Буденный заканчивает свою инвективу так: «Работу Бабеля мы давно осудили, расценивая ее как пасквиль, и я не стал бы к ней возвращаться, если бы о нем не было упомянуто вами именно в том месте, где вы, Алексей Максимович, учите наших пролетарских начинающих литераторов. И думается мне, что так, как это сделал Бабель, описывать героику наших дней не надо».

Максим Горький ответил Буденному 27 ноября 1928 года в «Правде» — в печатном органе коммунистического руководства страны. Подобные статьи, по многим мнениям, Сталин визировал лично. «Не могу согласиться с вами в оценке „Конармии“ Бабеля и решительно протестую против вашей квалификации этого талантливого писателя», — пишет Горький. На упреки Буденного в том, что Бабель «плелся с частицей глубоких тылов», Горький иронизирует: «Это не может порочить ни Бабеля, ни его книгу. Для того чтобы сварить суп, повар не должен сам сидеть в кастрюле. Автор „Войны и мира“ лично не участвовал в драках с Наполеоном, Гоголь не был запорожцем».

Горький мудро парирует и обвинение Бабеля в «эротоманстве», заявляя, что «война всегда возбуждает бешеную эротику». Он упоминает, что перечитал «Конармию», чтобы выяснить, прав ли Буденный, и никаких подтверждений позиции командарма не нашел. Он подчеркивает преданность Бабеля

Красной армии и делу революции: «Его книга возбудила у меня к бойцам „Конармии“ и любовь, и уважение, показав мне их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы. Такого красочного и живого изображения единичных бойцов, которое давало бы мне ясное представление о психике всего коллектива, всей массы „Конармии“ и помогло бы мне понять силу, которая позволила ей совершить исторический, изумительный ее поход, — я не знаю в русской литературе».

Затем Горький подставляет под обстрел самого командарма. «Не соглашусь с вами и в том, что ваши бойцы — „простые, обыкновенные люди“, — коварно возражает Горький, — я не посчитал бы их такими, даже не зная очерков Бабеля, который талантливо дополнил мое представление о героизме первой за всю историю армии, которая знает, за что она бьется и ради чего будет биться». И затем снисходительно, как может позволить себе только человек, подобный Горькому, прибавляет: «Тов. Буденный, разрешите сказать вам, что резким и неоправданным тоном вашего письма вы наносите молодому писателю оскорбление, не заслуженное им».

Ради еще большего подрыва позиции Буденного и чтобы уберечь Бабеля от обвинений в антимарксизме, Горький разъясняет командарму, сколь трудно в стране, где массы еще бьются в тисках дореволюционного прошлого, работать писателям, «живущим в сложнейших условиях, в стране, где не меньше 20 миллионов собственников-индивидуалистов и только два миллиона марксистов, из которых, может быть, половина говорит по Марксу так же сознательно, как попугаи по-человечески, — в этих условиях ко всем писателям нашего времени невозможно предъявлять требования строгой идеологической выдержанности… Мы, в наших интересах, обязаны относиться бережно и терпимо ко всякому человеку, который способен помочь нам в борьбе против загнивших, но еще крепких устоев проклятой, позорной старины».

Горький завершает свою диатрибу не менее ударно: «Бабель — способен. Нас вовсе не так много, чтобы мы могли беззаботно отталкивать от себя талантливых и полезных людей. Вы не правы, тов. Буденный. Вы ошибаетесь. И вы забыли, что к вашим суждениям прислушиваются не только десятки тысяч ваших бойцов. Для правильной и полезной критики необходимо, чтобы критик был объективен и внимателен к молодым литературным силам».

Это последний гвоздь, заколоченный в крышку гроба. Отныне Буденный хранит молчание.

Но видные писатели и журналисты продолжали

дискутировать о наследии Бабеля и годы спустя. Иван Бунин (1870–1953), первый русский писатель (хотя и живущий в изгнании), получивший Нобелевскую премию по литературе (1933), уехал во Францию в 1920 году и пользовался большим уважением у белоэмигрантов, чем у советского читателя; он уважал творчество Максима Горького и был заворожен трудами Льва Толстого (с которым познакомился лично в Москве в январе 1894 года), однако со временем стал считать их утопическими.

В 1917 году Бунин прекратил отношения с революционным Горьким и во Франции ждал фиаско большевистской авантюры. Однако в конце 1940-х Бунин снова заинтересовался советскими писателями, в том числе другом Бабеля Константином Паустовским, и уже подумывал о возвращении в Советский Союз — особенно в свете своих финансовых неурядиц того периода. В 1946 году Бунина настоятельно увещевали вернуться в СССР, но этим планам пришел конец после публикации «Воспоминаний» (1950) Бунина, полных едкой критики советской жизни.

В этих «Воспоминаниях» он пишет о Бабеле: «Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель… Я, со своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ея, заслуживала уже плахи, тем более что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов».

Это, впрочем, было написано до официальной реабилитации Бабеля, во времена молчания, когда даже те, кто любил писателя из Одессы, кто восхищался им, опасались вслух произносить его имя. Возвращение Бабеля на литературную сцену — если скудные публикации можно так назвать — откладывалось до смерти Сталина.

Илья Эренбург (1891–1967) — крупный советско-еврейский писатель, журналист, переводчик и деятель культуры, немало сделавший для реабилитации целых слоев русской и мировой культуры, — пользовался уважением Бабеля, хотя и был жрецом советского режима и одним из немногих, кто избежал сталинских чисток. Эренбург часто встречался с Бабелем. Однако, по словам дочери Бабеля Натали, в 1946 году зачем-то солгал Евгении Гронфайн, первой жене писателя, что Бабель жив и «проживает под наблюдением неподалеку от Москвы».

Власти реабилитировали Бабеля 23 декабря 1954 года. После знаменитого хрущевского разоблачения культа личности Сталина на XX съезде ЦК КПСС в 1956 году вышел сборник рассказов Бабеля с предисловием Эренбурга. Это издание открыло путь

последующим, хоть и подверженным цензуре изданиям; после публикации 1957 года на семь лет наступило затишье. Одиннадцатого ноября 1964 года в своей речи на литературном вечере в честь семидесятилетия со дня рождения Бабеля, спустя десять лет после его реабилитации, Эренбург прилюдно с глубоким чувством заявил: «Это самый большой друг, которого я имел в жизни… Я шутя называл его „мудрый ребе“, потому что он удивительно глубоко смотрел на жизнь… Говорил часто: „А лучше поглубже“. Хотел видеть то, что глубоко…»

Константин Паустовский (1892–1968), соискатель Нобелевской премии по литературе в 1965 году (премия досталась более просоветскому писателю Михаилу Шолохову), был другом и почитателем Бабеля. В воспоминаниях «Несколько слов о Бабеле» (1966) он пишет о том, как познакомился с Бабелем в Одессе. Он был соседом Бабеля и вспоминает о времени, когда Бабель только вернулся в город из Красной армии. «За Бабелем толпами бегали одесские литературные мальчики… Слава шла об руку с ним». Описывая «талантливейшего сатирического поэта Сашу Черного» (Александр Михайлович Гликберг [1880–1932], эмигрировавший в 1918-м), который публиковался в «Сатириконе», Бабель говорил Паустовскому: «Он был тихий еврей. Я тоже был таким одно время, пока не начал писать. И не понял, что литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь. Нужны цепкие пальцы и веревочные нервы, чтобы отрывать от своей прозы, с кровью иной раз, самые любимые тобой, но лишние куски. Это похоже на самоистязание. Зачем я полез в это каторжное писательское дело!.. Писателю надо не бормотать, а говорить во весь голос. Маяковский небось не бормотал, а Лермонтов, так тот просто бил наотмашь по морде своими стихами…»

Паустовский признается, что рядом с Бабелем чувствовал себя мальчишкой: «О многословии Бабель говорил с брезгливостью. Каждое лишнее слово в прозе вызывало у него просто физическое отвращение. Он вымарывал из рукописи лишние слова с такой злобой, что карандаш рвал бумагу… И вместе с тем он несколько раз жаловался на отсутствие у себя сочинительского дара, на отсутствие воображения. А оно, по его же словам, было „богом прозы и поэзии“».

Завершая свои мемуары о Бабеле, Паустовский, потомок казаков, пишет: «Тогда уже даже неискушенному в литературе человеку было ясно, что Бабель появился в ней как победитель и новатор, как первоклассный мастер. Если останутся для потомков хотя бы два его рассказа — „Соль“ и „Гедали“, то даже два этих рассказа свидетельствуют, что движение русской литературы к

совершенству столь же устойчиво, как и во времена Толстого, Чехова и Горького. По всем признакам, даже „по сердцебиению“, как говорил Багрицкий, Бабель был писателем огромного и щедрого таланта» (Багрицкий — псевдоним Эдуарда Георгиевича Дзюбина [1895–1934], российско-еврейского поэта, родившегося, как и Бабель, в Одессе).

И затем Паустовский уподобляет влияние Горького на литературную карьеру Бабеля тому влиянию, которое оказал сам Бабель на своего протеже Паустовского. Отдавая дань памяти Бабелю, Паустовский пишет о его профессиональной этике: «„Ясность и сила языка, — говорил [Бабель], — совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить“. Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя… В литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя».

«У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им, — говорил Бабель Паустовскому. — Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет… Бывает даже, что я плачу от усталости… Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!.. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда. Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков».

Но не только трудности писательского дела мучили Бабеля. Об антисемитизме он тоже не забывал. «Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом… Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело».

Бабель едко замечает, что не выбирал себе национальность, что его еврейство, его идентичность, его истоки и его страдания даны ему от рождения. Однако боль писательства он выбрал самостоятельно и отдаст все на свете, лишь бы продолжать

страдать. Он хотел пировать на «празднике богов», хотел получить все целиком и страшился, что на этот пир литературы его не допустят. Он хотел стать органичной частью мировой культуры, мечтал, чтобы его творения были признаны таковыми.

У «праздника богов» возможен целый ряд коннотаций. Он вполне может отсылать к античности, этрускам, грекам, троянцам и скифам, которые устраивали пиры, празднуя важные события, особенно религиозного свойства, но возможно также, что Бабель имеет в виду фреску итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля «Пиршество богов», фрагмент потолочной росписи «Легенда об Амуре и Психее». С детских лет невероятно талантливый, Рафаэль к семнадцати годам перерос родной город Урбино и прославился своими росписями в Ватиканском папском дворце, а также изображениями Мадонны, пронизанными неподражаемым чувством. В 1932–1933 годах. Бабель жил с первой женой и дочерью во Франции, весной 1933-го он навещал Горького в Сорренто, после чего, пробыв несколько дней в Риме, где посетил виллу Фарнезина, и Флоренции, вернулся в Париж.

К 1932 году Бабель начал понимать, что работы его либо вообще не будут напечатаны, либо подвергнутся суровой советской цензуре. Стало ясно, что Сталин Бабеля недолюбливает. В письме от 7 июня 1932 года Сталин пишет одному из своих соратников Лазарю Кагановичу (1893–1991), за беспощадное исполнение сталинских приказов прозванному «железным Лазарем», что предпочитает Михаила Шолохова «„нашему“ вертлявому Бабелю». Бабель знал, что его литературная и личная судьба рискует вот-вот навлечь на себя сталинский гнев, и, однако, верил, что его слава, его рассказы, его надежды подарят ему возможное спасение.

Дневник 1920 года

Первая дневниковая запись появилась, когда Исааку Бабелю было 25 лет, почти уже 26, — 3 июня 1920 года. В дневнике Бабель порой использует французские, немецкие, ивритские и идишские выражения. Дневник написан от руки в бухгалтерской книге, первые 54 страницы утеряны; дневник остался у друга Бабеля М. Я. Овруцкой и потому не был конфискован вместе с остальными бумагами 15 мая 1939 года, когда Бабеля арестовал НКВД.

А. Н. Пирожкова считает, что дневник вместе с другими бумагами был оставлен у Овруцкой в 1927 году, когда Бабель уехал из дома первой жены. Семья самого Бабеля после смерти

отца отбыла из Одессы в 1924-м; мать и сестра Бабеля, которые вскоре эмигрируют, переехали в Москву.

Дневник пролежал на полке нетронутым до середины 1950-х, а затем перешел к вдове писателя. Миновало еще тридцать лет. В 1987 году с приходом гласности четыре крупнейших советских журнала получили предложение опубликовать дневник. Все четыре журнала отказались, опасаясь санкций со стороны властей; один редактор сказал, что боится, как бы дневник не повредил репутации Бабеля, «подразумевая тем самым, что взгляд Бабеля на политический и общечеловеческий пейзаж в послереволюционный период демонстрирует его чрезмерный интерес к еврейскому вопросу». Публикаторам стоило многих усилий напечатать фрагменты дневника под названием «Ненавижу войну», а полный текст дневника появился в печати лишь в 1990-м.

Из дневника следует, что молодой автор ищет путей объединить свое еврейство с желанием стать русским писателем. Странствуя и наблюдая за происходящим, он ужасается жестокостям, творимым казаками во имя революции, и глубоко скорбит о страданиях своего народа — все это очевидно из дневниковых записей. О евреях и иудаизме, о родстве со своим народом Бабель говорит прямо: по сути, он разрывался между иудаизмом и коммунизмом, отчужденный от прошлого и неспособный примириться с будущим.

Немало боев Гражданской войны, которые наблюдал Бабель, происходили в сердце бывшей черты оседлости. Там было много еврейских местечек с синагогами, школами, общинными учреждениями, рынками. Невзирая на маску казака, которую Бабель надевает в Конармии, дневник 1920 года выдает его сродство с жертвами событий — евреями. Для тех, кто полагает, будто дневник — памятный документ, не имеющий прямого отношения к циклу «Конармия», Бабель в 1938 году публично разъясняет, что рассказы «Конармии» целиком основываются на дневниковых записях, большую часть которых он потерял и затем восстанавливал по памяти.

В первой дневниковой записи Бабель описывает погром, устроенный поляками в Житомире, где были убиты 43 еврея, а двое похоронены заживо. Иллюзий касательно того, что казаки обойдутся с евреями милосердней, Бабель не питал: «Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками. После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь»

(Житомир. 3.6.1920).

Казаки его отговаривают, однако Бабель настаивает на том, чтобы его отправили на постой к еврейской семье. Шестилетняя девочка вскоре понимает, что гость еврей, и Бабель рассказывает ее родителям, что его мать еврейка. Подслушав разговор — надо полагать, на идише — в городе Ровно, после того как туда ворвались казаки, Бабель узнает о мародерстве буденновцев и видит неотвязный страх евреев перед грабежами и изнасилованиями (Ровно. 6.6.1920).

Еврейские погромы в дневнике Бабеля описываются как неотъемлемая часть российской истории и жизни общества — не только как эпизодические последствия войны. Бабель страдает: он знает, на что способны казаки.

Восемнадцатого июля 1920 года он пишет: «Еврейское кладбище за Малином, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм».

Как ни парадоксально, в тот же день он с восхищением описывает свирепых казаков: «Великолепное товарищество, спаянность, любовь к лошадям, лошадь занимает 1/4 дня». А назавтра, 19 июля, говоря о приезде Буденного и Ворошилова, с завистью отмечает: «Картина боя, возвращаются кавалеристы, запыленные, потные, красные, никаких следов волнения, рубал, профессионалы, все протекает в величайшем спокойствии — вот особенность, уверенность в себе, трудная работа…»

Бабель пытается проникнуть в душу «иного», и его жалит реальность: «Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость. Мы авангард, но чего? Население ждет избавителей, евреи свободы — приезжают кубанцы…» (Пелча — Боратин, 21.7.1920).

И чуть ниже: «Каждый дом остался в сердце. Кучки евреев. Лица, вот гетто, и мы старый народ, измученные, есть еще силы…» Следует обратить внимание на это «мы» — в нем содержится отчетливая идентификация Бабеля с евреями, которая противостоит другой, неявной самоидентификации. История, впрочем, не закончена: «Казаки кричат, ругаются, лезут на полки…» Его товарищи обыскивают лавку и лавочника, которому несколько минут назад Бабель «лил бальзам на душу». И далее, описывая местных жителей, он пишет: «Старый еврей — я люблю говорить с нашими — они меня понимают».

Евреи понимают его, поскольку он один из них. Сознавая тотальную бессмысленность происходящего, Бабель вспоминает о своих земляках, одесских Абрамовичах: «Хоронить приезжала мать, и я вижу эту еврейку, хоронящую сына, погибшего за противное ей непонятное, преступное дело».

Двадцать третьего июля Бабель описывает вступление казаков в Дубно: «И опять все трепещут». Он пытается утешить евреев, прибегая ко лжи во спасение: «Все идет к лучшему… в России чудесные дела — экспрессы, бесплатное питание детей, театры… Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, все перевернет, всех вывернет, в который раз, и жалко».

Бабель бродит улочками еврейского городка, заходит в синагогу — и тоскует: «Дубенские синагоги. Все разгромлено… Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет… Я молюсь, вернее, почти молюсь… Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует… Никаких украшений в здании… все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. А в чем душа заключается? Неужто именно в наше столетие они погибают?» Возможно ли, что всему конец?

Бабель говорит о своем одиночестве, вдруг переключаясь с оплакивания еврейского местечка на признание, что испытывает желание, пробужденное привлекательной женщиной.

День спустя, 24 июля, случается страшное: Бабель наблюдает, как пытают безоружных евреев. «Еврейское местечко, я настораживаюсь. Евреи по степи, все разрушено… вокруг гуляет казачье». Казаки в субботу заставляют евреев стряпать. «И я молчу, — пишет Бабель, — потому что я русский». Две половины Бабеля ведут войну в душе, и русская половина побеждает.

И далее: «9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит, что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное… поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова… За окном Демидовка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм». (Девятое ава — день скорби, второй по важности пост в еврейском календаре, соблюдаемый в память о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов — *Д. Р.*)

Казак пытается соблазнить еврейскую девушку, «ей мучительно», и Бабель замечает: «Кому ее душа понятнее, чем мне?.. Жалкая Демидовка».

Двадцать пятого июля он говорит о том, как русские разрушают все церкви и синагоги; он спит в клуне неподалеку от Бродов и потом записывает: «Как все это невообразимо грустно, и эти одичалые и жалкие галичане, и разрушенные синагоги, и мелкая жизнь на фоне страшных событий, до нас доходят только отсветы». Все, что является его взгляду, говорит: будет только хуже.

Двадцать шестое июля: Бабель тоскует по Одессе; и снова разрушенная синагога, и снова его расквартировывают к евреям: «благоденствие, чистота, тишина, великолепный кофе, чистые дети… жена… прилична, вежлива». Бабель пишет о своей боли, о том, что должен «обдумать… собственную судьбу». Двадцать восьмого июля он описывает казаков и их образ жизни и сравнивает еврейский дом с тем, что видел, когда его отправляли на постой к русским: «Грязь, апатия, безнадежность русской жизни невыносимы… все солдаты больны сифилисом… Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис…»

Однако двумя днями раньше, 26 июля, он наконец признается: «Я чужой». Ему не удается сойти за своего. О своей судьбе он раздумывает постоянно, и его дневник ясно показывает, что его желанная цель — адаптация среди казаков, среди русских — совершенно недостижима.

Тридцатого июля он видит церковь, распятие, изображение Богоматери. Обычно вожделенные «иные» — казаки — ему сейчас не интересны: его снова тянет в еврейские кварталы. «Город разрушен, ограблен… осматриваю новую синагогу, архитектура… хоть бы мир, как будет торговля. Шамес [синагогальный служка] рассказывает о разграблении города казаками, об унижениях, чинимых поляками… Нельзя забыть Броды, — напоминает себе Бабель, — и эти жалкие фигуры, и парикмахеров, и евреев, пришедших с того света, и казаков на улицах… о русские люди, как отвратительно вы проводите ваши ночи… Ужасная ночь в этих замученных Бродах».

Вскоре Бабель случайно находит ценную библиотеку и поражается тому, что еще недавно в этом городке цвели культура и знания, — ныне же все это уничтожается оружием революции. Он продолжает описывать уничтожение евреев поляками и казаками, которые теперь в его глазах одно. Третье августа 1920 года: «…страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите».

В разгар этой борьбы за революцию Бабель получает лошадь, умудряется избежать ранений, голодает и идет на поиски хлеба. «Я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок… от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать… через 5 минут после приезда [в город], какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжко от непрекращающихся ужасов…»

Бой проигран, и бойцов одолевает уныние. Пятое августа: «Герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает… Тоска по Одессе». Седьмое августа: «В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются… Мать плачет, под молитву, рассказывает мне… И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — холоп против пана… Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены… местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто… [Поляки] грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера, — идиотизм… Я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские… Ксендз… — схоластик…» А затем Бабель описывает местных евреев, еврейских детей, мужчин и женщин — он снова рассказывает им сказки «о российском рае».

Назавтра он бродит по местечку, осматривает церкви, но интересуется в основном евреями, беседует с ними. От его взгляда не ускользают еврейская архитектура, наряды, свитки Торы. Восьмое августа: «Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь…» Казаки трубят о капитуляции, российские газеты — о всемирной победе коммунизма.

Пытают, режут глотки, восхищаются лошадьми, насилуют женщин (9 августа). Бабель узнает, что поблизости живет главный раввин; местных евреев согнали в хату и сожгли за то, что прятали еду в клуне. «Обычная история», — отмечает Бабель. Но по-прежнему восторгается казаками: «…Вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество… по вечерам полными голосами поют песни… преданность коням… я сплю, окруженный ими». Зная их кровожадность, Бабель все равно хочет остаться среди них. Тем не менее 10 августа он говорит: «Чем не времена Богдана Хмельницкого?» И снова, 18 августа: «Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами».

«Евреи у дверей как трупы, — продолжает он 18 августа, — я думаю, что еще с вами будет… какое-то невыразимое привычное

и горячее еврейское горе». А чуть позже отмечает «чистых евреек, местечки с садами, занавесками и опрятными домами». Он встречает интеллигентных молодых людей, в том числе евреев, в одном белье, залитом кровью. «Они окружают меня, — в тот же день пишет он, — они рады звуку моего благожелательного голоса… какая разница между казаками и ими, жила тонка».

Он знакомится с иезуитами, с христианами, и поражен их чистотой, образованностью священников. Временами он описывает евреев и благочестивых христиан в сходных терминах. «Две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура… Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре» (18.7.1920).

Очевидно, их сходство с евреями из его родного города изумляет Бабеля. А его командир, отмечает он, «будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства».

Наблюдая в тот же день чудовищную картину поля битвы, Бабель говорит: «Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление… Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон…»

Это уже не голос человека, мечтающего слиться с казаками, чтобы воспринять их обычаи; он больше не желает стать «иным» — мы видим Бабеля, страдающего от того, что он чужой, он сознает бессмысленность этой битвы, жестокость своих соратников — невежественных убийц. Но деваться ему некуда. «Ад, — продолжает он. — Как мы несем свободу, ужасно». Единственная забота казака — его возлюбленная лошадь. «Лошадь это все. Имена: Степан, Миша, Братишка, Старуха. Лошадь — спаситель, это чувствую каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошадью никто не ухаживает» (Адамы. 21.8.1920). Лошадь очкастого еврея казаков не волнует.

Наконец, 21 августа Бабель говорит прямо: «…Наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы». А затем знакомится с двумя евреями-кавалеристами, тоже из Одессы. «Тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме». Мысленно Бабель возвращается к дому постоянно.

Двадцать пятого августа Конармия наконец добирается до города Сокаля. И снова Бабель повсюду замечает евреев — образованных евреев, ведущих «обычную еврейскую жизнь». На следующий день он осматривает город «с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет назад, бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет тому назад… Красота алтаря… великолепие зеленоватых люстр… Евреи просят воздействовать, чтобы их не разоряли…» Во многом Бабель обрел здесь дом вдали от дома — вновь пришел к людям, которых знает, к людям, чьи обычаи и стиль жизни ему понятны. Евреи повсюду — он прекрасно знает этих людей. И однако, едва он заводит речь о еврейском сапожнике, радость «возвращения домой» сменяется правдой его внутренней борьбы: «Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и грабителей… Ночью будет грабеж города — это все знают… Какие раздерганные, замученные люди».

Двадцать восьмого августа, когда Ворошилов и Буденный отчаянно пытаются спасти ситуацию на фронте, Бабель описывает местечко Комаров: «Невыразимый страх и отчаяние». Этим он не ограничивается — ему нужно поверить свои впечатления хотя бы дневнику: «Здесь вчера были казаки есаула Яковлева. Погром. Семья Давида Зиса, в квартирах, голый, едва дышащий старик пророк, зарубленная старуха, ребенок с отрубленными пальцами, многие еще дышат, смрадный запах крови, все перевернуто, хаос, мать над зарубленным сыном… грязь, кровь под черной бородой, так в крови и лежат… Раввин спрятался, у него все разворочено… Убито человек 15 — Хусид Ицка Галер — 70 лет, Давид Зис — прислужник в синагоге — 45 лет, жена и дочь — 15 лет, Давид Трост, жена — резник». Его внутренний взор все это фиксирует, он старательно записывает имена — знак любви, знак того, что он ни в коем случае не хочет забыть этих людей.

Он идет в дом изнасилованной еврейки. Проводит субботу с религиозной еврейской семьей, которая не станет стряпать, пока суббота не кончится. Для Бабеля равно трагичны еврейские погромы и вот эти строки против тех, с кем он хотел породниться: «Главное — наши ходят равнодушно и пограбливают где можно, сдирают с изрубленных. Ненависть одинаковая, казаки те же, жестокость та же, армии разные, какая ерунда…»

Двадцать девятое августа: «Ночью наши грабили, в синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешки для седел». Тора, самое драгоценное достояние еврейского народа, и лошадь, величайшая драгоценность казака, теперь уравнены. «Мешки» — это специальные бархатные чехлы для свитков Торы (мантелн).

Подсознательно Бабель, вероятно, пытался провозгласить

смерть старого, которое сменяется новым, но понимал, что сам в таком обмене участвовать не желает. Красноармейцы грабят водочный завод, пьют, невзирая на запрет; кавалеристы, которых Бабель теперь называет «русские», грабят любой дом, что попадается им на пути.

В старом поместье Бабель видит «драгоценнейшие книги… французские романы» — вот какой революции он хотел. Он хотел дышать полной грудью, а вместо этого тонет в огненной клоаке грабежей и убийств. «Невыносимое чувство, бежать от вандалов, — пишет он, — <…> их поступь, лица, ругань…» Этот день Бабель подытоживает красноречивым пассажем, благодаря которому его автора могли бы обвинить в измене: «Разница между русскими и поляками разительна. Поляки живут чище, веселее, играют с детьми, красивые иконы, красивые женщины…»

В первые дни сентября 1920 года пошли слухи об отступлении, о том, что Красная армия проиграла — и не только битву с поляками; великая цель революции — мировая победа коммунизма — явно недостижима. Именно это хотели утаить от истории Буденный, Ворошилов и в особенности Сталин. Дневник Бабеля прямо говорит о зверствах казаков, а главное — об их поражении. Первого сентября 1920 года Бабель пишет: «Начало конца 1-й Конной. Толки об отступлении».

И при этом добавляет: «Я думаю об Одессе, душа рвется». Кони истекают кровью. Второе сентября: «Жалкие деревни… Полуголое население. Мы разоряем радикально… Толкаемся, но успехов не удерживаем. Толки об ослаблении боеспособности армии все увеличиваются. Бегство из армии. Массовые рапорты об отпусках, болезнях… отсутствие комсостава… некому вести полк в атаку… Дни апатии… Тяжело жить в атмосфере армии, давшей трещину».

Еще важнее то, что для Бабеля это не просто военное поражение — это конец его мечты о браке его домашнего мира и мира внешнего, в котором он так жаждал прижиться, который так мечтал покорить. «Больно за все это», — пишет он 31 августа. В общей записи за 3, 4 и 5 сентября отмечает: «…Дивизия погибнет, нет задора, лошади стали, люди апатичны… бойцы ходят вялые». И о России, возлюбленной своей отчизне, которую он не желает покидать, добавляет: «Погода, нагоняющая тоску, дороги разбиты, страшная российская деревенская грязь, не вытащишь сапог, солнца нет, дождь, пасмурно, проклятая страна».

Бабель заболевает, толком не может двигаться, ночами мучается. Пишет: «Все тело растерзано, искусано, чешется, в крови, ничего не могу делать… Комсостав пассивен, да его и нет».

Шестого сентября он слышит в очередной раз в своей жизни

черносотенный лозунг: «Бей жидов, спасай Россию… Вот и буденновцы», — комментирует он.

Бабель снова селится у евреев. «Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода». Седьмого сентября он опять становится на постой у еврейской семьи — возможно, пытаясь таким образом бежать назад, в свой мир. «Целый день варят и пекут, — пишет он о еврейских женщинах, — еврейка работает как каторжная, шьет, стирает. Тут же молятся». И о казаках: «Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины». И, несмотря на все это, отмечает, что командование с «ужасной бестактностью» решает наградить этих «хамов» орденом Красного Знамени. Лицемерие армии потрясает Бабеля — лицемерие тех, к кому он пытался примкнуть.

Восьмого сентября он вновь оказывается в еврейском доме — и тем сильнее его тоска по родным: «Папаша и мамаша — старики. Горе ты, бабушка? Чернобородый, мягкий муж. Рыжая беременная еврейка моет ноги». Еврейка на сносях — еврейское отныне невозможное будущее. «Ужин — клецки с подсолнечным маслом — благодать. Вот она — густота еврейская. Думают, что я не понимаю по-еврейски, хитрые как мухи… Спим… на перине».

Девятого сентября двадцатишестилетний Бабель, родом из ассимилированной семьи, сообщает: «Синагога. Молюсь, голые стены, какой-то солдат забирает электрические лампочки». «Завтра пятница, уже готовятся [к субботе]», — пишет он о своих еврейских хозяевах. «Говорят — лучше голодать при большевиках, чем есть булку при поляках», — но Бабель-то знает, что они ошибаются. И он молится — уже не «почти молится», как 23 июля, — а он возносит о чем-то мольбу Всевышнему. Но о чем же молиться Бабелю? О революции? О соединении двух миров — о своей мечте? Или, может, о возвращении к корням? Как обычно — и это типично даже для дневника, — Бабель не дает ответа, будто предназначает это умолчание для читателя, хотя дневник предназначается только для него самого.

Он идет в синагогу, молится, как умеет, живет у еврейской семьи, отмечает их подготовку к священной субботе. Бабель теперь сознает себя частью еврейского мира или, во всяком случае, желает возвращения в лоно домашнего мира.

Следующие дни — последняя неделя дневника — полны жажды. Жажды пищи и домашнего уюта, жажды понимания «собственной судьбы». Одиннадцатого сентября в Ковеле он замечает: «Город хранит следы европейско-еврейской культуры… тихие домики, луга, еврейские улочки, тихая жизнь, ядреная, еврейские девушки, юноши, старики у синагоги… Соввласть как

будто не возмутила поверхности, эти кварталы за мостом». А о товарищах-казаках говорит: «Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга… Целый день ищу пищу».

Двенадцатого сентября поляки занимают местечко Киверцы, повсюду царит хаос капитуляции. «Паника позорная, армия небоеспособна… Русский красноармеец пехотинец — босой, не только не модернизованный, совсем „убогая Русь“, странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые, голодные мужики». Раненых безжалостно выкидывают из вагонов, некоторые армейские подразделения попадают в плен к полякам, «масса пленных… армия бежит».

Тринадцатого сентября в тех же Киверцах Бабель вспоминает — или же ему напоминает само местечко, — что на дворе еврейский Новый год. «Мальчики в белых воротничках. Ишас Хакл угощает меня хлебом с маслом… Я растроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго… рассудительная и неторопливая еврейка». Бабель говорил с женщиной на идише, а «Ишас Хакл» — это «добродетельная жена» из книги Притчей Соломоновых (31:10): она олицетворяет доброту и мудрость еврейских женщин. Согласно интерпретациям, «Ишас Хакл» — аллегория отношений с божественным супругом; Бабель в буквальном смысле использует это выражение — слова, которые муж поет жене в канун субботы, — выражая любовь и признательность еврейской женщине в разоренном еврейском доме, столь неожиданно явившей ему доброту. В тексте этого гимна, восходящего к Царю Соломону, прямо говорится о жене, которая и ткет, и обрабатывает землю и т. д.

И 20 сентября, после замечаний о голоде и слабости в Красной армии, дневник 1920 года подходит к концу. Как говорил Левка Крик в пьесе Бабеля «Закат», «еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским». Однако дневник 1920 года доказывает, что Бабель отнюдь не стал «еврейским казаком». Ему нужно было написать рассказы, составившие «Конармию», сочинить их ярко, сильно, но в то же время пригодно для печати в Советском Союзе 1920-х годов. Бабель поставил себе задачу изобразить парадокс самообмана личности, разрывающейся между еврейством и революцией. Он ясно сознавал положение, в котором оказалась еврейская интеллигенция в Советской России, когда их идеалистические надежды пошли прахом. И рухнула надежда Бабеля — мечта стать одновременно своим среди красноармейцев и остаться своим для своего народа: не вышло ни то ни другое.

Из «Дневника 1920 года» следуют два факта: любовь Бабеля к еврейскому народу и страшные зверства казаков, «творцов

революции». Пребывание в Конармии для Бабеля стало метафизическим обрядом инициации. Пережитая им раздвоенность и невозможность полностью слиться ни с одним из миров — ни со старым, домашним еврейским, ни с новым, ужасающим и влекущим, революционным, — станет основой для его творческого неравновесия. Писатель питается энергией неустойчивости маятникового механизма, вынуждающего его тратить творческую энергию для обретения баланса. Это трудное, мучительное свойство стало главным приобретением Бабеля за время Польской кампании Гражданской войны. Но, исчерпав этот источник, написав «Конармию», ему не останется ничего, кроме бесконечного страдания.

Письма: 1925-1939

До революции в Одессе действовала процентная норма приема евреев в высшие учебные заведения, и юный Бабель был вынужден в 1911 году переехать из Одессы в Киев, чтобы там поступить в Киевский институт финансов и предпринимательства. В Киеве Бабель познакомился с Борисом Вениаминовичем Гронфайном, промышленником, занимавшимся выпуском земледельческих машин, деловым партнером его отца Эммануила. Бабелю было шестнадцать лет. Познакомился он и с пятнадцатилетней дочерью Бориса Гронфайна — та любила читать и мечтала стать художницей. У них случился роман, и 9 августа 1919 года Бабель женился на Евгении Гронфайн. Их дочь Натали позже напишет: «Мать и отец с юных лет были преданы искусству и верили, что ради него нужно пожертвовать всем».

Не прошло и года, как весной 1920-го Бабель оставляет молодую жену, берет себе русское имя Кирилл Васильевич Лютов, становится военным корреспондентом, прикомандированным к Первой Конной армии Буденного, и оказывается на польском фронте. Период с мая по сентябрь 1920 года Бабель проводит в красной кавалерии. Красная армия оказалась на подступах к Варшаве в августе 1920 года, но вскоре была отброшена, а к сентябрю разгромлена войсками Пилсудского при поддержке западных держав. В октябре было подписано перемирие, а 18 марта 1921 года — Рижский мирный договор, установивший российско-польскую границу и передавший Польше часть Украины и Беларуси. В Конармии Бабель, подписываясь «К. Л.» или «К. Лютов», публикует в газете «Красный кавалерист» четыре материала (возможно, он написал больше, однако другие тексты не обнаружены). Вернулся Бабель с фронта измученным,

больным, завшивленным и истерзанным. Они с женой отправляются в Грузию (Абхазия и Аджария входили в состав Грузии), где Бабель пишет в местную газету «Заря Востока».

После смерти Ленина 21 января 1924 года Иосиф Сталин, с 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б), разворачивает борьбу за тотальный контроль над Советским Союзом. С 1921 по 1924 год Бабель пишет и публикует рассказы о Бене Крике («Одесские рассказы»), а также работает над циклом «Конармия», и с их публикацией в авангардном журнале «ЛЕФ» и журнале «Красная новь» слава писателя неуклонно растет. Как уже говорилось выше, в 1924-м Буденный впервые раскритиковал рассказы «Конармии», пытаясь дискредитировать эти воспоминания о катастрофическом поражении и отступлении красной кавалерии, а также набирающего силу писателя, чья популярность не давала аудитории забыть об этой неудаче.

Кроме того, в 1924 году сестра Бабеля Мириам (Мария, Мери) Шапошникова уехала в Брюссель. В 1925-м Бабель опубликовал первые два «детских» рассказа (цикл «История моей голубятни»); у него начался роман с Тамарой Кашириной (позднее — женой Всеволода Иванова), что, скорей всего, и побудило его жену Евгению эмигрировать. В 1926 году мать Бабеля уехала к дочери в Брюссель. В своих воспоминаниях дочь писателя Натали Бабель пишет: «Моя мать не скрывала причин своего переселения во Францию: она ненавидела советский режим и боялась его… но лишь многие годы спустя, уже умирая от рака, она призналась мне, отчего на самом деле не вернулась в Москву к мужу: „Ты должна знать: у тебя есть сводный брат. Я уехала из России в основном потому, что твой отец завел роман с актрисой, красавицей, которая родила ему сына“».

С выходом книги «Конармия» слава Бабеля возросла. Его письма к семье после 1925 года полнятся тревогой о здоровье, жалобами на безденежье, еврейскими мотивами и тоской по родным. «[В этот период] Бабель боялся за себя, — писала впоследствии его дочь, — лишь потому, что опасался, как бы его финансовое положение не отразилось на его работе. Его жизнь строилась вокруг сочинительства — он без преувеличения всем пожертвовал ради искусства, в том числе личными отношениями, семьей, свободой, даже жизнью».

Однако из переписки Бабеля следует, что беспокоило его не только творчество. Со смертью Максима Горького в 1936 году Бабель лишился наставника и могущественного защитника. Натали потом напишет, что Бабель жил в «полнейшей секретности и молчании. Лишь немногие знали об ужасных его тревогах, о его неколебимой уверенности в том, что однажды его

уничтожат, как и прочих… Он отказывался писать по заветам партии и погрузился в молчание, несмотря на крупное вознаграждение, обещанное ему в случае публикации. На это он отвечал: „В дворце не творится“».

В одном из первых писем к сестре (12 мая 1925 года) Бабель пишет: «Душевное состояние оставляет желать лучшего — меня, как и всех людей моей профессии, угнетают специфические условия работы в Москве, то есть кипение в гнусной, профессиональной среде, лишенной искусства и свободы творчества, теперь, когда я хожу в генералах, это чувствуется сильнее, чем раньше…» Бабель, сознававший, что его письма подлежат перлюстрации, со временем стал осторожнее, но в данном случае оценивает ситуацию правдоподобно. Его по-прежнему ничто не беспокоит, кроме качества создаваемых им текстов.

Шестнадцатого ноября 1925 года он пишет: «Пока придерживаю „Конармию“, не согласен с некоторыми сокращениями [цензоров]». Первого января 1926 года он уговаривает сестру и зятя вернуться в Россию: «А что до духовной жизни в России и научных всяких перспектив, не мне вам рассказывать, они тут побогаче, и будущее у них пообширнее, чем на Западе». Для надзора ли он это писал или еще верил, что революция и коммунизм — благо человечества? Спустя месяц, 8 февраля 1926 года, Бабель формулирует: «Пока вы с мамой не осядете, мне отсюда не уехать. А я должен уехать. С каждым днем в Москве жить все труднее, а работать неплодотворнее, и, если тут остаться, будет только материальная и духовная нищета». Следует отметить, что Бабель говорит не о политическом гнете — лишь о недостатке творческой продуктивности.

Из Ленинграда 22 марта 1926 года: «…Несмотря на письма, вы и представить не можете положение моих дел, оно стало катастрофическим и невыносимым… я сейчас так отчаялся и устал, что работать не могу…» Бабель мучается, разлука с семьей только умножает страдания, в недостатке творческой продуктивности он винит личные обстоятельства. В этот период он работает над киносценарием «Беня Крик» (от которого потом отречется: фильм ему не понравится) и над экранизацией «Блуждающих звезд» Шолом-Алейхема. Тамара Каширина между тем ждет от него ребенка, рожать ей в июле, и жизнь писателя охвачена хаосом.

Двадцать девятого марта 1926 года он снова жалуется на личные трудности, но прибавляет: «Сегодня Песах, первый седер — печальные воспоминания». Воспоминания детства вдруг возникают посреди нынешнего одиночества. Седьмого сентября

1926 года, после переезда из Москвы в деревню Хреновая (Воронежская губерния), его настроение меняется, он снова помногу работает, он рядом со своими любимыми лошадьми. Любовь к лошадям Бабель сохранил даже после всего пережитого у казаков, которые отвергли его именно потому, что он так и не научился хорошо ездить верхом. Тем не менее любовь к лошадям останется с ним навсегда — быть может, как воплощение непреходящего желания влиться в мир «иных».

Шестнадцатого сентября 1926-го он пишет матери из Хреновой: «…Много работаю, вижу мало людей и много лошадей. Люблю я это… запоздало поздравляю тебя с еврейским Новым годом. Пусть он будет у тебя лучше, чем тот, что прошел…» И снова лошади, символизирующие внешний мир, сочетаются с миром домашним, где звучат пожелания счастья в еврейском новом году. В следующие месяцы он жалуется в письмах на здоровье, на самочувствие матери, на отсутствие денег, расходившихся по друзьям и родным, но очевидно, что у него вновь проснулась жажда работы. Пятого ноября 1926 года из Москвы: «Я теперь много работаю», а затем, 10 ноября: «Будь здорова, и пусть Бог Израилев пошлет тебе новые зубы, новые деньги, а главное — новые мозги, да только даже если этот Интриган и станет посылать тебе изредка по зубику, Он ничем не поможет с мозгами…»

В середине ноября (15 ноября 1926 года) он пишет, что живет «роскошно» в Доме отдыха Народного комиссариата, адреса никому не сообщает и говорит, что надеется вскоре подготовить пьесу («Закат») к постановке. Но 29 ноября пишет, что уезжает в Киев, а затем за границу, и притом надолго: «Я завершаю ужасный „московский период“ моей жизни, он принес мне столько невзгод. Даже говорить о нем больше не хочу…»

Через несколько месяцев, 28 января 1927 года, снова очутившись в Москве, он рассуждает о доме, семье, жизни и обязательствах: «Когда наступает отчаяние, вспоминаю папу. Он ждал, он хотел от нас успеха, а не жалоб. Вспоминаю его, и становлюсь сильнее, и гоню себя вперед. Все, что ему обещал, не на словах, но в мыслях, исполню, потому что память его для меня священна…»

Из Киева, 17 апреля 1927 года: «Милая мама, желаю тебе всего наилучшего в этот праздник. Был у Цайлегера на седере, все как полагается, как бывало в далекие детские годы. Но в душе мне грустно, и ты понимаешь отчего… Есть ли у тебя маца, соблюдаешь ли традиции предков? Надеюсь, в следующий Песах мы увидимся при счастливых обстоятельствах…» Бабель вспоминает еврейское прошлое, тоскует по нему, грустит, что

отрезан от родных. Он оплакивает утрату еврейской традиции, неотъемлемую часть детской жизни.

Годом позже, 2 апреля 1928 года, он рассказывает матери в письме о том, как сместили одного из сотрудников «Нового мира». «И можешь себе представить — за что? — лукаво спрашивает он. — За пьянство. Он учинил в пьяном виде какой-то дебош в общественном месте, и течение его карьеры прервалось. Очень жалко. Я всегда любил эту разновидность людей — а йид, а шикер… Сегодня куплю мацы и в твою честь на седере пропою хвалы этому старому мошеннику, Еврейскому Богу, по моему мнению, этот Песах немножко повеселее прошлого». «А ид, а шикер» — на идише означает «еврей, пьяница». Это выражение входит и в поговорку: «Еврей-пьяница и еврей-бандит — это не так страшно».

В одном из писем из Киева Бабель возвращается к вопросу о своей лояльности России: «Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь… Я одержим одной только мыслью, одним желанием — работать и устроить жизнь свою тихо и мирно, но эта жизнь без тебя немыслима… будущей весной постараюсь тебя привезти… я этой идеи держусь». Разумеется, это мог быть и обманный маневр, чтобы умилостивить надзор, и мольба Бабеля вновь разрешить ему выезжать за границу, и клятва верности советскому государству.

Если верить Бабелю, он по-прежнему лелеет надежду, что Россия воплотит его мечты, но в этом воплощении будет также присутствовать его мать и его семейное прошлое.

Он по-прежнему часто пишет о нехватке денег, которые посылает родственникам; 19 ноября 1928 года желает матери, чтобы «[у нее] было спокойно на душе». Месяцем позже (15 декабря 1928 года), будучи в Киеве, он снова жалуется на здоровье, но потом берет себя в руки: «Маме теперь надо только жить, радоваться жизни и бросить уже эти „еврейские недуги“» вместе с тревогами за родных. «Надо украшать дома весельем, а не цорес. Как бы людей в этом убедить?» Бабель употребляет популярное идишское словечко «цорес» — «несчастья».

Двадцать седьмого апреля 1929 года из Ростова-на-Дону Бабель пишет матери: «Не расстраивайся, потому что была грустная Пасха, — нас уже столько тысяч лет утешают, что „все будет хорошо в будущем году в Иерусалиме“. Смелый человек

найдет силу преодолеть грустные мысли». Двадцать третьего июля 1929 года он из Ростова сообщает родным о появлении на свет его дочери Натали: «Обе дамы чувствуют себя хорошо, и дела у них преотлично. Наташа — славное имя… Я просил Женю сочинить ей еврейский „ярлык“ (мне очень нравится Юдифь), но она не послушала. Я не против — ей виднее, как лучше…» Мы видим, что Бабель пытается укрепить связь своего ребенка с еврейством. Он не выдает своего отношения к тому, что жена его не послушала и не позволила ему протянуть ниточку от дочери к своему еврейскому прошлому, к оплакиваемому детству — тонкую ниточку, хотя бы только имя.

Тридцать первого августа 1929 года он пишет из Липецка и рассказывает родным о болезни «А. К.», о страданиях человека, которым Бабель восхищался. «А. К.», он же «Ал. Конст.», — Александр Константинович Воронский (1884 — ок. 1937), основатель и редактор журнала «Красная новь», публиковавшего рассказы Бабеля. Воронский был исключен из партии и отправлен в ссылку в Липецк в 1929 году, но получил разрешение вернуться и был арестован НКВД в 1937 году, в разгар сталинских чисток. Письмо Бабель завершает описанием российских пейзажей: «Великолепное место, вокруг красота, прохлада, утешение, все такое российское, никаких ярких пятен, тихая речка, рощи, дубравы…»

Мы никогда не узнаем, предназначалось ли это для надзорных органов, но эта похвала пейзажам отчасти напоминает о его согласии назвать дочь русским именем, а не еврейским — Юдифь, желанным поначалу.

Десятого мая 1930 года он из Москвы отвечает на печальные письма родных из-за рубежа: «Я неукротимо верю в будущее, а потому не могу разделить вашу грусть. Жизнь сложна, особенно для человека моей профессии, человека, который столь фанатически требователен к себе. Никогда прежде я не чувствовал такой внутренней силы, уверенности и покоя (несмотря ни на что)… Когда вернусь, надо будет кое-что переписать для публикации…»

Тут неизбежно вспоминается пророческая формулировка Осипа Мандельштама: «Чего ты жалуешься, поэзию уважают только у нас — за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают…»

В письме из Москвы от 26 мая 1930 года, погоревав о том, как печалятся его родственники за границей, и велев им о нем не беспокоиться, Бабель пишет: «Я теперь работаю по утрам и вечерам, а днем хожу гулять… наедаюсь до отвала блюдами моего детства…» О чем он говорит — о кухне его детских лет?

Или о чем-то более глубоком? О желании хоть отчасти вернуться в юность?

В ближайшие месяцы Бабель упоминает нападки в прессе из-за интервью, якобы данного им польской газете и критикующего советскую власть (письмо из Москвы от 22 июля 1930 года). Бруно Ясенский в «Литературной газете» (№ 28 от 10 июля 1930) опубликовал полемический комментарий к интервью, которое Бабель якобы дал «на пляже Французской Ривьеры», куда приехал вместе с женой. Интервью было подписано Александром Даном и появилось в польской еженедельной газете «Wiadomski Literackie»; в интервью Бабель якобы утверждал, что работать в Советском Союзе ему невозможно. Эта история попортила Бабелю немало крови, и он написал в «Литературную газету» опровержение. Дело Бабеля рассматривалось на заседании Федерации объединений советских писателей (ФОСП), и его имя было очищено, обвинения были сняты.

Спустя же несколько недель, получив от жены Жени фотографии дочери Наташи, Бабель пишет: «На снимках Наташа цветок и чуток еврейка». И завершает послание словами: «Дух моих предков восстал против папиного правила — не путайся с природой, — и я вполне готов весь остаток жизни провести в глуши с теми, кого люблю».

В последующие месяцы Бабель в письмах родным говорит о том, что к нему вернулись силы, он снова готов работать, а «Конармия» пользуется успехом. «Только что мне сообщили из Госиздата, — пишет он 15 декабря 1930 года, — что последнее издание „Конармии“ разошлось в рекордный и небывалый срок, чуть ли не в семь дней, — и требуется новое переиздание…» Казалось бы, Бабель совершенно обжился в российском обществе, он очень популярный писатель, его книги расходятся в рекордные сроки. Двадцать восьмого декабря 1930 года он пишет: «В жизни моей не бывало года, когда я работал так много и упорно и ни на что не отвлекался… Кажется, это был самый важный период моей жизни, я учусь быть лучшим мужем, сыном и братом и, быть может, лучшим ремесленником, чем был…» А потом, 8 февраля 1931-го: «Видите, каким примерным еврейским „семейным человеком“ я стал…»

Двадцать четвертого марта 1931 года он из Киева спрашивает родных: «Вы готовитесь к празднику? В этом году я уже видел мацу, и, кто знает, может, выпадет отведать…» А касательно критики своих работ 17 июня 1931 года пишет: «Надо отдать мне справедливость — к критике, хвалебной и ругательной, — я отношусь с полным самообладанием и знаю ей цену — чаще всего цена ей пятак». Он по-прежнему пишет о своей одержимости

работой, о множестве задач, которые на себя берет, а еще о том, как счастлив, что Максим Горький поселился неподалеку от него. «Я иногда хожу по вечерам в гости, — пишет он 7 июля 1931 года. — До чего поучительно и приятно неожиданное его соседство, нечего и говорить… Вспоминается юность, и хорошо то, что отношения, начавшиеся в юности, до сих пор не изменились».

В том же письме Бабель вспоминает свое еврейское прошлое, вновь сплетая важность дружбы с Максимом Горьким, звездой советской литературы, и свои еврейские корни: «На столе у меня настоящая галерея родственников, живых, давно ушедших, недавно исчезнувших: это сильно отвлекает и уводит мысли прочь». И куда же заводили Бабеля эти мысли? Сознавал ли он свой великий литературный талант, свою включенность в российское общество, видел ли тот якорь, что не давал ему оторваться от еврейских предков?

Четырнадцатого октября 1931 года он пишет матери о подготовке «детского цикла» — «Истории моей голубятни»: «Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено, — когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все то было нужно… После длительного перерыва я соприкоснулся с литературным базаром, многое меня взволновало…» Отчетливо понимая сложность ситуации, сознавая, что перлюстраторы не дремлют, в том же письме он прибавляет: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж; отступать теперь некуда, надо гнуть линию… Родным моим, да и мне самому, тяжко приходится от этой линии, но я знаю, что скоро замолю свои грехи перед вами. Как видите, началось последнее действие драмы или комедии — не знаю, как сказать…» Бабель понимал, с чем имеет дело. Сочинительство было естественным состоянием для Бабеля, как дыхание, однако вымысел ради ублажения советского надзора, ради «линии партии», — это Бабелю дастся с адским трудом. Но тогда он еще не догадывался, какую именно цену уплатит судьбе за это.

В 1931 году он настаивает, что наконец обрел «настоящий голос», что все опубликованное ранее — только начало. Восьмого ноября 1931 года: «Пожалуй, надо предупредить вас, что все нынче публикуемое — ничто по сравнению с другими моими вещами. Тяжелая артиллерия у меня в резерве… но теперь пути назад нет — надо дописать до последней строки, а потом вместе начнем новую страницу…» Он переживает из-за искажения некоторых своих рассказов при публикации — например, рассказа «Карл-Янкель» (1931), который сам ценил невысоко: «Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен… с ошибками,

совершенно уничтожающими смысл».

Двадцать третьего апреля 1932 года в письме из Молодёново он снова возвращается к Песаху: «Поел домашней мацы. Она печет каждую ночь и трудится почти до зари. Как вы празднуете? С мацой и синагогой?..» Шестого мая 1932-го, очевидно, отвечает на материно письмо: «Я так рад, что вы празднуете пасху по правилам…» Семнадцатого августа 1932 года вновь говорит о лошадях — о своем личном символе внешнего неприятельского, но желанного мира: «Среди великолепных лошадей ко мне возвращается относительный душевный покой, по-моему, законы, правящие конюшней скаковых, научили меня понимать человеческие пределы».

Второго октября 1932 года он посылает «наилучшие пожелания на [еврейский] Новый год». И любопытствует: «Мама ходила в синагогу?» И затем, 4 октября, спрашивает: «Когда в этом году Йом Кипур?» В письмах возникают все те же темы, что и прежде; 2 мая 1933 года он пишет из Сорренто, где гостил у Горького и ездил по музеям Неаполя: «Закончил вчера геркулесов труд — пьесу. И поскольку она, разумеется, не совпадает с „генеральной линией Партии“, будет трудно… декорации и персонажи новые, и я буду счастлив, если удастся». Речь идет о пьесе «Мария» (1933), действительно вызвавшей яростные споры и оказавшейся запрещенной. Бабель вновь идет на риск, чтобы не изменить себе как художнику.

Вернувшись в Москву из Парижа в 1933 году, Бабель признает, что вокруг него разрастаются слухи (1 сентября 1933 года): «Вокруг меня множатся всевозможные абсурдные, но зловещие толки…» И затем в Нальчике 3 ноября 1933 года он рассказывает, как ходил на охоту, но прибавляет: «Я, конечно, не стрелял». Спрашивается, зачем охотился? Бабель по-прежнему не способен на убийство живого, даже в форме охотничьего ритуала. Бабель все такой же чужак в мире жестокости, все еще еврей и нееврей одновременно.

Пятнадцатого марта 1934 года из Москвы: «Вокруг пьесы моей идут баталии, спорят и ругаются, значит, живое зерно в ней есть… „Внутренние поиски“ теперь не в моде — нужны факты и знания, а значит, необходимо возвращаться к источнику». «Внутренние поиски», может, и не в моде, однако для Бабеля нет ничего важнее.

Через год — 14 марта 1935-го — он пишет: «Хочу поездить по местам детства, в Одессу, на Украину. Все зависит от моего сочинительства. Но в таких делах в итоге все зависит от бывшего Бога». И 17 апреля 1935-го: «Сегодня первый седер… Умудрился достать мацы». Одиннадцатого июля 1935 года из Парижа: «Вчера

слушал Изу Кремер… Переполняли детские воспоминания…» Речь тут об Изабелле Кремер, певице, исполнявшей баллады на русском, идише и немецком.

Из Парижа 27 июня 1935 года он сообщает, что выступал на антифашистском конгрессе. «Немцы и евреи вместе хлопали… В Германии меня записали в запрещенные авторы, а „Конармию“ торжественно сожгли…»

Затем из Одессы 9 октября 1935 года: «…В Одессе я вновь открыл Бога и молюсь ему о мамином выздоровлении…» Из Москвы 1 марта 1936 года: «„Academia“ поручила мне редактировать Шолом-Алейхема. На досуге читаю и катаюсь от хохота; как будто юность вернулась…» Пятнадцатого апреля 1936 года из Москвы: «Тоскую по Одессе… Все время жую мацу…» И 26 апреля 1936-го: «Мы собрались за столом… подавали фаршированную рыбу, сосед спер к ней соус, и мацу…»

Семнадцатого сентября 1936 года, опять в Одессе, Бабель вновь возвращается к иудаизму: «Счастливого [еврейского] Нового года. Вчера ходил с этим дураком Ляхецким в синагогу на Мастерской… такая знакомая атмосфера — эти лица, старухи такие фрейлех [веселые], старики громоподобные. Очень рад, что пошел. Не обошелся, конечно, без обычной молитвы, особой, другому Богу и в основном про вас…»

Шестого сентября 1937 года, из Москвы, в разгар сталинских репрессий: «Во-первых, разрешите сообщить, что сегодня Рош а-Шана, и поздравить вас с этим новым еврейским годом, которому тысячи лет. На Йом Кипур пойду в синагогу…» Из Киева 1 декабря 1937 года: «Кровь предков во мне все заметнее…» И 16 апреля 1938 года из Москвы: «…ел чудесную мацу откуда-то из-под Минска. Жаль, у вас такой нет. Веселитесь ли в лучший еврейский праздник? Кашеровали посуду на Песах? В общем, счастливого Песаха…»

Вспомним, что в рассказе «Переход через Збруч»: осколки пасхальной посуды валялись среди кала и обрывков шуб…

Двадцать шестого сентября 1938 года из Переделкина, где ему выделили в писательском поселке новый дом, Бабель пишет: «Перевез из города все книги и по ночам читаю Шолом-Алейхема на нашем крайне своеобразном языке…» А 2 декабря 1938-го: «… завтра поеду в город. Погляжу новый фильм Эйзенштейна… а мой старый друг, прекрасный еврейский актер Михоэлс, в спектакле играет Тевье-молочника. (Надо бы, кстати, пару глав перевести.)…»

Бабель не знает, что приближаются его последние дни, он полон сил. Москва, 7 февраля 1939 года: «Часто не пишу, потому что работа не отпускает. Само собой, к первому все закончить не

удалось… Я безжалостно пру вперед и надеюсь, что через несколько дней жизнь моя превратится сплошь в звуки и молитвы…»

И последнее письмо от Бабеля, за пять дней до ареста 15 мая 1939 года, из дома в Переделкине, куда явится НКВД: «…в трудах; заканчиваю последнюю работу… и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда…»

Бабель, бесспорно, был человеком крайне противоречивым. И все же «Дневник 1920 года» и письма к матери и сестре доказывают, сколь значимую роль играл иудаизм в жизни этого человека, с боем прорывавшегося в мир «иных». Как показывают письма и страницы дневника, Бабель не способен был ни окончательно оставить в прошлом еврейский мир Одессы, ни гармонично влиться в российское общество, неизменно видевшее в нем чужака. Он навеки застрял меж двух миров, не вполне выйдя из одного и не вполне укоренившись в другом. Его последние слова — «Не дали закончить» — естественно, касаются его страсти к сочинительству, его любви к работе. И однако они могут — тоже, пожалуй, естественно — касаться и его неотступного и неизбывного желания примирить два мира, что вели битву в его душе. Бабель пришел к трагическому финалу своей жизни и евреем, и нееврeем — и одновременно ни тем и ни другим.

Часть II
Бабель на иврите (1920–1960 годы)

Введение

Анализ творчества Исаака Бабеля в его восприятии ивритской культурой в подмандатной Палестине и Израиле важен, с одной стороны, чтобы описать эти проблемы как бы изнутри жизненного и художественного опыта писателя, а с другой — увидеть, как воспринимались эти черты теми, кто выбрал в качестве языка творчества иврит и для кого еврейский мир был и остался родным и единственным, хотя их взросление состоялось в Российской империи.

Задача эта новая и чрезвычайно важная особенно в свете введения творчества Бабеля в контекст еврейского литературного многоязычия, в современное осознание еврейского литературного канона, а также активно развивающихся исследований русско-еврейской литературы и образа еврея в русской литературе.

Творчество Бабеля с точки зрения его «аутсайдерства» в русской среде и «инсайдерства» в еврейской приводит к пониманию отчетливого подобия мира автора «Одесских рассказов» и «Конармии» и той группы его критиков, переводчиков и читателей, что ввели творчество этого русского писателя в мир актуальной еврейской литературы на иврите XX века в новом еврейском государстве.

Особый интерес представляет переводческий опыт израильского поэта Авраама Шленского, который специально выявлял в своих переводах на иврит библейские и талмудические источники прозы Бабеля, подчас незаметные русскому читателю.

Важно сделать первые шаги к изучению того особого сегмента восприятия русской литературы, который сформировался на иврите в подмандатной Палестине до 1948 года и затем в Израиле. Однако более широкое изучение этого контекста, равно как и дальнейших этапов рецепции Бабеля в Израиле вплоть до вышедшего на рубеже 2000–2010 годов полного трехтомного собрания сочинений Бабеля на иврите, — дело будущего.

История еврейского самоопределения в России

Бушевавшие в душе Бабеля противоречивые битвы за

обретение идентичности, за культурную ассимиляцию, за поиски своего пути были нисколько не легче тех, что приходилось вести его собратьям-евреям, и с неизбежностью нам придется рассмотреть исторический контекст, сопровождавший становление бабелевского поколения.

Лет за тринадцать до рождения Бабеля (1894 год) по всей черте оседлости прокатились погромы, вызванные тем, что многие обвиняли евреев в убийстве царя Александра II (март 1881 года). В 1881 году впервые в Европе XIX века евреи столкнулись с антисемитизмом как с взрывной угрозой еврейскому образу жизни. Взрывная волна от убийства царя прошла по всей Российской империи, вызвав ряд погромов на Украине. Церковь и правительство не пытались остановить погромы, ибо евреев подозревали в организации революционных беспорядков. Потрясение было огромным — такой ужасающей по силе волны погромов в Восточной Европе не случалось за истекшее столетие. Укрепление самодержавия должно было, напротив, гарантировать общественный порядок и безопасность. Но внезапно выяснилось, что в России массы могли бесчинствовать как угодно, при бездействии или даже соучастии правительства.

Российское еврейство в целом оказалось (по крайней мере, поначалу) расколото — на большинство евреев санкт-петербургского «истеблишмента», с одной стороны, и тех, кто непосредственно пострадал от погрома в черте оседлости, с другой. Влиятельные евреи, близкие к царю и правящей элите Российской империи, считали погромы и антиеврейские выступления проявлениями борьбы между правительством и революционерами. Такие взгляды высказал и сам царь Александр III на аудиенции, которой он удостоил депутацию влиятельных евреев во главе с бароном Гинцбургом 11 мая 1881 года в Гатчине. Царь заявил, что погромы устроены «анархистами» и что правительство ни в коем случае не намерено их терпеть.

Однако евреи, жившие в черте оседлости и испытавшие погромы (Одесса, 1871 год), четко представляли ужас, который мог снова выпасть на их долю. В ответ на это группы еврейских студентов с передовыми взглядами не стали обращаться к влиятельным людям для защиты своих интересов в правительстве, но отправились в местные синагоги и попытались изложить собравшимся план еврейской самообороны от погромщиков, которые, несомненно, должны были явиться снова.

Первым шагом студентов, желавших организовать дружины самообороны из местных жителей, был созыв общественных собраний в городских синагогах в субботу 2 мая. Целью собраний

было убедить евреев в необходимости самоорганизации для предотвращения ожидаемых погромов. Самый большой успех имело выступление тех, кто говорил на идише, родном языке еврейских масс, особенно если оно перемежалось цитатами из Танаха и афоризмами из Талмуда. Как писал анонимный свидетель событий в очерке, опубликованном в 1882 году в журнале «Вольное слово»: «Это было первое „хождение в народ“ образованной еврейской молодежи, движимой глубоким трагизмом момента… Сама мысль, что образованные евреи, о которых еврейский народ привык думать с гордостью, в то же время сознавая их недосягаемость, думают об этом народе, поднимала его упавший дух, воскрешала в нем чувство человеческого достоинства… По сей день у меня перед глазами стоит почтенный старик лет семидесяти, который после моей ободряющей речи подошел ко мне, возложил обе ладони на мою ладонь, желая благословить меня, но не сказал ни слова и разразился слезами».

Судьбе было угодно, чтобы молодые студенты оказались правы — даже более правы, чем они сами ожидали. Следующий погром в Одессе начался раньше, чем они успели что-либо предпринять или организовать какие-либо коллективные действия, — буквально на следующий день (в воскресенье 3 мая). Переживая ужасы, которые творила толпа, одесские евреи пытались защищаться, к ним присоединялись студенты… и некоторых из них забрала полиция, вместе с остальными евреями, задержанными при попытках сопротивления погромщикам.

Явное содействие полиции погромщикам, должно быть, произвело неизгладимое впечатление на тех, кто надеялся на защиту со стороны властей и полиции от изнасилований и грабежей.

Вполне вероятно, что существует прямая связь между попытками организовать самооборону и формированием в Одессе эмиграционного движения. Когда дело дошло до физического насилия, идеи спасения приняли четко еврейское направление: общее должно было реализоваться через частное, и начальной целью стало спасение еврейского народа в целом, откуда следовало, что еврейская идентичность становится теперь первоочередной задачей.

Тем временем богатые высокопоставленные евреи Санкт-Петербурга, далекие от погромов, зато близкие к императорскому двору, продолжали дискутировать о том, должна ли еврейская община что-либо предпринять коллективно. Еврейская верхушка, возглавляемая бароном Гинцбургом, железнодорожным магнатом Поляковым и банкиром Заком, по-прежнему отказывалась видеть

политическую значимость еврейских погромов. Однако в дело вмешались три популярных публициста русско-еврейского еженедельника «Рассвет» — Мордехай Бен-Гиллель А-Коэн, Ш.-З. Лурье и поэт Семен Фруг. Трое молодых журналистов решили, что пора использовать все свое влияние, чтобы подтолкнуть официальную верхушку еврейской общины к действию. Они созвали чрезвычайное собрание в доме барона Гинцбурга. Несмотря на то что у дверей роскошного особняка барона дежурили полицейские, которые попытались не пустить пришельцев в дом, собрание состоялось. В своих дневниках А-Коэн утверждает, что на этом собрании впервые был поднят вопрос о возможности эмиграции из России и возможность эта резко отвергнута: «Столичная еврейская верхушка боялась идеи эмиграции из России больше, чем погромов… В их глазах эмиграция была равносильна заявлению о банкротстве российского еврейства». По-видимому, состоятельные евреи думали в первую очередь о том, что эмиграционные настроения поставят под угрозу их богатство и влияние.

В Одессе в это время революционные группы, настроенные против царского режима и вытесненные в подполье царской охранкой, были далеки от страхов еврейских баронов, но опасались за собственные дома и семьи. Эти группы набирали популярность и силу благодаря дыханию свободы, которым веяло от возможности (мнимой или действительной) свергнуть нынешнюю власть. Хотя головную часть движения составляли представители студенческой интеллигенции, большей частью его были ремесленники, простые рабочие и мелкие торговцы.

Евреи-социалисты Киева и Одессы видели в ответе на погромы начало революции. Позже члены группы еврейских студентов Киевского университета напишут: «Мы были частью русского народа… были взращены на его напевах, выросли на его литературе». Они верили, что воплощение мечты о социализме даст народу свободу мысли и творчества, свободу печати и они станут хозяевами своей жизни, будут приняты в общество на равных правах с другими.

Еврейские массы по самой своей природе всегда и везде были предрасположены к чистому идеализму высокой степени. Идеи о еврейских колониях могли до слез тронуть простых евреев. Исповедующая всевозможные формы идеализма литературная интеллигенция начала играть двойную роль, ибо русскому сознанию свойственно было видеть в писателе кумира: такое мировоззрение утвердилось еще в XIX веке, и не в последнюю очередь благодаря особенному интеллектуальному голоду.

Литературная среда с растущим беспокойством наблюдала за

цепной реакцией, вызванной весенними погромами, — эмиграцией, с одной стороны, и новой волной погромов — с другой. В Киеве в конце апреля 1881 года имели место многочисленные сообщения о массовом исходе евреев из города; к каждому поезду на Бердичев или Белую Церковь прицеплялся дополнительный десяток вагонов.

Евреи хотели спастись, переменив место жительства, но их попытки бегства имели противоположный эффект. Власти получали тайные доклады, что миграция евреев лишь распаляла местное население и способствовала новым погромам в данной местности.

Погромщикам не приходило в голову, что убийства, изнасилования, грабежи и поджоги целых деревень ведут к финансовому хаосу далеко за пределами еврейской общины, на которую они направлены. Непрекращающиеся бесчинства привели к тому, что торговля на юге России почти остановилась. Тридцатого мая 1881 года мануфактурный магнат Т. С. Морозов написал министру внутренних дел графу Н. П. Игнатьеву от имени торгово-промышленного сообщества Москвы, требуя, чтобы тот сделал все возможное для прекращения погромов, так как по всему югу были отменены главные торговые ярмарки. Нарастающий экономический хаос, спираль насилия, бегства, разрушения шла еще круче вверх, поскольку местное население винило в катастрофе самих евреев. Земства, осмелевшие оттого, что правительство не заняло активной позиции ни на словах, ни на деле, присоединились к прессе и вместе с ней стали заявлять, что необходимо положить конец еврейской конкуренции в различных областях торговли и образования, или, как они выражались, не давать евреям эксплуатировать местное население.

В еврейской общине началась борьба мнений: остаться и терпеть (позиция санкт-петербургских магнатов) или самоорганизоваться для борьбы или бегства (позиция большинства евреев в черте оседлости).

Литературная интеллигенция стала играть ключевую роль в сплочении сторонников массовой эмиграции евреев из Российской империи. Поскольку санкт-петербургские магнаты потеряли авторитет как представители еврейского народа и не смогли воздействовать на нового царя и его правительство, чтобы те приняли решительные меры для защиты евреев черты оседлости, именно писатели, живущие там, передавали за границу (нарушая законы Российской империи) описания погромов, чтобы довести их до сведения евреев, живущих на Западе.

Царское правительство отрицало все обвинения. В ответ еврейская община собрала сведения по числу изнасилований, а также доказательства попустительства властей во время погромов, грабежей и убийств и тайно отправила их для публикации в Лондон.

В качестве возможных мест эмиграции назывались Америка, Испания, Англия, Франция, Германия. Мысль о Палестине возникла не сразу. Появились интерпретации истории еврейского народа как попытка евреев уже в библейские времена навязать свои теории, свои взгляды на жизнь и справедливость правящему классу, который чаще всего видел в евреях чужаков и временных гостей. И пока евреи не осядут на собственной земле и не станут полными хозяевами своей судьбы, им не дождаться понимания и антисемитизм будет только расти.

В мае 1882 года Игнатьева сменил на посту граф Дмитрий Толстой. Он тут же издал циркуляр в подтверждение декларации о решимости правительства преследовать за притеснения евреев. Поначалу еврейские общины по всей Российской империи поверили в избавление от нависшего над ними ужаса. Но страх не прошел. Идея эмиграции стала чуть менее актуальной, но евреи чувствовали, что это послабление лишь временное.

И все-таки палестинская идея укоренилась: в 1882 году в Палестине были основаны поселения Ришон-ле-Цион, Зихрон-Яаков и Рош-Пина. Благодаря связям групп поселенцев с российской прессой в газетах начали появляться описания благоприятных возможностей для переезда в Палестину. Очень помогла состоявшаяся в октябре 1882 года в Париже плодотворная встреча между эмиссаром из Ришон-ле-Циона и бароном Эдмоном де Ротшильдом. Поддержка Ротшильдом нового, только что основанного города включала в себя приобретение земли, виноградников, постройку домов, а также отправку профессиональных управляющих и агрономов, которые должны были проследить за применением современных методов земледелия.

Несмотря на все трудности жизни в Палестине, различные организации в Москве, Одессе, Варшаве, Белостоке, Вильне, Ростове, Полтаве, Минске и Ковно вели активную деятельность в поддержку евреев, перебравшихся в Палестину. Либеральная интеллигенция также стояла за идею палестинской иммиграции — писатели и критики из Старого и Нового Света отстаивали эту идею в публикациях на русском языке, иврите и английском.

Ад кишиневского погрома 1903 года и последующие погромы вплоть до 1906-го — в отличие от погромов первых лет царствования Александра III, нанесших в основном материальный

ущерб, — сопровождались значительно большим числом изнасилований, зверств и смертей. Это еще более укрепило позиции сионистов.

Во время правления Александра III евреи ощущали полную изоляцию и оставленность, и оппозиция режиму вынуждена была замолчать.

После восшествия на престол Николая II правительство возвело враждебность к евреям на уровень продуманной политики, запечатав черту оседлости еще плотнее, выслав тысячи семей из Москвы посреди зимы, закрыв путь к среднему и высшему образованию всему юношеству, за исключением малой доли.

Приведем лишь несколько примеров с приблизительными оценками. Кроме кишиневского погрома 1903 года, погромы прошли в Житомире в апреле 1905-го, в том же году в июле в Киеве, в августе в Белостоке, в октябре в Одессе и снова в Белостоке в июне 1906 года. В одном лишь октябре 1905 года прошло 690 погромов.

Все большая часть русско-еврейской интеллигенции приходила к выводу: каковы бы ни были социальные корни антисемитизма, возведение его в ранг государственной политики не оставляло евреям другого выхода, как надеяться на победу оппозиции и работать для этой победы, которая в 1905 году не могла означать ничего иного, кроме победы революции. Использование правительственных сил для защиты погромщиков, все усиливающееся участие армии в погромах, роль дружин обороны (еврейских и нееврейских), пытающихся защитить евреев, — все это как нельзя лучше укрепляло мысль о необходимости бороться против царя и за революцию.

Во время революции 1905–1907 годов появились организации, возглавляемые лидерами, способными формировать политические мнения и добиваться поддержки масс. Ущемление в правах, дискриминация со стороны властей, крепнущая уверенность в своей способности сбросить цепи, растущая секуляризация еврейства — все это вело к рождению более радикальной и идеалистичной молодежи, стремящейся освободить массы.

Евреи, собиравшиеся уехать в Палестину в надежде обрести там безопасность и стабильность, были далеко не едины в своих позициях. Все это возвращает нас к произведениям Бабеля, как никто сформулировавшего проблематику еврейской идентификации. Важно знать, как литературное сообщество подмандатной Палестины, а затем и Государства Израиль, уже ставшего свидетелем трагического убийства Бабеля,

воспринимало его произведения.

Русская литература на иврите

Русский язык дал Бабелю возможность в «Одесских рассказах» и «Конармии» несколько раз занять позицию «свой-чужой», усложнив и обогатив понятийную пару русский-еврей. Это не могло не отразиться на советских переводах Бабеля на иврит 1920-х годов и на восприятии читателями творчества автора «Конармии» в Израиле.

Важность творчества Бабеля для израильской литературы попадает в поле зрения самых различных политических, литературных и общественных движений и используется ими в своих интересах — от периода, предшествующего образованию Государства Израиль, до того момента, когда легендарный Авраам Шленский великолепно перевел на иврит самые важные работы Бабеля.

Но началось это все еще в Советской России.

Ивритская рецепция Бабеля делится на небольшой советский эпизод, связанный с недолговечным сборником «Берешит» («В начале»), довоенные переводы и статьи и рецепцию Бабеля уже в современном Израиле до 70-х годов XX века.

Первые переводы Бабеля на иврит появились в сборнике «Берешит», подготовленном в 1926 году группой молодых еврейских литераторов в Советской России и изданном в Берлине. Авторы сборника называли себя «Октобераим ивриим», что можно перевести как «Ивритские октябристы». На страницах сборника «Берешит» увидели свет шесть рассказов Бабеля, объединенные в цикл под рубрикой «Заметки». Пять из них были взяты из цикла «Конармия», который впервые издан отдельной книгой в том же 1926 году: «Гедали», «Рабби», «Письмо», «Сидоров» (позже переименованный Бабелем в «Солнце Италии») и «Сын рабби». В примечании к первой странице публикации петитом набрано: «Перевод с русского откорректирован автором» (переводчиком этих рассказов был М. Хьог, хотя его имя в сборнике не обозначено). Это важное свидетельство того, что Бабель мог прочесть художественный текст на иврите.

Сборник «Берешит» остался лишь эпизодом, и после его выхода группа «Октябристов» распалась: кто-то примкнул к власти, кто-то старался держаться от нее подальше, а кто-то покинул Россию. Переводчик Хьог был арестован много позже, одновременно с «делом врачей». Единственная его «провинность» состояла в том, что он был ивритским писателем. Его настоящее

имя было Григорий Плоткин; псевдоним Хьог он взял у персонажа книги датского писателя Германа Банга (1857–1912), прозванного «поэтом безнадежных поколений».

Чтобы проанализировать опубликованные в израильской прессе отзывы на творчество Исаака Бабеля, реакция на удостоенный Нобелевской премии роман Пастернака, имевшая место примерно в те же годы, является важным ключом для понимания высказывавшихся мнений.

В своем фундаментальном труде Лазарь Флейшман, описывающий реакцию на «Доктора Живаго» в Израиле, делает поспешные и чересчур обобщенные выводы о резко отрицательных откликах израильского читателя на пастернаковскую интерпретацию еврейского вопроса. Возможно, причиной такого вывода Флейшмана является его представление о том, что позиция Пастернака показалась в этой среде вредной из-за ряда наивных представлений израильского читателя о еврейской литературе Советского Союза в то время.

На события вокруг романа Пастернака и присуждение Нобелевской премии, произошедшие почти на двадцать лет позже убийства Бабеля, советская идеология отреагировала яростью. Вся история с романом была воспринята официальным режимом как оскорбление. Пастернака и Бабеля роднит еще и то, что оба (в отличие от многих родственников и ближайших друзей Пастернака) решили остаться в России после Октябрьской революции.

Пастернак не покидал Россию на протяжении всей Гражданской войны (1918–1920). Подобно Юрию Живаго, он впечатлился большевистским переворотом, но, несмотря на личное восхищение Лениным, которого видел на IX съезде Советов в 1921 году, вскоре начал сомневаться в легитимности и стиле нового режима. Нехватка продовольствия и топлива, красный террор — все это вынуждало людей в те годы, особенно «буржуазную» интеллигенцию, каждый день опасаться за свою жизнь. Марина Цветаева, переписывавшаяся с Пастернаком в двадцатых годах из-за границы, напоминает ему, как встретила его в 1919 году на улице, когда он шел продавать книги из библиотеки, чтобы купить хлеба. Пастернак продолжал творить и заниматься переводами, но к середине 1918 года публиковаться стало невозможно. Единственной возможностью своего рода «публикации» было публичное чтение текста в одном из литературных кафе или же распространение рукописных копий. Именно так дошла до читателей книга «Сестра моя — жизнь».

«Сестра моя — жизнь» быстро завоевала популярность у русских читателей, подобно работам Бабеля, получившим

известность примерно в те же годы. Пастернак стал образцом для подражания у более молодых поэтов, и его стихи повлияли на Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву и других.

Но когда Сталин в 1929 году окончательно стал первым лицом в РКП (б), Пастернак еще больше разочаровался в партии и в ее литературной цензуре. Фрондируя, Пастернак продолжал дружить с Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом.

Мандельштам, как известно, прочитал Пастернаку свою антисталинскую эпиграмму вскоре после ее сочинения (в конце 1933 года). Выслушав, Пастернак сказал: «Я этого не слыхал, вы этого мне не читали, потому что, знаете, сейчас начались странные, страшные явления, людей начали хватать; я боюсь, что стены имеют уши, может быть, скамейки бульварные тоже имеют возможность слушать и разговаривать, так что будем считать, что я ничего не слыхал».

Прогноз Пастернака оказался точным: ночью 14 мая 1934 года, примерно за пять лет до ареста Бабеля, Мандельштама увезли из дома по ордеру, подписанному Генрихом Ягодой.

Почему Бабеля арестовали и расстреляли, а Пастернак остался в живых — загадка. По словам Пастернака, после показательных процессов Якира и Тухачевского в 1937 году руководство Союза советских писателей (ССП) потребовало, чтобы все члены союза подписали письмо с требованием смертной казни для осужденных. Пастернак отказался. Владимир Ставский, председатель ССП, испугался, что его тоже накажут за неподчинение Пастернака. Руководители Союза писателей приехали на дачу к Пастернаку в Переделкино и угрожали, и убеждали поэта, но он по-прежнему отказывался подписать письмо. Однако жена Пастернака, Зинаида, потребовала, чтобы он подписал письмо, обвиняя его в том, что он ставит под удар всю семью. Пастернак тем не менее отказался и стал ожидать ареста. Позже стало известно, что под окнами дома прятался агент НКВД и записывал каждое произнесенное слово.

Тогда Пастернак обратился непосредственно к Сталину. Он писал о своей верности советской власти и сказал, что Сталин может располагать его жизнью. Однако за этим Пастернак рискнул добавить, что не считает себя вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. После этого письма Пастернак ждал неминуемой гибели, но, к его удивлению, ареста не последовало.

По слухам, Сталин вычеркнул имя Пастернака из расстрельного списка; как говорил сам Пастернак, Сталин сказал: «Не трогайте этого небожителя» (по другой версии — «этого блаженного»).

Возможно, арест Бабеля был значительно важнее для Сталина. Существует множество теорий, объясняющих, почему его не оставили в покое, как других. Когда был репрессирован Тициан Табидзе, близкий друг Пастернака, Пастернак написал в автобиографическом эссе (опубликованном в 1950-х годах), что судьба Табидзе и Паоло Яшвили вместе с судьбой Цветаевой стали самым большим его горем. Симон Себаг Монтефиоре в своей биографии Сталина утверждает, что Сталину было прекрасно известно о таланте Мандельштама, Пастернака и Булгакова и что он запрещал публикацию их произведений из страха перед их влиянием. Однако, поскольку Булгаков и Пастернак никогда не нападали на «Хозяина» открыто, их не арестовали.

Ольга Ивинская пишет: «Мне кажется, между Пастернаком и Сталиным происходил безмолвный и необычный поединок».

Через некоторое время после смерти Сталина, в марте 1956 года, Итальянская коммунистическая партия направила в СССР журналиста Сержио Д'Анжело, чтобы он рапортовал о происходящих там событиях. Джанджакомо Фельтринелли, миланский издатель прокоммунистических взглядов, попросил Д'Анжело помимо выполнения основной работы поискать новые произведения советской литературы, которые заинтересовали бы западного читателя. Узнав о «Докторе Живаго» Пастернака, Д'Анжело предложил Пастернаку передать рукопись итальянскому издателю. Пастернак в конце концов отдал рукопись Д'Анжело (по словам Д'Анжело, сказав при этом: «Теперь вы приглашены на мой расстрел»).

Ни один советский писатель не имел дела с западными издателями с самых двадцатых годов, когда из-за подобных попыток оказались в опале Борис Пильняк и Евгений Замятин.

Публикация «Доктора Живаго» в ноябре 1957 года вызвала сенсацию во всем мире. В частности, роман двадцать шесть недель продержался в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс». Однако общеизвестно, что в Израиле роман Пастернака подвергся жесткой критике за ассимиляционистские взгляды в еврейском вопросе.

Ольга Ивинская сообщает, что, узнав об этой критике, Пастернак ответил: «Ничего, я выше национальности». В общем-то нельзя не принять во внимание, что Пастернак написал спорные фрагменты еще до образования еврейского государства. Известно также, что в то время Пастернак регулярно посещал службы в православной церкви и, возможно, верил, что обращение советских евреев в христианство предпочтительнее их ассимиляции в атеизм и сталинизм.

В целом, за исключением нескольких коротких заметок на первых полосах газет, нельзя утверждать, что фигура Пастернака сильно интересовала израильскую публику. Вероятно, это объясняется политической нестабильностью тогдашней ситуации — в частности, спорами об идентичности гражданина еврейского государства и о будущем советских евреев, желающих репатриироваться в Израиль.

В 1958 году израильские газеты начинают реагировать на события вокруг «Живаго» переводом статей, писем и обзоров, которые печатаются в газете «Давар» («Слово») и других периодических изданиях. В газете «Давар» от 31 октября 1958 года были опубликованы две исключительно благоприятные статьи. Автор одной из них замечает: «Впервые в истории советский писатель, еврей, силой своих мыслей и образов достигает масштаба фигуры пророка, жертвующего жизнью и поднимающегося выше тиранов и беснующейся толпы». Еще один из наиболее ранних разумных откликов можно найти в статье, опубликованной 31 октября 1958 года в газете «Ле-Мерхав» («Простор»), в которой отмечается, что на вопрос, за какую провинность советская власть так резко отреагировала на поступок Пастернака, читатель так и не получил ответа.

Следующая публикация, несомненно, станет определяющей в том, как роман Пастернака приняла израильская пресса. В выпуске «Омер» («Сноп») от 31 октября 1958 года основатель этой газеты Дан Пиннес публикует свою статью «Борис Пастернак — реальность и символ» с красочным подзаголовком «Живаго — „вечный жид“, отрицающий свое еврейство». Пиннес делает определенные оговорки, рассматривая еврейство Живаго, но тем не менее решительно утверждает: «Для нас в этом романе есть еврейский вопрос. И весьма трагичный. Возможно, именно из-за этого трагического еврейского момента внутренние колебания автора выглядят так искренне. И может быть, именно из-за них Пастернака с недавнего времени привечают в очень разных лагерях».

В довершение Пиннес замечает, что не кто иной, как Исаак Бабель, рекомендовал Пастернака Пиннесу для сотрудничества в газете «Давар», но Пастернак отказался.

В главе статьи, под заголовком «Стыд и непонимание», Пиннес приводит главные цитаты из «Живаго» по еврейской теме, печально знаменитые слова Миши Гордона, друга детства Юрия Живаго: «Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?»

И позже, после того как Живаго и Гордон видят

издевательства казаков над старым евреем: «В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению! <…> Отчего [властители дум еврейского народа] не сказали: „Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас“».

Позволил ли бы себе Бабель подобные сожаления, став свидетелем того, как казаки убивают его братьев по крови? Он, несомненно, откровенно и жестоко описал бы все зверства, но никогда не подписался бы под основной идеей: жестокий внутренний конфликт Бабеля между Талмудом, страницами Маймонида и Манифестом Коммунистической партии, кризис идентичности не оставлял его ни на минуту. Бабель не собирался бежать от своего еврейства, как советует Пастернак в романе «Доктор Живаго»; он с равной силой поощрял обе стороны, пока они не потерпели окончательное поражение в попытках подавить одна другую.

Пиннес делает вывод, что Пастернак — «еврейский писатель»; 7 ноября 1958 года Йосеф (Томми) Лапид публикует в израильской газете «Маарив» большую статью под заглавием «Трагедия человека и литературы. Израильские писатели о деле Пастернака». В этой статье он бросает вызов израильским писателям разных политических взглядов, однако замечает, что они еще не читали «Живаго». Крупные израильские литераторы отказались отвечать, но поэт Александр Пэн, лично знавший Пастернака, обвинил автора статьи и его коллег в глубоком безразличии к Пастернаку и его судьбе до появления «Живаго».

Израильский писатель, поэт и издатель Авигдор Хамеири видит в Пастернаке наследника Пушкина; Макс Брод называет Пастернака одним из величайших писателей; Изхар Смилянский (С. Изхар), считающийся наиболее популярным израильским писателем того времени, заявляет: «Дело Пастернака возмутительно; его писательская и человеческая судьба возбуждает сочувствие… Нет сомнения, что к его делу примешался и еврейский вопрос, но в этом отношении картина еще недостаточно ясна».

Лапид цитирует выдающегося современного еврейского поэта Ури-Цви Гринберга (1896–1981), который — то ли под политическим давлением, то ли не желая вызвать недовольство критиков в СССР — написал следующее: «Я не умаляю важности

дела Пастернака, но здесь и сейчас, в Израиле, нас ждет величие или уничтожение… Я считаю, что все эти „дела“, которые нас не касаются, лишь отвлекают нас от того, что происходит вокруг. Это может оказаться роковым. Я не собираюсь заниматься делом Пастернака».

Возможно, шаткое положение Израиля вынудило знаменитого Гринберга написать такие слова, однако многие писатели приняли близко к сердцу дело Пастернака. В ноябре 1958 года в Тель-Авиве был организован вечер в честь Пастернака с участием израильской литературной элиты, в том числе Авраама Шленского, Леи Гольдберг и других. Чуть раньше знаменитый Натан Альтерман в своей еженедельной «Седьмой колонке» («А-тур а-швии») в газете «Давар» от 7 ноября 1958 года «выразил безоговорочную поддержку преследуемому поэту… намекая на еврейство Пастернака и хваля его писательский дар».

Как и в случае с Бабелем, Авраам Шленский восхищался работами Пастернака, ощущал его влияние в своем творчестве и перевел ряд стихотворений Пастернака на иврит. Лея Гольдберг в своих дневниках хвалит Пастернака, да и в целом израильская пресса была высокого мнения о Пастернаке, к тому же фигуру этого нобелевского лауреата использовали различные политические фракции, и его творчество значительно повлияло на израильскую литературу и литературную жизнь.

Исходя из этого, а также учитывая, что в период, когда Бабель получил международную известность, публиковались и попадали в поле зрения критиков также и другие писатели и поэты, в том числе Осип Мандельштам, реакция прессы и литературного сообщества Израиля на жизнь и творчество их «собратьев по крови» становится еще важнее и интереснее.

Бабеля переводят на иврит

На основании большого количества публикаций в периодических изданиях можно сделать вывод, что Бабеля в Израиле считали своим и потому пристально следили за его судьбой. В ивритской печати публиковались отклики на любые связанные с Бабелем издания, будь то публикации его произведений в СССР или переводов за границей, полемика по поводу творчества Бабеля или новая информация о писателе.

Бабель служил показателем отношения СССР к евреям и писателям-евреям, поэтому его фигура привлекала внимание с точки зрения политики, идеологии и их взаимодействия с еврейской культурой в СССР. Среди публикаций на иврите

особенно важны те, что анализируют художественное своеобразие прозы Бабеля. Эти статьи и заметки, как правило, не останавливаются подробно на политических аспектах, но, представляя Бабеля израильскому читателю, все-таки указывают на еврейские элементы его воспитания, образования и биографии в целом. Однако всех интересуют обстоятельства судьбы Бабеля, столь отличные от многих еврейских и сионистских биографий.

Труды и влияние Исаака Бабеля освещали на своих страницах следующие периодические издания (каждое из которых имело определенные политические или литературные взгляды, о чем речь ниже).

Заметка Гершона Шофмана «И. Бабель» в журнале «Мознаим» («Весы»), ежемесячнике Союза ивритских писателей Страны Израиля (Т. 1, вып. 1 [2-й адар 1929]. С. 16; Гершон Шофман [1880, Орша Могилевской губ. — 1972, Хайфа] — ивритский прозаик эпохи «национального возрождения», мастер короткого рассказа и сверхкороткой литературной зарисовки. В Палестине с 1938 года).

Перевод с иврита отрывка из оригинальной статьи:

«Русские кошмары последних лет, вернее, малая толика их, нашли у него [у Бабеля] свое художественное выражение. Особенно те, что связаны с войной против поляков. Эту реальность он схватил первым, пока ее **девственности** еще не тронули чьи бы то ни было руки.

Частенько он заходит тут слишком далеко, влезая в область **омерзительного**; однако и эти мерзости, надо признать, делаются чистыми, когда их касается поэт.

На этом пути он порой рисует ужасающие моменты, от которых в нас содрогаются **самые противоречивые чувства**… Например, когда христианские „сестры милосердия“ разглядывают гениталии умирающего еврейского бойца („Сын рабби“), и другие подобные примеры.

Даже его экспрессионистские зарисовки не оставляют впечатления чего-то надуманного, как у других, но совершенно отвечают кошмарной атмосфере, в которой происходят события. Вот пример: „Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном“ („Переход через Збруч“).

Да, сильно, сильно!

Я отмечаю этот факт не без чувства национального превосходства. Потому что большинство еврейских писателей, пишущих на нееврейских языках — русском, немецком и т. п., — к стыду нашему, писатели весьма мелкие. Великое множество их всплыло на поверхность океана мировой литературы, но

чрезвычайно редко можно увидеть среди них один череп, который заметно поднимается над этой поверхностью.

И не Семен Юшкевич это, и не Осип Дымов! Единственное, что производит у него [у Бабеля] дурное впечатление, это его ненависть к гетто и к евреям этого гетто. И особенно потому, что этот „антисемитизм“ исходит не от **человека гетто** (к такому иногда приходится прибегать ивритскому писателю), а со стороны, от **гоя**. Ведь это, как ни крути, **нееврейский еврей**, которого нам трудно полюбить при всем нашем желании».

В этой ранней (1929) публикации уже видно, как используется в политических целях ивритской и произраильской прессой литературное творчество Бабеля: «нееврейский еврей» называет автор Бабеля; по его мнению, Бабель, описывая жалкую, унизительную жизнь евреев в гетто, возбуждает антисемитские настроения среди неевреев. И, несмотря на весь литературный талант Бабеля, его произведения вызывают ненависть у его собственных собратьев. В израильских и произраильских газетах, издаваемых в Европе, но предназначенных для «новых израильтян», собирающихся эмигрировать, эти вопросы поднимаются снова и снова: евреи, уезжающие в Палестину, должны быть первыми в своем деле, но, в отличие от Бабеля, не могут себе позволить выглядеть в негативном свете в глазах общества в целом.

Стоит заметить, что в 1965 году эта самая статья была снова напечатана. По прошествии трех десятков лет статья по-прежнему настаивала, что недостаточно быть первым в своем деле, нужно еще быть крайне осторожным, чтобы твои таланты не возбудили неприязни к евреям (все выделения жирным шрифтом присутствуют в оригинальной статье); статья перепечатана в газете «Аль а-мишмар» («На посту»; 16.04.1965).

Если посмотреть, как подходил к Бабелю Шофман, видный литературный критик, через тридцать лет после первой публикации статьи, уже зная о трагической судьбе писателя, — заметно, что ни в подходе, ни в оценке литературного и общественного влияния особых изменений не произошло.

В подробной биографии Шофмана исследовательница Нурит Говрин пишет, что Моше Хьог, один из авторов сборника «Берешит» и первых переводчиков прозы Бабеля на иврит, рассказал в воспоминаниях, что перевел на русский несколько рассказов Шофмана («Цвета», «Месть шарманки», «Любовь») и дал почитать свои переводы Бабелю, но они ему не понравились. Говрин продолжает: «Шофман тоже не раскусил рассказы Бабеля, это — как сообщает Хьог — было взаимное непонимание».

В статье д-ра Лили Хаимовны Баазовой, опубликованной в журнале «Заметки по еврейской истории», говорится: «„Берешит“ был наиболее интересным сборником, его название имело символическое значение для его создателей — Моше Хьога (Цви Плоткина) и Шимона Хабонэ. По их убеждению, этот сборник должен был стать „началом, которым открывается новая эпоха в ивритской литературе“».

В группе создателей журнала были Авраам Карив (Криворучко), Ш. Хабонэ (Требуков), Йосеф-Лейб Цфасман, Ицхак Каганов, Ицхак Норман (Симановский), Йохевед Бат-Мириам (Железняк). Г. И. Прейгерзон, который незадолго до этого познакомился с Плоткиным, знал о планах своих новых друзей, но не принял участия в работе над сборником. По-видимому, идеи «октябризма» и рождения из его недр «нового еврея» не соответствовали его идейной позиции. Однако он был в курсе дел и оказывал друзьям помощь в качестве консультанта.

Но прежде чем журнал «Берешит» появился на свет, он прошел долгий и мучительный путь. Работавшие в ГПУ (Главное политическое управление) евреи с особым пристрастием высвечивали слова и фразы, стиль, содержание журнала и подтекст. И напрасно, потому что это был сборник абсолютно просоветских текстов. Но излишнее рвение одного из функционеров — Чертока — охладил Ф. Раскольников, бывший за год до этого российским послом в Афганистане. Он заявил предельно просто: «Советское правительство не возражает против литературного творчества на языке иврит, тем более что на этом языке играют в театре „Габима“, и ничего, власти довольны!..»

И вот, наконец, первый номер журнала был напечатан, содержал около двухсот страниц, но…

…Осенью 1923 года в Москве, в зале Театра имени Мейерхольда (ТиМ), состоялся литературный вечер с участием писателей зарубежных стран. На вечере присутствовал Маяковский, читал стихи турецкий поэт Назым Хикмет, выступали многие писатели на разных языках. На Плоткина это произвело большое впечатление, и он подумал: если можно по-турецки, отчего же нельзя на иврите? И у него созрело решение издавать сборник на иврите. В эти планы он посвятил Криворучко, с которым был знаком еще с харьковских времен в годы Первой мировой войны. Криворучко поддержал его, тем более что он уже был одним из авторов вышедшего в том же году сборника «Цилцелей Шема». Затем к ним присоединились Цфасман и Норман [Ицхак Норман, выдержки из статьи которого

в журнале «А-Ткуфа» («Эпоха»), приведены ниже]. Однако в работе над сборником сразу проявились их идеологические разногласия. «Я считал, — говорил Плоткин Прейгерзону, — что наш первый сборник должен быть проникнут идеями революции, я хотел связать иврит и революцию. Ибо я был совершенно убежден, что Октябрь стал самым главным явлением в нашей жизни. Но Криворучко доказывал, что не революция, а теория относительности Эйнштейна стала знаковой приметой всей нашей эпохи… Теперь-то я понимаю, что в его словах было много правды, но тогда, в 1920-е, его позиция казалась мне ограниченной…»

И снова борьба между революцией, призванной нести избавление, и реальностью других переломных событий, которые, как предполагалось, должны были выдержать теории советских идеологов и стать выше этих теорий.

Организационная работа по составлению сборника лежала на плечах Плоткина, и ему было нелегко совмещать это занятие со своей основной службой в военном учреждении. Йохевед Бат-Мириам, С. Требуков, Ицхак Каганов поддерживали взгляды Плоткина. В общей сложности работа над сборником отняла у Плоткина два года. Помимо стихов и рассказов авторов, в сборник вошли также критические статьи Авраама Карива о сборнике Шленского, рецензия Хабонэ о рассказах Хазаза.

Написанная для сборника статья Плоткина «После безмолвия» должна была стать программной. Но она вызвала разногласия между участниками сборника — особенно резко возражали Карив и Цфасман. Статья была сплошной апологетикой и преклонением перед идеями Октября, она призывала стереть из исторической памяти свою культуру и двигаться вперед!.. Но куда? Представляется, что точного ответа у Плоткина не было и тогда, и он ответил на свой собственный призыв через много лет в той же трогательной и исповедальной беседе со своим другом Прейгерзоном, когда высказывал сожаление о тогдашних своих убеждениях…

«Берешит» уделяет большое внимание еврейской тематике, но непреложной остается вера авторов в идеи Октября: они убеждены, что еврейская литература отныне будет вдохновляться идеями революции. Цви Плоткин (выступая под именем З. Бройна) заявляет: «Революция — это наша единственная реальность, мы предпочитаем смерть агонии, загниванию прошлого».

Шимон Хабонэ требует «органической ленинской преданности». Он счастлив, что еврейское местечко с его символом — лавочником — уходит в прошлое, ибо «им нет места

в советской действительности». В произведениях А. Криворучко и Й. Цфасмана заметна грусть по прошлому, но вместе с тем они смотрят в будущее, они видят перед собой новую жизнь, слышат новые ритмы на ровных улицах, которые лягут вместо кривых улочек их детства со скособоченными домишками…

В сборнике было напечатано шесть рассказов Бабеля.

«Я чувствовал по содержанию „Конармии“, — вспоминает Плоткин, — что ее автор не может не знать иврита. Позвонив ему, я вместе с Хабонэ отправился к нему домой.

— Нам бы хотелось, чтобы вы написали что-нибудь для нашего сборника…

— Но я не владею ивритом…

— Вы совсем не знаете его?

— Нет, я могу читать на иврите. Но вы можете перевести мои рассказы на иврит и показать их мне.

Тогда я, не откладывая, взялся за перевод, перевел пять рассказов, а Хабонэ перевел один рассказ. Мы отнесли их Бабелю, а затем, когда я пришел к нему за ответом, он сказал, что доволен переводом и что рассказы можно печатать и даже отметить, что они публикуются с согласия автора. Бабель поинтересовался, с какой целью мы решили выпустить этот сборник. Я признался ему, что мы хотим направить литературу на иврите в революционном направлении и нам бы очень хотелось выпустить несколько таких сборников…»

Бабелю пришлась по душе эта идея, и он взялся написать для второго сборника воспоминания о Менделе Мойхер-Сфориме и Хаиме-Нахмане Бялике. Естественно, что Плоткин был польщен и обрадован предложением Бабеля, но второй сборник так и не вышел, да и у самого Бабеля, надо думать, возникли иные обстоятельства.

Финал истории издания сборника «Берешит» оказался печален. В нем было столько грамматических ошибок, что зачастую пропадал смысл слов и фраз. Авторы сборника не сумели распространить его, и практически весь тираж сгнил в дровяном сарае родителей жены Плоткина. Таков был конец «Начала» и вместе с тем конец иллюзий, из-за которых пришлось вынести столько мук.

Бабеля читают на иврите

Ивритские критики в подмандатной английской Палестине заметили Бабеля сразу по выходе его первых книг.

О биографиях писателей и критиков, творивших в эти

смутные времена (особенно второстепенных), часто известно немногое. Например, Ицхак Норман (Симановский; 1899, родился в Дубово, Украина; дата смерти неизвестна, но есть точные сведения, что умер он в Тель-Авиве) учился в университетах Ташкента и Ленинграда, в 1920-х в Самарканде преподавал в любительской театральной студии, где играли на иврите, а также преподавал иврит на курсах организации Ге-Халуц. В 1928 году переехал в догосударственную Палестину, работал чиновником в разных сионистских организациях. Публиковал статьи о литературе и театре, сначала по-русски, потом на иврите, и книги на иврите о «Габиме» и др. Был близок к тель-авивским литературным кругам 3-й алии (выходцев из России), но не был просоветским. В 1929 году Ицхак Норман во время работы для литературного журнала «Жатва революции» составил обзор новой и — благодаря революции — «другой» русской литературы. В своей статье, опубликованной в палестинском журнале «Га-Ткуфа» в 1929 году, он приводит пространный обзор русской литературы без упоминания еврейской темы и без слова «еврей». Сначала автор дает типологическое описание литературы, рожденной революцией, а потом с разной степенью подробности разбирает творчество отдельных прозаиков и поэтов. Он начинает со следующих общих утверждений:

«Мнимый реализм, опускающийся до откровенного натурализма, расчленяющего, препарирующего и заостряющего действительность, — все это в знак протеста против таинственности в литературе, против отточенной символичности, которая доминировала в предшествующее революции время (в творчестве Андреева, Блока, Брюсова, Ремизова, Белого, Мережковского, Городецкого, Ахматовой, Гумилева)».

На мой взгляд, здесь автор не учитывает то, что мировая война и революция принесли гораздо более реалистичный взгляд на литературу и более реалистичное мировоззрение.

«Восхваление и благодарение в адрес „госпожи Жизни“, желание поклоняться вещи, факту, тому, что можно осязать; дополнительная душа находится в явном; жизнь, свободная от ярма, выжимать сок до последней капли — до тех пор, пока все это не примет форму совсем уж безобразную, грубую, первобытную; беспощадное своеволие как антипод сомнениям, слабохарактерности, созерцательности и стремления ускользнуть от „госпожи Жизни“ — жирной и бесформенной, неряшливой и непорядочной».

К словам критика о «дополнительной душе» необходим специальный комментарий из области иудаизма, не менее сложный, чем к текстам Бабеля. Говоря о «дополнительной душе»,

да еще и «находящейся в явном» (реальном мире), критик обыгрывает предание, согласно которому для празднования шабата в полной мере человек должен получить еще одну, другую, возвышенную душу. Иными словами, реальности приписывается то же самое свойство, которое характеризует душу еврея в субботу. Эта инверсия позволяет критику сделать такой вывод: «…и отсюда — обилие плотского, психология и сумрачная, депрессивная биология, царящая в каждой книге, у каждого писателя.

Сознание „избранности“, собственной изысканности, а на деле — торопливая неряшливость и самоуверенность, своевольное стремление установить раз и навсегда свою неоспоримую истину, втиснуть теорию, метод, мысль в узкое русло какого-нибудь направления или школы и с жестокостью инквизитора следить, чтобы не были нарушены установленные законы».

Здесь вновь традиционное представление о еврейской избранности превращается под пером критика в свою противоположность, желание уже самого автора стать неким избранным, имеющим право на суждения, равные божественным.

Критик продолжает:

«Новый стиль в языке: революция выплеснула наружу речь дикую, непричесанную, жаргон российских низов, новые символы и понятия, переменчивые, скользкие — в противоположность интеллигентному бессильному языку, тихому и бледному. Желание дать право гражданства новому языку, близкому к речи толпы, митинга, улицы, ввести в поэзию шум вместо шороха, грохот барабанного боя и морского прибоя вместо голосов бесплотных призраков, создать поэзию из просторечья, а не из тихих ямбов».

Создается впечатление, что критик знает и подразумевает здесь не только мысли, восходящие к стихам Маяковского об улице, которой нечем кричать и разговаривать, но и работы лингвистов о новом языке революции.

«И наконец, размежевание, откат назад, снова сомнения и неуверенность, колебания, незаметные невооруженному взгляду, признаки усталости, разочарования, одиночества, горечь и ощущение, что тебя предали».

Такова цитата. Норман противопоставляет Бабеля Леониду Андрееву, имея в виду, что Андреев пишет «тьму» (подразумевается знаменитый рассказ Андреева), а Бабель — то, что открыто глазу, явственно. Норман изъясняется сильно, но не совсем прозрачно — он не стесняется в выражениях и в то же время манипулирует словами, чтобы донести сообщение только

тем, кто поймет его.

Норман описывает особенности творчества писателей. Прозаики: Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Лидия Сейфулина, Леонид Леонов, Ицхак (в ивритской транскрипции) Бабель. Поэты: Есенин, Маяковский. Писатели-попутчики, «вступившие в литературу без шума, скромно»: Виктор Шкловский, Борис Пастернак, Вадим Шершеневич, Анатолий Мариенгоф, Лариса Рейснер.

Норман причисляет Бабеля к когорте самых известных писателей, высоко ценя его «маленький сборник рассказов под названием „Конармия“». Он называет Бабеля человеком, который проскользнул в поезд и которого легко ссадить, если окажется, что у него нет денег на билет; следует заметить, что отдельные упомянутые Норманом писатели явно были весьма значительными и их книги прославились не только своими литературными достоинствами, но и влиянием на жизнь читателей. О Бабеле Норман пишет следующее (в переводе с иврита):

«После того как Бабель выпустил свою маленькую книжечку „Конармия“, о нем написали несколько книг критики. Возможно, по той причине, что он вошел в чертоги литературы как безбилетник (не исключена аллюзия на фразу Г. Гейне о „входном билете в европейскую культуру“. — *Д. Р.*), без всякого кредо или декларации и без покаяния. Бабель — писатель малых форм, в построении новеллы он похож на Мопассана и Чехова, только Мопассан — французский скептик, а Бабель — эпический романтик, тихий, как всякий созерцатель».

«Он — крошечный. И написал так мало: „Конармию“, „Одесские рассказы“, „Мою голубятню“ и „Закат“ (пьесу). Одесса, Украина, Туркестано-Сибирская магистраль, Коломна — всюду один запах и один и тот же дух».

Это еще один пример того, что талант Бабеля принимается как должное. «Всюду один запах и один и тот же дух» — хотя именно благодаря тому, как Бабель вплетает в повествование миллион запахов, мозаику ситуаций, калейдоскоп характеров и весь многогранный, слабо поддающийся расшифровке мир, его «маленькая книжечка» не имеет равных по оригинальности и актуальности даже для читателя XXI века.

Норман продолжает:

«Романтик Бабель („Гедали“, „Рабби“) — материалист, настоящий язычник; он любит плоть и кровь, мускулы, самоуправство, грубость, жестокость — все то, что железными цепями приковано к земле. А жизнь он очищает, облагораживает, как в тигле выжигают примеси, прямо рафинирует».

Так гиперболически видит Норман Бабеля: «романтик», влюбленный в кровь, пытки, убийство и все, что видел своими глазами: погромы, смерть сородичей, адский огонь; однако силой своего литературного дара он преображает все это в желанное, гася огонь страдания и обращая внутренний взор в огонь оригинальной, захватывающей и в то же время неожиданно доступной и близкой литературы, что не только с неизменной силой притягивает нас, но и не оставляет читателя в покое, толкая его на проникновение в дальнейшие глубины того, что другие описать не могут.

«Иисус посылает Арине Альфреда-ангела, да только от него родить *„не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет…“* („Иисусов грех“). Тот же подход и та же „философия“ и в рассказе „Линия и цвет“ о Керенском и очках. В рассказе о Деборе и Иисусе „Пан Аполек“ есть что-то патологическое, как и в другом рассказе, „Вдова“: Левка почти на глазах у Шевелева насилует его любимую Сашку и в то же время заботится о матери Шевелева и обещает отправить ей посылку — платья и т. п. И „жена солдата“ Сашка в момент, когда грохочут пушки и оружейные залпы, занята случкой своей кобылы („Чесники“), *„Помрем за кислый огурец и мировую революцию…“* („Конкин“) — в этом пафос революции и нового мира. Беня Крик, Король, убивающий собственного отца Курдюков, Сашка, Иисус — у всех одна простая истина».

В конце обзора Норман пишет о том, что революционный угар проходит и писатели ощущают дискомфорт, а революционная литература испытывает кризис. И про Бабеля: «В пьесе Бабеля „Закат“ — лабиринт и замкнутый круг сомнений».

Еще одна большая статья — «Ицхак Бабель» — появилась в женском израильском журнале в 1938 году, ее автор Тамар Должанская, выпускница педагогической семинарии в Иерусалиме (теперь имени Давида Елина). Она переводила стихи и публицистику с русского на иврит, например русские стихи поэтессы Рахели, а также писала критические и общественные статьи и очерки, преимущественно в изданиях «Мапай» и «Гистадрута». В 1974 году в Иерусалиме, в издательстве «Библиотека-Алия», вышла составленная ею антология «На одной волне: еврейские мотивы в русской поэзии». Должанская была дочерью известного в Палестине врача. Доктор Должанский не только занимался медициной, но и много сил отдавал научным занятиям и общественной деятельности. Мечтой его жизни было открытие университета в Палестине. Некогда Должанский, делегат еврейских конгрессов, съездов, оперировал жену анархиста Махно, свирепствовавшего в Екатеринославской

губернии. Махно заявил хирургу, что будет присутствовать при операции с револьвером в руке. И если операция не кончится, как надо, то он, Нестор Махно, прикончит его. Так вспоминал о профессоре Должанском журнал «Рассвет», одним из создателей которого был автор одесского романа «Пятеро» великий одессит Зеэв Жаботинский.

Итак, Тамар Должанская пишет в газете «Двар а-поэлет» — печатном органе Генерального совета женщин-работниц, выходившем с 1934 года (16.01.1938. Год вып. 4. № 10): «…Если Ремарк в книге „На Западном фронте без перемен“ стремился лишить войну между народами всякой романтики, то рассказы Бабеля играют такую же роль в отношении войны между братьями. Бабель пришел на поле сражений Гражданской войны прямо из еврейского гетто и остался и там верным сыном гетто».

Далее Должанская дает краткую биографию Бабеля, делая акцент на его еврейских занятиях до шестнадцати лет, и продолжает:

«В 1923 г. Бабель снова обратился к литературному творчеству и на этот раз был принят с большим воодушевлением и писателями, и широкой читательской публикой. Теперь рассказы Бабеля считаются одним из величайших художественных достижений новой русской литературы.

Жизненный путь Бабеля отражен в его произведениях. Каждая его строчка проникнута ужасом реальности. Рассказ всегда идет от первого лица. Рассказчик почти всегда — образованный сын гетто, усталый и беспомощный еврейский интеллигент. Бабель разворачивает перед нашими глазами весь путь развития этого типажа.

О детстве персонажа мы читаем в таких рассказах, как „История моей голубятни“, „Первая любовь“, „В подвале“, „Пробуждение“, которые по строению напоминают автобиографические рассказы М. Горького. Перед нами десятилетний мальчик, „ученый и слабонервный“, отпрыск галутной (галут — рассеяние [*ивр*]. — *Д. Р.*), болезненной семьи. С детства его отупляют истерической подготовкой к экзаменам в государственную гимназию. Пять из десяти лет своей жизни ребенок мечтает иметь голубей и голубятню. Но в день исполнения его мечты начинается погром, и один из погромщиков бьет голубями по лицу мальчика и убивает птиц. „Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен“

(„История моей голубятни“).

Мальчик растет, и его крошечный мир растет вместе с ним, но ужас этого мира не исчезает. Тень трудного детства неотступно следует за героем Бабеля и омрачает малейший свет радости».

Далее Должанская цитирует строки из «Первой любви», которых нет в каноническом русском издании; привожу их в моем переводе с иврита: «Теперь, вспоминая об этих мрачных годах, я нахожу в них начало губящих меня болезней и причину моего ужасного довременного увядания».

В этих рассказах уже есть все элементы поздней прозы Бабеля. С одной стороны, животная стихийная жестокость бессмысленной толпы, а с другой — жаркие, но безвольные мечты, ужас жизни, распад всех телесных и душевных сил. И между двумя этими сторонами лежит непреодолимая бездна.

«Ученый и слабонервный мальчик» вырос. С десятилетнего возраста он обречен на «ужасное довременное увядание». Под гнетом этого увядания он мечтает о том, что не может сбыться. В одном из рассказов Бабеля герою говорят: «Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка» («Как это делалось в Одессе»).

Так представляет себе Бабель образованного еврея до революции: на носу очки, а в душе осень. Сотрясение миров за письменным столом. На словах — бурный экстремизм, а на деле — «заикание», страх перед действительностью, страх перед жизнью, страх перед людьми.

Бабель ищет также другие черты человеческого характера и находит их «на дне» гетто, среди его воров и проституток. Не без симпатии он описывает их — и Беню Крика, и Любку Казак, — жестоких, циничных, беспощадных. Бабеля привлекает здоровье, проворство, самоуверенность этих отребьев общества, «скандалящих на площадях и заикающихся на бумаге», а порою изумляющих широтой своей дикой души. Бабель чувствует, как кипит и пульсирует кровь в жилах этих людей, понимает, насколько они ему противоположны, и хочет быть рядом с ними, как слабый льнет к сильному. В них Бабель находит что-то вроде компенсации за бессилие гетто, за собственную слабость.

Революция пробуждает в этом до времени увядшем образованном человеке надежду, воодушевившую тогда многих русско-еврейских интеллигентов, найти источники жизни не только «на дне» гетто. Вдохновленный этой надеждой, Бабель

идет добровольцем в Красную армию. Теперь он больше не замкнут в гетто. Теперь перед ним открывается новый мир.

Начался новый период его жизни, описанный в его знаменитой книге «Конармия». Все рассказы этой книги отличаются особым лаконизмом, перед нами череда картин — художественных, достоверных, ужасных.

Первая встреча героя с новым миром описана в рассказе «Мой первый гусь». Этот мир неприветливо встретил гостя из вчерашнего гетто. Выяснилось, что бойцы за новую правду не слишком любят образованных людей и режут их за то, что они носят очки.

«Я… лег на землю, чтобы прочесть в „Правде“ речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. <…> казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти».

Инстинкт показывает новоиспеченному красноармейцу, что необходимо любой ценой приспособиться к царящим там понятиям. Ради этого он ловит случайно появившегося гуся и топчет ему голову: «Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей».

Герой дает категорическое приказание хозяйке гуся, измученной постоем старухе, изжарить птицу ему на ужин. Та покорно подчиняется, и гость растет в глазах своих новых товарищей, они принимают его в свое общество. Однако эта победа не принесла ему радости и утешения: «…сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло».

Рассказ за рассказом посвящает Бабель животной, тупой, равнодушной жестокости Гражданской войны. Красная армия кажется ему теперь «солдатней, пахнущей сырой кровью и человеческим прахом» («Солнце Италии»).

Бабель часто подчеркивает в этих бойцах ненависть к евреям, скрытую за братством народов. В одном из рассказов солдат жалуется на то, что во всех советских учреждениях полным-полно жидов, «как при старом режиме» («Письмо»). Другой «сознательный» солдат отвечает на обвинения женщины, что, мол, коммунисты полностью подчинились жидам — Ленину и Троцкому: «…за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора» («Соль»). (Замечу, что в новом издании рассказов Бабеля за 1936 год этот фрагмент пропущен, как изъяты и все упоминания Троцкого. — *Д. Р.*)

В рассказе «Берестечко» красный казак зарезал старика-еврея, обвиненного в шпионаже: «Старик взвизгивал и вырывался. Тогда

Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно…»

В рассказе «Письмо» молодой красноармеец диктует письмо матери. Сначала он пишет о своем коне, оставленном в деревне, и дает указания, как за ним ухаживать. А во второй части письма сын сообщает матери, что его отец-белогвардеец зарезал старшего сына — красноармейца, а потом младший сын, боец Красной армии, зарезал отца.

Почти на каждой странице Бабель мучает своего читателя подобными картинами, соединяющимися в один сплошной кошмар, имя которому — Гражданская война.

Как светлые лучи утешения появляются в его рассказах образы евреев. Вот старый еврей, убитый поляками, у которого лишь одна забота и просьба, чтобы его убили во дворе, а не на глазах у беременной дочери («Переход через Збруч»). А вот лирический философ — старый Гедали, мечтающий в разговоре с красноармейцем о «сладкой революции», которая позволит каждому человеку наслаждаться жизнью, и об «Интернационале добрых людей» («Гедали»).

Бабеля тянет к этим евреям, он словно отдыхает под сенью их человечности и любви, но не ждет, что от них к нему придет спасение. Он знает, что их силы иссякли, что они — его товарищи по «ужасному довременному увяданию», по «разрушительным болезням», что тяжкое ярмо гетто всегда и неизменно давит на них. И даже больше: Бабель словно бы и не ждет спасения. Сила и здоровье больше не манят его к себе. Он и раньше часто создавал персонажи евреев из болезненных семей, над которыми нависла тень близящегося конца и неотвратимого разложения.

Вот как описывает свою семью герой «Истории моей голубятни»: «Мать… смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья. Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья… Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали… И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать… Она не ждала для нас удачи…»

В рассказе «Рабби» описан рабби Моталэ Брацлавский из Чернобыльской династии, старик, похожий на монаха, в окружении «бесноватых, лжецов и ротозеев»; под грохот Гражданской войны он грезит последнюю грезу. Неподалеку от стола сын рабби Илья, «последний отпрыск царского рода», курил во время субботней трапезы и «вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони». У юноши могущественный лоб Спинозы, а в сердце — мечта об усовершенствовании мира.

В рассказе «Сын рабби» снова появляется Илья, пленивший бурное воображение Бабеля. Он тяжело ранен на Гражданской войне и умирает. В последние мгновения юноша говорит о пушках, которых ему не хватило для сражения, и о покинутой им матери. А вокруг лежат его раскиданные вещи:

«…Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятники еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы „Песни песней“ и револьверные патроны» («Сын рабби»).

Порой создается впечатление, что тяга Бабеля к этим обреченным людям органична и что он ищет новые источники жизни не по велению сердца, а разумом. И также, исходя из разума, а не зова сердца, Бабель хочет быть пригодным к войне нового мира — хочет и не может. Он готовит свое сердце к крови и грязи этого переходного периода: революция «не может не стрелять» («Гедали»), Но сердце испугано, оно отступает и сжимается. Ученый еврей с «очками на носу» не способен убить, даже когда его сознание оправдывает убийство, и идет в бой с незаряженным пистолетом. Я «пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека» («После боя»).

Бабель ни разу не показывает нам образ истинного бойца нового режима. Только в рассказе «Вечер» слышны обрывки голоса этой стороны. Его представитель Галин стыдит утомленного интеллигента.

«— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии…

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев… Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда

палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку» («Вечер»).

Пророчество Галина не сбылось. Бабель все еще не воспел своей необыкновенной прозой «это ядро» новой жизни, очищенное от скорлупы.

Лишь один из образованных героев Бабеля добирается до обновленной Москвы, но и он не чувствует от этого особого восторга: «…в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий… Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит» («Солнце Италии»), В центре революционной России этот герой начинает мечтать об Италии и просит, чтобы его послали туда, чтоб поднять гражданский мятеж.

Возможно, в силу той самой приверженности к неустроенным, лишенным твердой почвы под ногами и не имеющим сил людям с разбитыми сердцами, Бабель не замечает, что протест против бессилия галута зреет не только «на дне» еврейского гетто или среди добровольцев Красной армии. (Стоит отметить, что выражение «на дне», явно отсылающее к пьесе Максима Горького, для одесситов и русско-еврейской литературы имеет и еще одно значение. Известный цикл рассказов 1900-х годов одесского писателя, певца босяков и проституток одесского порта Лазаря Кармена назывался «На дне Одессы». — *Д. Р.*) Мы не найдем в его произведениях ни одного даже слабого отклика на национальное возрождение, родившееся как протест против этого бессилия. Каждая строка Бабеля пропитана национализмом, разлитым в действительности, но в его рассказах совершенно нет сознательной установки на национализм.

Для евреев, живущих в Палестине в те времена, эта статья чрезвычайно важна. Многие, кто переселился туда, нашли в Палестине тихую гавань.

И все же — вот перед нами писатель, который, несмотря на гениально живые описания мук своих сородичей, не выбрал Израиль своим спасением; хотя в статье об этом не упоминается, Бабель не воспользовался даже возможностью бежать во Францию или Бельгию; он остается в стране, где прославился как писатель, и из-за этого — из-за своей верности земле, где правит советский режим, — непрестанно страдает. Быть может, причина в надежде на то, что революция действительно породит (возможно, поколением позже) нового человека, который не будет больше страдать из-за своей национальности и из-за своих творческих способностей? Может быть, причина в понимании того, как трудно прижиться в чужой земле, где писателя хоть и знают, но все же он не пользуется такой славой, такой репутацией, которой он радовался (и одновременно — от которой хотел сбежать) в

Советском Союзе? Или надежда на то, что его писательскому дару все же разрешат воплотиться, будь то писание «в стол», так что написанное мало кто увидит, или же создание произведений, которые дождутся своего времени, дождутся выхода в печать? Или известная черта Бабеля — щедрость, готовность дарить деньги или внимание. Желание знать, что принесет будущее, в сочетании со страхом перед неизвестностью. При наличии одного ребенка (отнятого у него сына) в СССР, дочери за границей, родившейся позже, у Бабеля был выбор. И все же он остался. В этом кроется некая непонятность для израильтян — и для нас, все еще читающих Бабеля и гадающих о причинах его поступков по прошествии стольких лет со дня, когда его расстреляли в темных подвалах Лубянки, отняли очки, столь дорогое сердцу перо и саму жизнь.

«Один едва различимый намек на этот национализм находим в рассказе „Первая любовь“. Под впечатлением погрома герой рассказа, еврейский мальчик, который по-детски, всей душой, влюблен в русскую женщину, влюблен первой, ему самому неясной любовью, мечтает о том, чтобы сражаться в еврейской самообороне. Но даже в этом нежном возрасте он не питает надежды одолеть своих врагов, спасти свой народ и завоевать сердце любимой, как бывает свойственно детям. Нет, маленький сын гетто мечтает лишь о том, чтобы геройски погибнуть на глазах у своей возлюбленной».

Здесь критик (возможно, намеренно) загоняет Бабеля в ловушку. Да, Бабель рассказывает о мальчике, влюбленном в женщину-нееврейку, которая спасает его от людей, желающих ему и его семье зла. Но автор статьи делает из этого вывод, что Бабель таким образом метафорически выражает следующее: для еврейского народа нет иного спасения, кроме как под крылом неевреев. Это явно провокационное заявление для израильского читателя, поскольку именно такова роль еврейского государства: защищать еврейский народ, будь то от казацких сабель или от штыков гитлеровских солдат. Кроме того, автор статьи не обращает внимания на упоминание «еврейской самообороны». А ведь это были первые ростки появления того типа евреев, которые и создавали военизированные подразделения в ишуве (то есть еврейских поселениях в Палестине до образования Израиля).

«В этом рассказе выведена простая, здоровая и счастливая русская женщина Галина Рубцова, которая недавно вышла замуж и любит своего мужа страстно и не таясь. Интересно, что больше мы не найдем у Бабеля таких персонажей. Да и здесь ее роль заключается только в том, чтобы подчеркнуть по контрасту с ее здоровьем и счастьем болезненность и глубокую печаль

еврейской семьи в дни погрома.

У Бабеля женщина всегда мать, но не здоровая и радующаяся своему материнству мама, а еврейская мать, слабая и беспомощная, поскольку выросла в гетто. Оттого радость материнства в ее душе всегда омрачена болью сострадания и постоянным страхом. А персонажи-мужчины находят утешение у нее на груди. Один из них говорит: „…Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание…“ („Рабби“)».

Опять-таки следует помнить, что это пишется на иврите. Критик говорит нам, что быть уроженцем гетто означает быть слабым ребенком, которому вечно грозит уничтожение, неотвратимое зло. Следует создать новую личность, сильного еврея, который не бежит к неевреям за спасением и защитой.

«В рассказе „Песня“ солдат все время поет одну и ту же песню, и звуки этой песни останавливают бойцов и предотвращают их жестокие выходки. „Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…“»

Всякое нежное прикосновение Бабель ощущает как материнское: «…вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу» («Мой первый гусь»), «Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери» («Вечер»).

Кроме матерей, у Бабеля почти нет женских персонажей, за исключением разве что фронтовых проституток, чья роль в рассказах, как правило, «декоративная»: их грубый бесчувственный разврат еще усиливает гнетущее впечатление фронта.

В рассказах Бабеля почти не встречается любовь к женщине. Кроме рассказа о любви десятилетнего мальчика, нет ни одной полноценной истории любви. После Галины Рубцовой Бабель рассказывает еще только о двух женщинах, однако они не были ни матерями, ни блудницами.

Первая, Виктория, появляется в письме, которое пишет ей любящий ее человек. Он называет ее «невеста, которая никогда не будет женой» («Солнце Италии»).

Вторая, Марго, появляется лишь во сне измученного Гражданской войной бойца как несбыточная надежда на демобилизацию и отдых.

«„Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго…“» («Замостье»). Однако отдохновение, которое принесла

явившаяся ему во сне женщина, есть не что иное, как смерть. Женщина пришла похоронить спящего.

У героев Бабеля даже любовь — жаркая греза, сон о нежности и милосердии, разыгравшееся воображение, и слабым выходцам из гетто нет возможности удержать его в своем древнем чахлом теле.

Странно выглядят попытки советской критики причислить Бабеля к какой-то категории советских писателей. Критики все больше опираются на его декоративные описания шествия Красной армии, например такие: «За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. <…> На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью» («Афонька Бида»).

У Бабеля точный, все примечающий глаз истинного художника. Никаких иных выводов из его ярких описаний сделать невозможно. С той же точностью и тем же пафосом он описывает шествие погромщиков, но ведь нам не придет в голову заподозрить его в симпатии к ним: «Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед» («История моей голубятни»).

Бабель — романтик гетто. Его рассказы навевают на читателей то же настроение, которое охватило героя при виде разбросанных вещей красного командира, сына Чернобыльского цадика, Ильи Брацлавского: «Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы „Песни песней“ и револьверные патроны» («Сын рабби»).

Куда бы ни вели сюжеты Бабеля, израильский критик не выпускает его из гетто, из того самого гетто, откуда Бабель стремился вырваться своим оглушительным литературным успехом и всей своей жизнью. Слова «романтик гетто» весьма парадоксальны: в гетто, которое мы знаем, романтики очень мало. Даже если считать, что Бабель сам вдохнул романтику в гетто, несомненно, что его цели были совсем иные: он хотел перенестись прочь из гетто, вдохнуть полной грудью подальше от его тесноты и запахов. Эти два слова, «романтик» и «гетто», хоть и остроумны, сталкиваются между собой, и очень трудно представить, как критик намерен породнить их (разве что по необходимости политически ориентировать читателей так, чтобы им даже в голову не пришло ностальгировать по стенам европейских гетто, откуда родом их родители). В цитате с

упоминанием цадика ничего не романтизируется, а, напротив, описываются столкнувшиеся в душе у Бабеля конфликтующие миры, которым, как бы Бабель на это ни надеялся, никогда не достичь гармонии.

«Облаченный в форму красноармейца, озаренный пожарами Гражданской войны, „пораженный жалостью и одиночеством“ в России 3-го Интернационала, стоит перед нами этот еврейский романтик и под „оглушительный гром артиллерии“ грезит бессильной мечтой: „Четвертый Интернационал“, „недостижимый Интернационал“, „Интернационал добрых людей“. Стоит на островке любви в океане звериной ненависти».

Итак, уже самые ранние ивритские статьи о Бабеле можно отнести к лучшему и наиболее точному из написанного о нем, так как авторы этих статей сами испытали все то, о чем писал Бабель, они обладали тем же культурным багажом, однако, в отличие от Бабеля, реализовывались в принципиально ином контексте.

Следующая статья относится уже к совсем другой эпохе. Она вышла в свет менее чем через два года после образования Израиля. В 1950 году еще никто не знал о судьбе Бабеля, а в СССР бушевала кампания по борьбе с космополитизмом, сопровождавшаяся в Израиле активными просталинскими настроениями. Автор статьи — Исраэль Змора (1899, Бессарабия — 1983, Тель-Авив) — литератор, критик, с 1940 года — книгоиздатель и литературный редактор журнала «Махбарот ле-сифрут» («Литературные тетради»; 1939–1954). Жил в Одессе и Петербурге, служил в Красной армии и дезертировал оттуда, бежал в Румынию, где преподавал иврит. С 1925 года жил в Тель-Авиве, пять лет был представителем Керен а-Йесод («Основной фонд» — фонд, занимающийся сбором средств для развития ишува) и собирал деньги на новый ишув.

Змора И. О рассказах И. Бабеля // В кн.: Аль парашат а-дорот («На развилке поколений»), Махбарот ле-сифрут, 1950. Т. 3. С. 228–229.

«1. О Бабеле можно сказать две противоположные вещи: он циничен, и он нежен. Однако его творчество невозможно разделить на две сферы в соответствии с этими определениями, например, это — в языке, а это — в тематике. Обе они сосуществуют вместе, то одно проявляется, то другое. Наряду с этим к постоянным достоинствам его творчества относится „острота“. И его цинизм никогда не проявляется иначе как в полной бесчувственности, причем не пишущего, а того, о ком ведется рассказ. И еще невероятная пестрота, которой та особая эпоха щедро и страшно одарила все вокруг в стране писателя: эта

пестрота и многоцветность — не для внешнего эффекта, не для декоративности — это, как видно, специфический взгляд на мир, один из художественных талантов. Если заняться поисками в этом направлении, мы, верно, нашли бы в прошлом не менее красочных прозаиков и поэтов, да только те старались — кто больше, кто меньше — приглушить это обилие красок в угоду требованиям литературной эстетики своего времени, когда эту красочность сочли бы неуместной. Разве нельзя предположить, что Сервантес всеми силами старался умерить свою тягу к цветистости? Если бы он писал в наше время, кто знает, сколько радуг сияло бы нам из его „Дон Кихота“!

Но яркие краски Бабеля иной природы, чем у Сервантеса, его цветистость берет истоки из „ситра ахра“, оборотной стороны — грубой, низкой, чувственной и плотоядной. У Бабеля два намерения: одно явное, и его цель — показать это грубое плотское здоровье, эту жестокую простоту и наивность, эти сметающие все на своем пути силы преисподней. И второе намерение, ощущаемое лишь как некая постоянно присутствующая тень: это мудрость Экклезиаста (Коелета), вернее, не старого, а молодого Экклезиаста, выражающегося остро, смачно, беспощадно. Он с такой страстью показывает нам грубость, выворачивая ее изнутри наружу, а внешние проявления заталкивая внутрь, лишь с одной целью — сказать: „Жесточайшие из жестоких!“, но сказать, подобно тому как Экклезиаст говорит: „Суета сует, все суета!“

Большая часть его лучших рассказов связана с революцией. Однако их герои созданы революцией, а не являются создателями революции. И даже при том, что в творчестве Бабеля ощутима революционная стихия, каждый из его персонажей словно занят исключительно своими делами, как привык издавна, и проявляет себя совершенно автономно. Восхищение персонажем — это восхищение персонажа самим собой, ведь Бабель сумел найти уникальный способ рассказа: персонажи его не замечают, они снимают свои одежды, „расхаживают нагишом“ и не стыдятся, как будто тот, кто их создал и кто о них повествует, не находится рядом. Я не удивлюсь, если найдутся толкователи, которые назовут творчество Бабеля революционным, и если найдутся такие, которые заявят прямо противоположное. Я повторюсь: Бабель видит революцию исключительно сквозь призму действующих в ней отдельных людей, и эти-то люди и есть персонажи его рассказов, каждый с особой физиономией, особыми поступками. А мы, читатели, не можем оторваться от них, плененные их персональным трагизмом. Неудивительно, что все персонажи Бабеля становятся нашими друзьями, будь то

революционеры или противники революции, потому что все они — независимые личности и одиночки».

Помимо анализа созданных Бабелем литературных персонажей, автор статьи пытается обрисовать революционеров (точнее, попутчиков революции) так, чтобы они стали ближе израильскому читателю. В израильском контексте, кроме споров о том, как наладить отношения с соседями, которые явно не желали жить бок о бок с евреями, стоял и другой животрепещущий вопрос: какую «революцию» должны евреи сделать для себя? Какую страну? Какого вырастить гражданина? И как можно стать израильским гражданином по собственному желанию? Напомню, что эта статья была написана всего через два года после официального создания Государства Израиль, и в это время в любой критической статье, чему бы она ни была посвящена — войнам или битвам идей в чужих странах, особенно в странах, столь близких сердцу иммигрантов из Восточной Европы, — звучали политические и социальные мотивы.

«3. Его языку свойственна противоречивость. Сочный, т. е. вобравший в себя много хорошего. Но и сухой в своей крайней лаконичности, насыщенности. И снова этот легкий язык, который умеет удивительно сокращать путь, и кратчайшим путем, ясно и выразительно, ведет к тому неуловимому, необходимому и достойному выражения. Это — его и только его язык. Он точен, буквально как скальпель, и не допускает возражений. И при этом писатель вкладывает этот язык в уста самых разных персонажей — и всякий раз по-разному. Этот уникальный язык Бабеля всегда естественный и всегда иной, в устах казака и в устах женщины, в устах еврея и в устах поляка и т. д. и т. п. Волшебник языка — рассказчик, лицедей, художник».

Бабель на иврите после реабилитации

Иеошуа Гильбоа. «Ицхак Бабель — русский Мопассан» // Ялькут Маген, № 21. Июнь-август 1961. Рубрика «Писатели и книги». С. 44–46. [Перепечатка из газеты «Маарив» (без указания даты).]

Автор этой статьи родился в Пинске в 1918 году, умер в 1981-м, в Израиле. Перу Иеошуа Гильбоа принадлежит ряд книг о судьбе иврита и ивритских писателей в СССР, в том числе книги «Октобераим ивриим (Ивритские октябристы: история одной иллюзии)» (Тель-Авив: изд-во Тель-Авивского университета, 1974). В этой книге, на с. 121, Гильбоа пишет о первых переводах Бабеля на иврит. В 1940 году И. Гильбоа был арестован в СССР и

восемь лет провел в тюрьме. В Израиле он стал одним из основателей журнала «Ялькут Маген» («Сборник Щит») и членом его редколлегии.

Без сомнения, Бабель, большой поклонник Мопассана, был бы польщен таким титулом, каким его в заглавии своей статьи наградил Иеошуа Гильбоа. Бабель сам сравнивал себя с Мопассаном. Во времена Бабеля творчество Мопассана, хотя его и считали тогда в России несколько упадочническим, было последним словом литературы в области короткого рассказа. Чехов восхищался завоеванной Мопассаном «мировой славой и известностью» творца непревзойденной малой прозы, а Толстой даже предпочитал Мопассана Чехову за его «радость жизни». Как упоминалось выше, Бабель начал писать рассказы на французском языке в пятнадцать лет. «Я писал их два года, — говорит в „Автобиографии“ Бабель, — но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне». В тринадцать лет Бабель прочитал «Мадам Бовари», и Флобер стал для него литературным образцом. Позднее это место занял Мопассан, ученик Флобера. Французский переводчик Бабеля сообщает, что Бабель, по его собственным словам, читал и перечитывал Мопассана и Флобера, но не знал ничего или почти ничего о современных французских авторах… Бабель никогда не интересовался творчеством Пруста, Жида или Поля Клоделя. В 1926–1927 годах Бабель редактировал трехтомный сборник русских переводов рассказов Мопассана, и сцены из «Исповеди» Мопассана вошли в собственный рассказ Бабеля «Гюи де Мопассан»: «Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого». В общем и целом нет никакого сомнения, что сравнение с Мопассаном — если не в контексте французской, то в контексте русской литературы — было желанной целью для Бабеля.

«Ялькут Маген» — печатный орган организации «Маген», сферой интересов и исследовательской деятельности которой является судьба евреев и еврейской культуры в СССР. Девизом журнала служат слова Иеуды Галеви: «Сион, ужель не спросишь ты об узниках своих!»

Статья И. Гильбоа начинается так: «Двадцать лет тому назад умер где-то в заключении талантливый русский писатель — еврей Ицхак (Исаак) Бабель». В начале автор коротко рассказывает биографию Бабеля, подчеркивая, что он был сыном торговцев, «учился в хедере, а затем в ешиве» и «первыми источниками, сформировавшими его духовный облик, были Танах и Талмуд, а

также жизненные картины черты оседлости. Этими картинами пропитано его творчество, особенно „Одесские рассказы“».

Ясно, что И. Гильбоа акцентирует еврейство Бабеля, стремясь приблизить его к израильскому читателю, мол, это — один из наших. Важно указать на искажения истины в статье: хотя Одесса и относилась к черте оседлости, жизнь евреев в этом многонациональном городе была совершенно особой. И, продолжая биографию Бабеля, Гильбоа опять повторяет слова «хедер» и «ешива», «черта оседлости». Он упоминает покровительство Максима Горького и тот факт, что Горький начинает публиковать рассказы Бабеля в своем журнале «Летопись». Анализируя эти рассказы, Гильбоа пишет о сочетании «сочного русского языка» и «еврейского лукавства», о «смехе сквозь слезы».

О службе Бабеля в армии Буденного Гильбоа пишет в пассивном залоге: «он был включен в конармию Буденного». Сообщая о «Конармии», которая вышла в 1926 году, Гильбоа пишет, что «еврейское бытие и казацкая жизнь „разыгрывают“ перед читателем увлекательную драму противоположностей». Он отмечает сочетание ужасов и лирической ноты в рассказах «Конармии». Рефлексия Бабеля в этих рассказах дает ключ к пониманию того, почему революция увлекла столь многих евреев его поколения: щуплых, слабых еврейских интеллигентов завораживали животные, почти волчьи повадки казаков, их телесное и душевное здоровье, их жестокость и сила животных страстей, мужество и бесстрашие, а также обнажающиеся порой муки совести и мировая скорбь. Эти нееврейские качества манили к себе Бабеля с тех пор, как он начал взрослеть.

И снова тема «настоящего Бабеля» — то ли еврея, то ли полуеврея-полурусского — и выражения его взглядов в литературном творчестве становятся предметом споров. Гильбоа утверждает, что «нееврейский» мир овладел Бабелем сызмальства. И все же, как бы Бабеля ни манили светская жизнь и светское общество, он, согласно Гильбоа, прикован к своим еврейским корням и душа его разрывается «между традицией и революцией».

Гильбоа пишет, что «во многих рассказах Бабеля обнажается еврейская душа, разрывающаяся между традицией и революцией»: «Революция — скажем ей да, но неужели субботе мы скажем нет?» Он вспоминает о многих евреях, надеявшихся на соединение двух этих понятий, и упоминает рассказ «Сын рабби». Позицию героя Гильбоа переносит на Бабеля и восклицает: «Странная мечта русско-советского писателя!»

Далее Гильбоа пишет, что с победой в литературе принципа

социалистического реализма Бабель перестает писать и в этом проявляются его протест и его героизм. Подчеркивает, что в 1934 году, на съезде советских писателей, Бабель позволил себе дерзкую выходку, заявив в своей речи о праве писателя «писать плохо». Это, пишет Гильбоа, был протест против вмешательства комиссаров в литературу. Гильбоа видит «исчезновение» Бабеля в 1939 году как наказание за это выступление. Упоминает, что дальнейшая судьба писателя была неизвестна вплоть до 1956 года (даже если Бабеля реабилитировали в 1954-м, Гильбоа почему-то считал, что это случилось в 1956-м. Возможно, из-за того, что известие об этом пришло к нему только в 1956-м?) — «начала оттепели реабилитации» и его произведения были вычеркнуты из школьной программы и изъяты из библиотек.

Спустя время, пишет Гильбоа, появился сборник рассказов Бабеля с «восторженным предисловием» Ильи Эренбурга. Но в последние годы (то есть в конце 1950-х) в советской печати вновь стали появляться заметки, отмечающие реакционный характер творчества Бабеля, чьи образы заимствованы из буржуазной и патриархальной среды, безвозвратно отошедшей в прошлое. Гильбоа подчеркивает, что советским критикам не по нраву еврейские образы и еврейский дух произведений Бабеля.

В последнем абзаце Гильбоа сообщает, что «17 марта 1941 года был вырван из жизни один из величайших писателей поколения — кровь от крови нашей, плоть от плоти нашей. Подошел к концу полный мучений его жизненный путь. Но его творчество продолжало жить < … > — и будет жить вечно!»

Следом за статьей Иеошуа Гильбоа следуют переводы двух рассказов Бабеля — «Сын рабби» (подпись: на иврите Р. Р.) и «Кладбище в Козине» [с пометой: появилось в сб-ке «Конармия». Подпись: перевел Зеэв Бен-Шломо, «Аль а-мишмар» (без указания даты)].

И. Ахигар (псевдоним). Ицхак Бабель и его еврейские персонажи // Ялкут Маген. 1965. № 35–36. Июнь. С. 6–67. [Автор: *Иосиф Бергер-Барзилай* (прежнее имя: Исаак Железник, с 1922 г. Барзилай).]

Бергер-Барзилай, родившийся в 1904 году в Кракове и умерший в 1978-м в Иерусалиме, будущий известный израильский журналист и политолог, вступил в молодежное сионистское движение «А-шомер а-цаир» в Польше и переехал на территорию будущего Государства Израиль в 1920-м. Через два года после переезда Барзилай стал секретарем Палестинской коммунистической партии, тогда находившейся вне закона, и использовал свой талант организатора для создания

коммунистических союзов в Сирии, Ливане и Трансиордании; он также установил прочные рабочие отношения с арабскими лидерами в Палестине. В марте 1929 года Барзилай тайно посетил Москву, где, по слухам, получил пятичасовую личную аудиенцию у Сталина, во время которой описал положение и возможности на Ближнем Востоке. К 1934 году, успев побывать на посту председателя Коминтерна в Берлине и на Ближнем Востоке (1932–1934), он был исключен из партии, арестован за «троцкистскую агитацию» и получил пять лет тюрьмы. В 1936 году Барзилай был приговорен к смерти за отказ давать показания против Григория Зиновьева (настоящее имя — Овсей-Гершон Аронович Радомысльский-Апфельбаум; 11 сентября 1883 — 25 августа 1936), большевика, революционера и советского политического деятеля. Зиновьев долгое время возглавлял Коминтерн, а также был организатором нескольких неудачных попыток коммунистического переворота в Германии в начале 1920-х. Он был конкурентом Сталина, который убрал его из советского руководства. Зиновьев стал главным обвиняемым на постановочном суде в 1936 году, «Процессе шестнадцати», знаменовавшем собой начало так называемого Большого террора в СССР. Зиновьева признали виновным и расстреляли на следующий день. Барзилай был близко знаком с Зиновьевым, но смертный приговор ему заменили восемью годами лагерей. Барзилай провел в лагерях более пятнадцати лет и в 1951-м был приговорен к пожизненному поселению с отбытием в Сибири. В 1956 году он был реабилитирован, восстановлен в партии, уехал в Польшу и оттуда в 1957-м эмигрировал в Израиль. Автор нескольких книг и воспоминаний о своем лагерном периоде, Барзилай начал соблюдать установления ортодоксального иудаизма и читал лекции по советологии и коммунизму в Университете Бар-Илан.

Первая глава статьи Барзилая о Бабеле: «Бабель — свидетель и художник». Здесь автор подчеркивает, что Бабель «впитал в себя сокровищницу русской литературы и моральное величие Танаха».

«Бабель был не только свидетелем, который умел понять, что происходит вокруг, и истолковать это. У него была также интуиция художника, которая помогала ему понять суть». «В его рассказах была убедительная свежесть, которая сразу завоевала сердце читателей».

Далее Барзилай пишет, что Конармия Буденного помогала установить власть большевиков в Украине. Еврейские образы у Бабеля: «…их слова и дела являются зеркалом, в котором правдиво отражены трудящиеся страдающие еврейские массы и их роль в революции».

Вторая глава: «Великий мастер короткого рассказа». Здесь отмечено, что Бабель писал лишь короткие рассказы и удостоился лестного прозвания «русский Мопассан». Он не только мастер психологического анализа, но и отточенных лаконичных формулировок и ярких портретов. Его еврейские персонажи так и просятся на сцену — это готовые театральные образы.

«В его рассказах прорываются революционная энергия народных масс во время Гражданской войны и сложный клубок противоречий, к которому пришла революция, а также философское осмысление происходящего устами еврейского мудреца р. Гедали». Автор пишет о том, что Бабель тщательно, много раз правил написанное, добиваясь выразительности и лаконизма.

Третья глава: «Рядом с Горьким». «В рассказах о революции в русской литературе двадцатых годов Бабель был исключением. Его ревнивое отношение к правдивому высказыванию и отстаивание собственного мнения (которое не всегда совпадало с официальным) осложняли его путь».

Дальше написано о значении дружбы с Горьким, который всегда защищал Бабеля и делал его физически неуязвимым, пока Горький был жив.

Четвертая глава: «Последние дни Бабеля». В данной части статьи отмечено усиление реакции во второй половине 1930-х годов в СССР, о пике «культа личности», о давлении на литературу, о смерти Горького: «был отравлен (это по официальной версии, которая пока не опровергнута)», о забвении творчества Бабеля в сталинское время. Последняя фраза: «Хорошо, что Бабель удостоился того, что его знают ивритские читатели Государства Израиль — благодаря превосходному переводу Авраама Шленского».

При таких жизненных обстоятельствах Барзилая, который сначала влюбился в революцию, а потом, после многих страданий и боли, наконец прозрел, мало кто мог лучше него понять все значение перевода Бабеля и жизненную необходимость донести его книги до ивритоязычных читателей. Бабель сперва, как и многие другие, верит и надеется, что революция принесет гуманное отношение к людям, но потом на своей шкуре испытывает, каких кровавых жертв требует революция и, более того, как мучительно ее воплощение на практике. Он родился и был наставлен в традициях иудаизма и в то же время мог «писать, как Мопассан», — Бабель был для Барзилая важнейшей личностью, с которой обязательно надо было познакомить читающих на иврите. Пусть Писание повествует о еврейской истории и происхождении еврейского народа; Бабель

рассказывает истории, что гораздо ближе к нам по времени, со всеми ужасами и трагедиями, переплетенными с еврейскими корнями и воспоминаниями. Не было и нет среди писателей фигуры такого же масштаба, как Бабель, способной написать историю своего народа, гуманизма и опасностей, подстерегающих, когда взгляд затуманен.

Авраам Б. Иоффе. Статус Бабеля в советской литературе (К семидесятилетию со дня рождения писателя) // Ежемесячник Союза писателей Израиля «Мознаим». Декабрь 1964. С. 232–239.

Авраам Б. Йоффе (1924–2008) родился в городе Бельцы (Бессарабия), в 1940 году поселился в Палестине, учился в Хайфском реальном училище и Еврейском университете в Иерусалиме. В 1948 году поселился в Тель-Авиве, сблизился со Шленским, а в 1950-м вошел в редакцию газеты «Аль а-мишмар», где регулярно публиковался Шленский. Йоффе стал одним из его ближайшего окружения и вместе с ним создал в начале 1950-х «Клуб прогрессивной культуры» (ныне «Цавта»). Он был редактором литературного приложения к «Аль а-мишмар», затем соредактором «Мознаим» (когда и вышла эта его статья).

Йоффе начинает с биографических данных о Бабеле, а именно: что перед Бабелем были три языковые возможности — иврит, французский и русский, — и рассказывает, почему Бабель выбрал русский. Как замечалось ранее, вопрос о том, могли Бабель писать на иврите, вызывает споры; в сборнике 1926 года «Берешит», первой известной публикации рассказов Бабеля на иврите, указано, что перевод рассказов Бабеля «откорректирован автором», но не сохранилось никаких доказательств того, что Бабель действительно мог писать на иврите (или на идише, хотя оба языка он, несомненно, знал, по крайней мере, немного, благодаря начальному образованию и окружению в детстве). Что касается французского, Бабель сам рассказывает про свои начальные попытки творить на французском (возможно, так он надеялся стать ближе к Мопассану), но потом признает, что хорошо писать на этом языке у него не получалось.

Источником информации для Йоффе служат мемуарные записки Бабеля. Он сообщает о первой публикации двух рассказов Бабеля в «Летописи» Горького (№ 11, 1916) и дает им оценку как пока незрелым, но многообещающим произведениям.

Затем Йоффе пишет о том, что Бабель «затопил» Горького своими рассказами, а Горький сначала все отвергал и наконец отправил Бабеля «в люди». Далее — о том, где и когда работал Бабель, в том числе: «И если можно верить его [Бабеля] свидетельству, служил некоторое время также в ЧК». Пишет, что в

1923-м начали выходить в «ЛЕФе» и «Красной нови» рассказы из «Конармии», числом не менее 16-ти. Далее отмечается, что различные руководители и просто малообразованные люди обвиняли Бабеля в том, что он пишет не о действительности, а о том, что рисует его воображение.

В 1924-м, пишет Йоффе, Бабель опубликовал еще более 20 новых рассказов, в основном из «Конармии», но не только. Особенно отмечает рассказ «Отец», третий, предпоследний из «Одесских рассказов», напечатанный в номере за август-сентябрь «Красной нови». Упоминает и «в высшей степени необычный рассказ с фантастическим происшествием в нем — „Иисусов грех“». Пишет об «интереснейшем споре между старым и новым миром в рассказе „Конец св. Ипатия“». Сообщает, что в 1925-м вышли «Первая любовь» и «История моей голубятни» — «рассказы, основанные на детстве писателя».

Далее Йоффе отмечает, что критическая литература о Бабеле составляет много больше томов, чем все им написанное, и подробно останавливается на статье А. З. Лежнева, опубликованной в его сборнике «Современники», увидевшем свет в 1927 году, а написанной в 1926-м. Лежнев дает отпор критикам Бабеля: «защищает от обвинений в цинизме», возражает тем, кто обвинял Бабеля, что «он видит казаков еврейскими глазами, полными ужаса и презрения глазами жертвы погромов».

Йоффе подробно разбирает статью о «Конармии» Александра Воронского в «Красной нови» (№ 5, 1924). Воронский пишет, что все с нетерпением ждали новых рассказов Бабеля, и, «несмотря на то что Бабель был попутчиком, а не настоящим большевиком, его рассказы считались одними из самых выдающихся в русской литературе постреволюционного времени».

Йоффе пишет об обвинениях Бабеля в натурализме (этот термин в советской жесткой критике позднее сменили обвинения в космополитизме, отмечает Йоффе) и пересказывает объяснения Воронского: новая действительность, более удивительная, чем любая фантазия, пробуждала в Бабеле неутолимое любопытство. Далее Йоффе пишет об аргументах Воронского против тех, кто обвиняет Бабеля в отсутствии исторической перспективы и широкого полотна, увековечившего бы Конармию. Воронский пишет, что, в отличие от реалиста Л. Толстого, Бабель — импрессионист, несмотря на свой реалистический взгляд на происходящее.

Далее Йоффе переходит к полемике между Горьким и Буденным, который обрушился на Бабеля в журнале «Октябрь» (№ 3, 1924) и обвинил Бабеля в бабизме (игра слов на основании сходства фамилии Бабеля со словом «баба»), в женской

мягкотелости и слабости. Горький выступил со статьей «Как я научился писать» («Правда». 30.9.1928), которую Йоффе цитирует в своем переводе. Затем приводит содержание ответа Буденного («Правда». 26.10.1928 и затем перепечатка в «Красной газете») и снова — ответа Горького («Правда». 27.11.1928), где Горький вступается за литературную справедливость и доказывает ценность рассказов Бабеля.

«Среди тех, кто отрицал ценность рассказов Бабеля, был и писатель Всеволод Вишневский», — пишет Йоффе, сообщая, что 23 марта 1930 года тот послал Горькому свою книгу «Первая конная» и сопроводительное письмо, которое цитирует Йоффе и которое касается полемики Горького с Буденным.

Далее Йоффе посвящает читателя в отношения между Дмитрием Фурмановым (1891–1926), автором книги о Чапаеве, и Бабелем, пишет об их дружбе, разнице их писательских методов, о влиянии, которое оказал Бабель на Фурманова, уча его тщательно шлифовать написанное, сокращать, редактировать по многу раз.

Йоффе цитирует те дневники Фурманова, в которых написано о Бабеле, а также тетрадь с заметками о писателях и книгах, хранящуюся в архиве Фурманова, есть в ней и запись о Бабеле. Йоффе сообщает, что 15 марта 1936 года Бабель выступил с речью о Фурманове (к 10-летию со дня смерти), и цитирует его слова: «Страницы книги Фурманова [„Чапаев“] распахнулись, и из них вышли живые люди, настоящие герои нашей страны, настоящие дети нашей страны».

Рассказывая о нападках на Бабеля, Йоффе пишет: «Бабель всегда умел хранить свое достоинство, никогда не сгибался и не кланялся, не бил себя в грудь, каясь в грехах, и не обещал исправиться, как делали в СССР в его время многие замечательные люди».

«В 1928-м, спустя всего почти пять лет после выхода его первых зрелых рассказов, появился сборник статей о его творчестве в издательстве „Академия“, и в нем три статьи: Н. Степанов, „Бабель и короткий рассказ“, Н. Новицкий, „Бабель“ и Г. Гуковский, „Закат“. Но показ фильма по его рассказу „Беня Крик“ был запрещен властями, за несколько месяцев до того».

Слава Бабеля распространялась быстро — и пристальный взгляд режима заметил творчество талантливого писателя. Йоффе цитирует письма Бабеля к сестре, где Бабель отрицает, что давал интервью польской реакционной газете, сообщает, что Бабель удостоился «виллы в Переделкино, рядом с Пастернаком», где и был арестован. Пишет о работе Бабеля над киносценариями, а также: «Осенью 1938 года он берет на себя редактуру русского

издания сочинений Шолом-Алейхема и назначается главой редакции в государственном издательстве».

Далее Йоффе пишет об аресте Бабеля и неясных обстоятельствах его гибели. Благодаря имеющимся у него историческим познаниям А. Б. Йоффе рисует портрет именно еврейского писателя, способного добиться признания и славы в российском обществе, получить дачу рядом с известным литературным деятелем и при этом заниматься редактированием русских переводов Шолом-Алейхема. Борис Пастернак, известный писатель и поэт, по рождению еврей, однако ни его литературное творчество, ни культура, к которой он принадлежал, не были выраженно еврейскими. В то время как Бабель вплетал еврейскую тему и еврейские образы практически во все свои рассказы и пьесы, Пастернак писал скорее о проблемах, волнующих всех жителей России, нежели о проблемах носителей двух культур, русской и еврейской, и борьбе в поисках идентичности, пронизывающей все творчество Бабеля. На некоторых проблемах его национального самоопределения и восприятия Пастернака в ивритской среде мы останавливались выше.

Это образ писателя, который может жить в любом районе города и при этом не скрывает своей любви и интереса к еврейской теме, еврейским образам, даже когда находится в поле зрения публики, работая над государственным изданием еврейских авторов, и для которого тем не менее его еврейство является неотделимой частью творчества. И может быть, самое главное — писателя, который продолжает мечтать о том, что советское общество породит современного человека, интернационалиста с Мопассаном в одной руке и Шолом-Алейхемом — в другой, показывает нам внутреннюю борьбу. Чтобы покончить со старым миром, понадобилась кровь, пролитая во время погромов; как только революция очистит общество, она сможет заняться созданием идеала. И когда эти мечты разлетелись вдребезги, Бабель умолк. Йоффе, кажется, все это учитывает, когда делится своими мыслями с ивритскими читателями.

В последней части своей обстоятельной статьи Йоффе пишет о сборнике рассказов Бабеля с предисловием И. Эренбурга (1957) и о том, что после «оттепели» споры о творчестве Бабеля не утихли — после выхода сборника появился А. Макаров со старыми нападками на Бабеля: «Название „Конармия“ не отражает содержания книги…» Йоффе пишет, что Макаров считает Бабеля слишком увлекшимся психологией, боящимся жестокости и в подтверждение своих слов искажает тексты Бабеля.

Здесь стоит прерваться, чтобы воссоздать контекст упоминания имени Эренбурга в статье Йоффе. Это была острая и непростая ситуация.

Отношения Ильи Эренбурга с Бабелем заслуживают особого внимания, ибо в числе прочего для широкого круга зарубежных читателей и политиков он был одним из символов наступающей либерализации в СССР и видным советским заступником евреев.

Вот что пишет Борис Фрезинский в своей книге «Об Илье Эренбурге: Люди. Книги. Страны»: «В мемуарах Эренбурга „Люди, годы, жизнь“ есть такое признание: „Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня; их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви“.

Эренбург называет эти два имени, и первым — Бабеля, встреча с которым состоялась в Москве в 1926 году».

Фрезинский в живых подробностях описывает реабилитацию Бабеля в 1954 году — одного из первых писателей, реабилитированных после смерти Сталина в 1953-м. Цитируя разговоры с вдовой Бабеля А. Н. Пирожковой, которая уже работала над воспоминаниями о годах, прожитых с Бабелем, Фрезинский замечает, что Пирожкова начинает добиваться восстановления доброго имени Бабеля в январе 1954 года — немедленно, как только стала возможной реабилитация миллионов безвинно пострадавших, осужденных за несуществующие преступления.

Когда ее спросили, кто может написать письма в поддержку реабилитации, она в числе прочих назвала Эренбурга; на основании труда С. Поварцова, где «дело» Бабеля описывается в деталях и подробностях, Фрезинский утверждает, что именно разговор с Эренбургом ускорил реабилитацию Бабеля.

Бабель был официально реабилитирован 18 декабря 1954 года, после чего при Союзе писателей была создана комиссия по его литературному наследию.

В 1957 году Эренбург написал большую статью из шести разделов, занявшую почти шесть подвалов в двух номерах «Литературной газеты»; в третьем разделе Эренбург пишет, отвечая на заявление итальянского критика о прискорбном состоянии российской печати, в которой уже десятки лет не публикуются выдающиеся российские авторы: «Да, у нас почти двадцать лет не печатали Бабеля, скупо и неохотно переиздавали стихи Багрицкого… Как бы ни были различны творческие

индивидуальности Бабеля, Багрицкого, Ильфа и Петрова, все они были глубоко советскими писателями и вдохновлялись советским народом. Судьба Бабеля трагична: его оклеветали и погубили низкие люди. Вскоре выйдут в свет его сочинения, прочитав их, каждый увидит, насколько этот писатель был связан с советским мироощущением…»

Однако ни реабилитация Бабеля, ни страстное описание Эренбургом произведений Бабеля как трудов советского писателя, верящего в революцию и несправедливо осужденного вместе со многими другими жертвами того времени, не спасли книги Бабеля от повторного запрета.

Эренбург написал предисловие к однотомнику Бабеля, но выход книги в свет был отложен. Девятого августа 1957 года Эренбург написал секретарю ЦК КПСС П. Н. Поспелову о том, что французские, венгерские и итальянские издатели интересуются его вступлением к сборнику Бабеля, но разрешение на публикацию никак не удается получить.

Седьмого сентября 1957 года во избежание международного скандала разрешение было подписано. Сборник издали тиражом семьдесят пять тысяч экземпляров, и его практически невозможно было купить. Предисловие Эренбурга было также напечатано во французском и итальянском изданиях и воспроизведено в других книгах писателя.

Но ожидаемой реакции не произошло. Двадцать седьмого декабря 1957 года заведующий отделом культуры Д. А. Поликарпов подписал «Записку отдела ЦК КПСС об ошибках предисловия И. Г. Эренбурга к однотомнику сочинений И. Э. Бабеля».

В записке официально заявлялось, что предисловие «… написано с групповых позиций и не дает объективного представления о писателе… И. Эренбург искусственно возвышает… И. Бабеля, подчеркивая его „особый талант“, „особое восприятие мира…“. В статье ни слова не сказано о противоречивости творчества Бабеля, о его ошибках и заблуждении».

Кто бы подумал, что такое возможно? В докладной записке также указывалось, что журналы «Вопросы литературы» и «Знамя» должны заняться анализом и публикацией ошибок, сделанных Эренбургом в хвалебной статье про Бабеля; далее настоятельно рекомендовалось, чтобы «Литературная газета», где Эренбург напечатал свою обширную статью, пересмотрела свой взгляд на ценность его комментариев.

На следующий же день секретарь ЦК П. Н. Поспелов поставил на докладной записке резолюцию: «Согласен», превращая ее в

директиву ЦК, обязательную к выполнению. Ее выполнили: «Литературная газета» (24.04.1958) и «Знамя» (№ 4, 1958) обрушились на Эренбурга за то, что он посмел хвалить Бабеля.

В статьях формально сохранялась крупица уважения к таланту Бабеля, но проведенный Эренбургом анализ влияния и литературного стиля Бабеля смешали с грязью; что гораздо хуже, манера письма Бабеля объявлялась устаревшей («На манере этого писателя явственно сказалось влияние декадентской литературы предреволюционных лет»).

Авторы статей дошли до того, что обвинили Бабеля — по тем временам такое обвинение было равносильно удару ножа в спину — в том, что его произведения содержат «неясность, запутанность мировоззрения». Они назвали Бабеля «далеким от народа» человеком, не понимающим идеалов и целей революции. Разгром был полным. Несмотря на официальную реабилитацию, видимую влиятельность Эренбурга и его выступление в защиту Бабеля, советская цензура не допускала книги Бабеля в печать.

Из-за описанных событий и официального осуждения любых положительных отзывов о Бабеле — «человеке, который не понимает революцию» — пройдет еще десять лет, пока государство разрешит публиковать его произведения.

Эренбург, несмотря на все нападки, предпринимал всяческие усилия, чтобы воскресить память о Бабеле. По большей части, кроме строго ограниченных эмоциональных выплесков в мемуарах, эти неустанные усилия обеспечили базу для будущих публикаций. Пройдут еще десятки лет после официальной реабилитации Бабеля, прежде чем его публикации станут легко доступны мировому читателя, и вынужденное молчание Бабеля продолжалось. Произведения Бабеля были слишком влиятельны, и власти не могли рисковать.

Таким образом, мы видим: израильская критика постоянно откликается на все перипетии возвращения Бабеля в литературу.

Советская печать находится под пристальным вниманием израильских литераторов, владеющих русским языком.

В последнем абзаце Йоффе ссылается на статьи о Бабеле в книгах «История русской советской литературы» (1963) и «Очерки истории русской советской драматургии» (1963) и на воспоминания о Бабеле Паустовского, Эренбурга, а также на статью «К творческой биографии Исаака Бабеля» Л. Лифшица в «Вопросах литературы» (1964). То есть израильский автор внимательно отслеживает появление имени Бабеля на страницах книг, которые знаменовали отказ от сталинской схемы истории советской литературы и учитывали процесс реабилитации и возвращения к читателям погибших классиков. То же самое

касается и мемуаров, и статьи о Бабеле на страницах одного из главных литературоведческих журналов «Вопросы литературы».

Упоминает Йоффе публикации в еврейских и нееврейских периодических изданиях за 1964 год, чтобы показать значительность Бабеля в русской советской литературе.

Разумеется, важнейшим событием для чисто ивритского восприятия творчества Бабеля был выход в свет сборника его произведений на иврите. Так как сам процесс перевода является специфической формой рецепции, тем более в переводах Авраама Шленского, мы выделяем эти рецензии в особый раздел.

Авраам Шленский переводит Бабеля

Бабель И. Сипурим (Рассказы). Серия «Шедевры мировой литературы» / Пер. А. Шленского. Тель-Авив: Сифрият поалим («Библиотека трудящихся»), 1963. С. 348.

«Ицхак Бабель на иврите». Заметка начинается так (перевод с иврита):

«Когда впервые были опубликованы рассказы Ицхака Бабеля (около сорока лет назад в подлиннике, по-русски, и около тридцати лет назад — в английском переводе), многие были удивлены и самим фактом существования еврея в армии красных казаков, и тем, каковы были эти рассказы того „еврейского казака“. Однако со временем никто о нем больше не слышал, он стал жертвой сталинских репрессий, и имя его забылось. Сейчас увидели свет рассказы этого русско-еврейского писателя в превосходном переводе на иврит».

* * *

Здесь мы даем публикации важной для нашей темы статьи, прерывая общую хронологию статей о Бабеле в Израиле.

Публикации в газете «Давар» и ее дочерних изданиях.

«Давар» — газета на иврите, издаваемая «Гистадрутом» с 1925 по 1995 год. Первая ежедневная газета израильского рабочего движения, посвященная проблемам ишува, сионизма, профсоюзного движения в стране, а также международного социализма и мировой политики.

Главными редакторами газеты «Давар» были выдающиеся политические деятели левого лагеря Берл Кацнельсон (в 1925–1944), З. Рубашов (будущий президент Израиля Ш.-З. Шазар; в 1944–1952), Х. Шурер (в 1952–1966), И. Готхельф (в 1966–1970),

Ханна Земер (с 1970). В ней сотрудничали М. Бейлинсон, Э. Штейнман, Н. Альтерман, Лея Гольдберг, Рахель и другие известные публицисты, писатели, общественные деятели.

Газета выпускала многочисленные приложения: «Давар: Палестайн лейбор уикли» («Еженедельник трудящихся Палестины») (1929–1931) — еженедельник на английском языке; «Давар» на немецком языке (1931); детский еженедельник «Давар л-иладим» («Разговор с детьми», с 1931), экономическое обозрение «А-мешек а-шитуфи» («Объединенное хозяйство») (1932–1948, возобновлен в 1953); ежемесячник для женщин «Двар а-поэлет» («Работница») (с 1934); иллюстрированный еженедельник «Двар а-шавуа» («Еженедельник») (с 1946); первую в Эрец-Исраэль огласованную ежедневную газету на «легком» иврите «Хеге» (1940–1947; с 1951 выходила под названием «Омер») — приложение для новых репатриантов. В этих изданиях перепечатывались статьи и заметки Бабеля, о Бабеле, особенно те, что имели отношение к советской или мировой литературе.

Газета «Давар» начала интересоваться изданиями Бабеля еще до того, как появились советские периода «оттепели» или ивритские книги писателя.

«Давар». 1955. 2 сентября. Заметка о выходе в свет английского перевода рассказов Исаака Бабеля: США, изд. Критерион, пер. Вальтера Морисона. Подпись: א. הד

«Бабеля, „еврейского писателя-революционера“, в дореволюционное время поддержал Горький. (Согласно традиционной интерпретации советского литературоведения, Бабеля принято было помещать в разряд сочувствующих революции писателей. Это особенно знаменательно во времена холодной войны. — *Д. Р.*) Пять лет участвовал в Гражданской войне и удостоился большой популярности с выходом в свет „Конармии“… На Первом съезде писателей в 1934 году Бабель заявил, что он изобрел новый литературный жанр — искусство молчания — и даже дерзнул потребовать, чтобы писателю дали право писать плохо. Из остальной речи Бабеля ясно: это была явная хитрость, если не прямой выпад в сторону советских властей за подавление творческой свободы талантливых писателей, которые уже не могли свободно воплощать свою творческую энергию, но вынуждены были склоняться под жесткое ярмо советской идеологии и цензуры. Возможно, что автор об этом хорошо знал и использовал слова „писать плохо“ как метафору печального результата революционной диктатуры. Иначе говоря, лишь бы он писал о том, что сам чувствует, пусть даже пишет о своих заблуждениях. Неудивительно поэтому, что в 1937 году он был арестован и два года спустя погиб в

концентрационном лагере. (Если бы не покровительство Горького, его бы уничтожили еще раньше.)».

Это написано в 1955 году, однако автор не только находится в неведении относительно подлинных фактов смерти Бабеля, но и ставит свою собственную теорию с ног на голову — превращение Бабеля из писателя, приверженного советской идеологии, в кровавую жертву сил той самой революции, которую он когда-то поддерживал, о которой писал со страстью и которую в каком-то смысле приближал (или, во всяком случае, в которой никогда не сомневался в публичных выступлениях, принимая ее в оглушительном молчании).

Автор заметки приводит фрагменты из рассказа «Гедали» в своем ивритском переводе, пишет далее, что появление сборника было отмечено в американской печати, и ссылается на мнение Людвига Льюисона из «Сатердей ревью», что Бабель пишет не рассказы, а зарисовки, что особенно проникновенны его рассказы о евреях, но и там ему не хватает обстоятельности и детальной разработки сюжета.

Тем, кто читал «Гедали» целиком, трудно понять, почему критик считает, что Бабелю «не хватает обстоятельности и детальной разработки сюжета»: этот блистательный короткий рассказ вмещает в себя все ужасы погромов и в полной мере описывает всю силу борьбы, бушующей в душе писателя, — борьбы между его еврейством и глобальным миром коммунизма, в который он когда-то верил и который поддерживал. Очень мало кто из писателей того времени мог выполнить эту задачу с подобной мощью. Скорее всего, это бессмысленное и необоснованное замечание было продиктовано политическими или идеологическими интересами автора статьи (анонима, скрывшегося под инициалами).

Интересно заметить, что профессор Гарвардского университета Рут Вайс в своей работе «No Joke: Making Jewish Humor» пишет об этом же самом рассказе Бабеля следующее: «„Гедали“… основан на том, что было пережито самим Бабелем, когда он выступал в роли агитатора за советскую власть. Лирический герой рассказа, Лютов, служит в Красной армии, которая с боями пробивается в Польшу, притесняя (это еще очень мягко сказано) еврейское население захваченных городков и местечек. Как-то в пятницу вечером Лютов заводит разговор с Гедали, хозяином еврейской лавчонки, который пытается и не может понять, как декларируемые намерения революции вяжутся с варварским поведением ее защитников. Старый еврей жалуется: „Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают… Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и

приправляют лучшей кровью…“»

«Еврейское выражение Гедали, — продолжает Вайс, — *„mit vos est men es“*, идишское „с чем его едят“, переведенное в рассказе на русский язык, передает всю степень духовного сродства, до сих пор существующего между двумя собеседниками столь различных политических взглядов, а также между самим автором, Бабелем, и его родным языком и культурой, которые он так старается подавить. Ответ Лютова жестокостью не уступает зверствам казаков. Из всех апологетов большевизма, пожалуй, никто не принял на себя такой груз вины, как этот еврейский писатель из Одессы, сердца еврейской общины, который в конце концов действительно приправил революцию лучшей кровью — своей собственной. Бабель преувеличивал свое пособничество злу, чтобы выжать всю возможную иронию из парадоксальной ситуации, в которой еврей, говорящий на идише (он сам), оправдывает насилие, творимое казаками, перед собратом-евреем, с которым затем празднует субботу».

Без сомнения, полвека спустя, когда английские (а также иврито- и идишеязычные) литературоведы читают Бабеля, от них не укрывается контекст противостояния русской и еврейской идентичностей и то, как эти два мира сражаются между собой, сплетаются и в конце концов, несмотря на все усилия Бабеля, не могут слиться воедино.

* * *

Зусман Э. Беседы с Ицхаком Бабелем (К 20-летию со дня смерти русско-еврейского писателя) // Давар. 06.04.1961. С. 7.

Эзра Абрамович Зусман (1900–1973), писавший под псевдонимом Эзра Александров, в 1922 году уехал из России в Палестину, где начал писать стихи на иврите. Он перевел на этот язык прозу и поэзию Ахматовой, Пастернака, Багрицкого, Мандельштама и Иосифа Бродского. А также стал театральным и литературным критиком (сотрудничал в газете «Давар»), писал собственные эссе и стихи. Зусман с юности записывал воспоминания о своих литературных друзьях; многие из этих воспоминаний были обработаны как тематические статьи для «Давара». О Бабеле Зусман написал следующее: «С Исааком Бабелем наша дружба не завязалась. Он был старше, и тогда мне казалось — намного. Он выглядел старше своих лет. Его опыт в Гражданской войне тоже делал его умудренным. И действительно, он был самым умным, то бишь мудрым, несмотря на то что был так легок на шутки и вольности одесской речи,

одесского наречия. Он вернулся после Гражданской войны в Одессу, как человек возвращается домой после войны — усталый и грустный, так он выглядел. Но его страсть к жизни, любовь к солнцу, к морю, к порту, к его биндюжникам, к его героям прорывалась в его лице, в его глазах, за стеклами очков — в разговоре. Его большой, открытый лоб, и очки, и сосредоточенный взгляд придавали ему — иногда — образ так называемого талмудиста. Но в его фигуре, невысокой, крепко сбитой, чувствовалась сила. Ничего от богемы, от писателя-поэта-декадента тех времен. Стихи он не очень любил, иногда отмахивался от них; помню, раз после какого-то чтения сказал мне, что иногда просто их не понимает. Считал себя реалистом и не любил „романтику“, хотя Горький назвал его романтиком. Он не знал, что писал „Конармию“, как пишет поэт. В те годы „Конармия“ была уже написана, но не напечатана. В Москве была известна только пара отрывков из нее. Но в Одессе он уже был на правах классика. Классик революции, Гражданской войны… Мы встречались часто в Союзе на устных чтениях. Его переходы от веселости и задора к грусти, к печали, еврейско-русской, были иногда бурны. Его суждения о литературе были кратки и определенны. Я помню, как темной ночью мы возвращались после следующего какого-то чтения по городу без фонарей, [который] выглядел какой-то каменной пустыней. Он выругал автора неудачного рассказа, помолчал, а потом процитировал фразу на еврейском, языке Библии».

Зусман пишет в своей статье в «Даваре»: «…Он был молод, но крыло усталости уже простиралось над ним. Веселый и печальный одновременно, и как не быть печальными его глазам, которые столько раз видели смерть. Убийства, и гибель, и бурное цветение деревьев и диких трав. Это — печаль тех, кто возвращается. Солдат, возвращающихся с фронта. Его язык остер и забавен, порою позволяет себе странные грубости, русский язык в разных его говорах с примесью фольклора и жаргона одесских окраин. Он много шутил, но, как мне кажется, надежды его были серьезны».

Тут надо снова вспомнить статью Рут Вайс: «Из всех апологетов большевизма, пожалуй, никто не принял на себя такой груз вины, как этот еврейский писатель из Одессы, сердца еврейской общины, который в конце концов действительно приправил революцию лучшей кровью — своей собственной. Бабель преувеличивал свое пособничество злу, чтобы выжать всю возможную иронию из парадоксальной ситуации, в которой еврей, говорящий на идише (он сам), оправдывает насилие, творимое казаками, перед собратом-евреем, с которым затем

празднует субботу…»

Зусман продолжает: «В те дни, вскоре после Гражданской войны, в самом начале нэпа, он был одним из редакторов РОСТА (Российского телеграфного агентства). Но это агентство не столько публиковало новости, сколько вело массовую пропаганду против любой контрреволюции. Бумаги для газет не хватало, и потому в РОСТА печатали настенные плакаты. Эдуард Багрицкий, поэт-еврей с убийственным остроумием, как-то пошутил: „Короста — кожная болезнь, а РОСТА — настенная болезнь“.

Несколько писателей, и среди них Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев (он тогда писал стихи), и несколько молодых художников нашли в РОСТА легкий заработок. Управлял этой организацией поэт-большевик и член партии Нарбут, высокий однорукий мужчина. На первом этаже здания юные поэты и художники сражались с „гидрой“ контрреволюции, пригвождали к позорному столбу кулаков, священников (раввинов тогда пока не трогали!) и всяких спекулянтов. Исаак Бабель сидел на втором этаже и редактировал газету и литературные выпуски по случаю революционных дат. Помнится, однажды я принес ему длинную поэму, написанную пушкинскими ямбами. Там говорилось об утре дня Октябрьской революции в Ленинграде, гимн разгорающемуся свету, рождающемуся из серого осеннего утра, о воодушевленной поступи матросов и фантастическом образе оленя, летящего в вышине, „сплетающего своими корнями над водою символ высоких и грозных дней“.

„Сядьте, я расскажу вам, какой свет и какое утро были тогда в Ленинграде“, — сказал мне Бабель, окончив чтение. И своим точным прозаическим языком описал серый осенний день, влажный, мутный, совсем не героический день, когда грянула революция, определившая судьбу страны и эпохи. Автор точной прозы, правда, насыщенной воображением и поэзией, он не был сторонником романтической свободы, когда это касалось исторической правды, коей он был свидетелем. Я пробовал защищать иное видение. Он был серьезен, добродушен, и на губах его играла легкая усмешка еврейского мудреца. Поэма вышла без изменений, но устные замечания Бабеля не давали мне покоя. Образ сияющего оленя как-то потускнел».

Бабель, который понимал и видел разворачивающиеся события, вкладывая их описания в уста выбранных им героев без всяких прикрас, тем не менее допускал (может быть, интуитивно понимая, что у него нет другого выбора, — понимая, что успех революции зависит и от того, как народу преподнесут волшебные сказки о славе «мутных, серых дней», что историю нужно писать и обнародовать в романтизированной манере, полной

преувеличений. Однако, к его большой чести, следует сказать, что он никогда не позволял себе такой расплывчатости взглядов (за что и поплатился впоследствии), фиксируя события и то, как он их видел внутренним взором, с точностью и талантом, отражавшими истину, не изменяя ее и не подличая перед теми, кто старался диктовать другим предписанный образ мышления.

«Бабель любил поэзию, — пишет Зусман, — и острее других чувствовал ритм фразы, был чуток к поэтической метафоре, но боялся чрезмерной поэтичности, пустословия и неточного смысла.

„Я не понимаю“, — сказал он как-то, прочтя стихотворение, а на самом деле он многое понимал. У него широкий лоб, глаза словно прячутся (носил ли он уже тогда очки?), во рту неизменная трубка, губы всегда в скептической, насмешливой гримасе, чувственные, печальные. Он жаден к жизни, жаден к цветам и запахам портового города, плененный ароматами восточных пряностей, привезенных из Греции и Турции. Ему нравились маленькие распивочные в порту, и пусть жизнь порта почти остановилась, море навевало голодному городу уныние и тоску».

Упоминанием о том, что Бабель знал иврит и цитировал Экклезиаста (то есть книгу Коелет), и упоминанием другого еврейского революционера, который в отличие от Бабеля покончил с собой, Зусман пытается в своем воспоминании о событиях того вечера подражать Бабелю, а также завоевать симпатию израильско-еврейского читателя и заставить его идентифицировать себя с одним из героев повествования.

Зусман продолжает: «Большевизм и древняя еврейская мудрость перемешались в нем, как они перемешались в некоторых его еврейских революционных персонажах. Таким он был в одну темную ночь, когда шел по пустынным, с потушенными огнями улицам города, в безмолвии насыщенном страхами, сиротством и террором, после какого-то чтения вслух на публике, что было тогда очень принято. Я не помню, что было раньше и что случилось потом, но это помню четко: в беззвездном сумраке ночи раздается голос Бабеля, словно издалека пришедший и вдаль уходящий, голос, цитирующий стихи из Экклезиаста по-русски и на иврите. Что он вспомнил в ту темную слепую ночь? Может быть, „все реки текут в море, а море не переполняется… Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем“? Я не видел его лица. Мы шли в темноте вместе, и с нами — Андрей Соболь, еврей, ставший революционером еще до революции, который впоследствии покончил с собой. Евреи Коелета революции, прозревающие на своей судьбе суету и

томление духа.

В последний раз я видел его на вокзале, когда он пришел проститься со своими друзьями-писателями, отправлявшимися в Москву. Сам он хотел как можно дальше отложить срок своей поездки в столицу. Юг отставал от развития событий в центре, и для Бабеля это было временем передышки. На юге еще буйствовали краски. Самые разные цвета, брожение жизни источало пары и запахи, и чувствовался аромат такого редкого по тем временам хлеба. „Я не хочу ехать в Москву… Большевизм — да, коммунизм — нет“, — сказал он, стоя рядом с поездом, направлявшимся из Одессы на север».

Рут Вайс проницательно замечает: «Для Бабеля его родной город Одесса всегда будет служить необходимым спасительным пристанищем. Как отмечено в письмах Бабеля матери и сестре, он всю жизнь оставался влюбленным в этот город, здесь он чувствовал себя дома, и работалось ему здесь лучше всего. Далеко от „усатого“ и его сподручных (столь живо описанных Мандельштамом в известном стихотворении, за которое, скорее всего, он и поплатился жизнью). Бабель… предсказал, что российский „литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет (из Одессы. — *Д. Р.*) — из солнечных степей, обтекаемых морем“. Он говорил о себе, родном сыне этого еврейского города».

Зусман: «Какой смысл вкладывал он в эту фразу, столь часто повторяемую простыми людьми и солдатами, видевшими в коммунизме врага большевизма? В большевизме он, как и его друг Багрицкий, видел жизнелюбие, стремление к справедливости, чувственно ощущаемое обновление, а возможно, и выход из удушливого еврейского бытия. А что же такое был этот коммунизм, который уже тогда вызывал у него недоверие и отвращение? Он не ошибся в своих предчувствиях. Москва ничего не добавила его творчеству».

Зусман намеренно играет в опасные игры со своими читателями, лояльными к коммунизму и, скорее всего, не видящими и не понимающими разницы между послевоенными политическими коннотациями слов «большевизм» и «коммунизм», но тем не менее достигает своей цели, так как (Зусман страстно отстаивает эту точку зрения) именно это характеризует другую причину раздора в душе Бабеля. Первой причиной была борьба между его еврейством (которое он знал и пытался подавить в себе и которым в то же время восхищался) и попытками примирить это еврейство с революционными идеалами, в которые он так искренне верил — то есть верил до тех пор, пока своими глазами не увидел, какую цену требует революция и какой косный,

нетворческий, стиснутый жесткими рамками, безжалостный продукт она производит. Вторая причина — борьба между революцией (большевизмом) и порожденным ею дитятей, коммунизмом. Дитятей, которое Бабель не только ненавидел со страстью, но в конце концов полностью перестал с ним общаться. Это решение в конечном счете и привело его к смерти. На вокзале Одессы Бабель прощается с Олешей и Катаевым, уезжающими в Харьков в вагоне РОСТА. Он кажется одиноким на вокзальной платформе. На вопрос: «Ну, когда вы в Москву?» — Бабель отвечает коротко и категорически: «В Москву — нет. Большевизм — да. Коммунизм — нет». Да и нет. И без всяких между. Для него Одесса была еще большевизмом. Он считал себя большевиком. И он остался в ней еще три года. По существу, все его творчество было связано с Одессой: лучшее было написано здесь, переписано здесь и связано с этим городом, как «Одесские рассказы». Москва не прибавила почти ничего к этому. В Москве он культивировал, главным образом, искусство молчания и достиг в этом высоких результатов. В Москве он занимался разными подсобными ремеслами. Письмо, которое в Одессе было естественным, внутренним, интуитивным, стало проблемой. Больше, чем писал, он переписывал, правил.

Зусман в своей статье продолжает: «Все, что он создал, было написано им в годы армейского большевизма и в первые послереволюционные годы. Потом были лишь дополнения, завершения, росла и делалась все более тяжкой усталость, присущая ему с молодости. Но и прежде она не была незрелой. В нем никогда не было незрелости. Он всегда был зрелым, умудренным еврейской мудростью, познавшей многие бедствия и страсти. Он не мог стереть насмешливо-брезгливое выражение на своем лице, и не исключено, что оно стоило ему жизни».

* * *

Зусман Э. Ицхак Бабель — известный и неизвестный (К 70-летию со дня рождения) // Давар. 1964. 9 октября. С. 6–7.

(יצחק באבל — הידוע והבלתי ידוע)

«Литературная биография Ицхака Бабеля словно бы рассечена на две части: короткий период творчества и долгий период молчания. О его молчании рассказывали истории и анекдоты, обсуждали даже на съезде писателей. Сам Бабель относился к нему болезненно, шутил по его поводу и даже гордился им. Самое поразительное, что он был в разгаре славы, его ценили писатели и читатели, все прислушивались к его голосу, и он в ответ — молчание. То было добровольное, а не вынужденное молчание, не то, что приходит на закате жизни. По сути, все его произведения — „Конармия“, „Одесские рассказы“ и „Закат“ были написаны до 1926 года. После этого и вплоть до смерти добавилось еще несколько коротких рассказов. Что же скрывается за этим упорным молчанием? Какие намерения, какие внутренние изменения, какие счеты с прошлым и планы на будущее стали тому причиной? В чем смысл этого добровольного отказа, этой жизни вне Москвы, в нужде и одиночестве и попытках прокормиться нелитературным трудом — этот вопрос мучил и мучает многих в его стране.

В целом интерес к Бабелю и его творчеству неизмеримо более велик, чем можно было бы судить по официальным данным и изданиям его книг».

С тех пор как эта статья Зусмана была написана, выходили книги и статьи, рассказывающие о некоторых аспектах жизни и судьбы Исаака Бабеля, но по состоянию на 2014 год полная биография автора, который, без сомнения, заслуживает внимания писателей-биографов, до сих пор не создана.

Зусман: «С его славой не сравнятся многие провозглашенные знаменитыми имена, и потому никак не переиздадут сборник его избранных произведений — сборник, вышедший несколько лет назад и в считанные дни исчезнувший с книжных прилавков.

В последние месяцы были опубликованы несколько вещей Бабеля, частью новые, частью — „позабытые“, не вошедшие в его „Избранное“. Лондонский ежемесячник „Энкаунтер“ опубликовал рассказ, никогда не публиковавшийся по-русски (он увидел свет в английском переводе в 1927 году в советском англоязычном ежемесячнике „Зарубежная литература“), — „Мой первый гонорар“, один из лучших образцов бабелевской и советской

прозы вообще, в полном соответствии с чеховской традицией — без гипербол, прозрачно, просто и многопланово, с юмором и глубоким завуалированным лиризмом, пронизывающим все произведение.

В десятом номере журнала „Знамя“, выходящем в Москве, к 70-летию со дня рождения был опубликован цикл „забытых рассказов“ Бабеля, и среди них три, что вошли в израильский сборник блестящих ивритских переводов Шленского („Сифрият поалим“): „Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна“, „Мама, Римма и Алла“ и „Гапа Гужва“. Сюда же добавлен „Шабос-Нахаму“ из цикла „Гершеле“ (имеется в виду легендарный еврейский шутник и остроумец Гершеле Остропольер) — типично бабелевский рассказ: беспощадный юмор гротеска, сочные краски фольклора, народный материал и мастерство лаконического изложения, богатство метафор и точность характеров. Короткий рассказ „Вечер у императрицы“ (из дневника) рисует визионера в революционном городе. Реальность и вымысел вместе образуют фантасмагорию, которая в мгновение ока преобразует исторический ход событий; каждая фраза чарует, и такая краткость, что короче, кажется, и сказать нельзя».

Следует заметить, что именно журнал «Знамя» после реабилитации Бабеля опубликовал разгромный отзыв на его книгу и на предисловие к его сборнику, написанное Эренбургом. «Знамя» обзывало Бабеля декадентом, писателем с дореволюционным сознанием, не понимающим ни целей революции, ни советского литературного сообщества, порожденного революцией. И здесь вновь, как в случае с прямыми совпадениями с письмами Бабеля к семье в предыдущем случае, мы не можем не отметить, что израильские авторы, особенно связанные с русским языком и культурой, были хорошо осведомлены обо всем, что происходило вокруг имени Бабеля и в СССР, и за границей.

Зусман: «Самый сильный среди этих рассказов „Фроим Грач“, своего рода трагический финал „Одесских рассказов“. Его герой — старый еврей, громадный и могучий, он „был истинным главой сорока тысяч одесских воров“ (типично бабелевское преувеличение!), по собственной воле пришел в ЧК с просьбой отпустить его парней, а его там хладнокровно убили без суда и следствия. У мощного рыжеволосого трупа солдаты, только что пустившие его „в расход“, ведут разговор о смерти, а присланный из Москвы начальник ЧК в это время утешает местного следователя, еврея Борового: „Ответь мне как чекист… ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе? — Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо

перед собой, — наверное, не нужен…“

Все эти рассказы, даже самые замечательные, ничего нового не добавляют к известному творчеству Бабеля. Все они относятся к тому же плодотворному периоду его жизни, и им не дано пролить хоть каплю света на жизнь писателя во второй, покрытый мраком и безмолвный ее период. Новое узнаем из писем Бабеля, которые опубликованы в том же номере московского журнала. Их невозможно читать без волнения. Я читал и перечитывал их, и передо мной приоткрылась жизнь, полная мук и терзаний, смысл которых все еще трудно понять до конца. И если они не объясняют суть молчания, в них есть описания, касающиеся битвы, которую вел писатель.

Письма изобилуют бытовым, почти банальным материалом, но у Бабеля он обретает символическое значение. Уже в письмах из Парижа в 1927 году (он проживал там временно в связи с семейными обстоятельствами) различимы отголоски кризиса, знак жуткого происходящего. Речь идет о деловой сфере: писатель взял авансы в разных журналах и не возвращает долги. „Новый мир“ ежемесячно платит ему зарплату, а он не дает обещанный материал. Он все откладывает, обещает, называет сроки, снова просит отсрочки. Редактор „Нового мира“ Полонский — милый человек, Бабель высоко его ценит, и оттого переговоры с ним еще мучительнее: „Рассказы, которые я Вам буду посылать, являются частью большего целого. Я работаю над ними вперебивку, по душевному влечению“, — писал он В. Полонскому».

Далее Зусман пересказывает и цитирует другие письма Бабеля из «Нового мира», особенно останавливаясь на душевной невозможности писать и материальных затруднениях писателя.

* * *

Двадцать шестого марта 1965 года Эзра Зусман публикует в газете «Давар» еще одну статью о Бабеле «Бабель — драматург» и разбирает пьесу «Закат» и ее постановку в театре «Габима». Зусман не принял постановки. Вот два фрагмента из его статьи.

Фрагмент первый

Зусман пишет: «В 1950 году я встречался в Париже с вдовой Бабеля (его первой женой). От нее мне стали известны кое-какие сведения о смерти писателя, которые она вытянула из Эренбурга, тоже побывавшего тогда в Париже. Она передала мне экземпляр „Заката“, который был тогда большой редкостью, и попросила

меня рекомендовать пьесу к постановке в театре „Габима“. Я прочел пьесу, и мне даже в голову не пришло рекомендовать ее к постановке — это нанесло бы ей большой урон. Слишком особенными были и язык, и описываемые вещи. Еще слишком близка была великая еврейская трагедия (Холокост. — *Д. Р.*), а ведь еврейская „Молдаванка“ Бабеля тоже просила милосердия и взывала о помощи».

Заметим, что этот разговор с женой Бабеля имел место в самый разгар антисемитской кампании по борьбе с космополитизмом. На этом фоне даже само название пьесы, будь она поставлена в Израиле, имело бы знаковый характер. Не это ли имеет в виду Зусман, когда говорит о том, что и «еврейская Молдаванка» требовала помощи. Нельзя не напомнить, что к моменту этого разговора прошло всего два года после образования Израиля, чему в немалой степени способствовала сталинская антианглийская позиция.

Фрагмент второй

«Что сказать о переводе Шленского? Он заслуживает скрупулезного анализа, а не только восхваления, к которым переводчик уже привык. В своем стремлении придать переводу подлинно ивритский облик Шленский продемонстрировал виртуозное владение языком — стилистическая окраска, пластичность, диалог. Но неповторимость языка пьесы в том слегка деформированном русском языке, который был присущ одесским евреям, с их всегдашними неправильностями грамматики, особыми словечками. И у всех этих недостатков была своя роль — гримаса, подмигивание, жест. Ибо здесь более, чем в любой другой пьесе, жест играет важнейшую роль. Как бы то ни было, язык Бабеля требовал другой игры…»

Надо отметить, что любой перевод Бабеля на иностранный язык может быть оценен именно так. Ведь «словечки», «жесты», «гримасы» евреев, для которых русский язык не родной, уже сами по себе являются чуждыми вкраплениями в русский язык. А при переводе приходится это все имитировать на языке иностранном. В случае же иврита — еще сложнее. Вся идеология ивритской литературы, как мы видели выше, противостоит идеологии еврейского рассеяния, которое связано с идишскими контекстами. Здесь же идишский призвук русского языка надо было передавать на том варианте иврита, который противостоял именно идишизированному варианту древнееврейского языка, на котором и говорили в Одессе.

Все это надо помнить, оценивая качество перевода Шленского и отношение к нему его критиков. Тем более это отразилось бы

на постановочном варианте «Заката» в театре «Габима».

* * *

Теперь расскажем о реакции Эзры Зусмана на первый посмертный советский сборник Бабеля 1957 года. Он вспомнил о нем через десять лет после публикации, когда в Москве вышла в свет новая книга сочинений писателя. Кстати, в год 50-летия Октябрьской революции, с которой так много было связано в жизни и творчестве автора «Конармии».

Эзра Зусман. «Ицхак Бабель и комментарии» // Давар. 14 апреля 1967 (пятница). С. 7–8.

(עפ הופעת המבחר החדש עזרא זוסמן. יצחק באבל ופירושים).

«Сборник избранных произведений Бабеля, который вышел несколько месяцев назад в Москве, несколько более полный, чем издание 1957 года, но не намного. Рукописи, просмотренные писателем в последние годы жизни, главы из романа и рассказы были уничтожены, когда он находился под арестом (об этом также свидетельствует Эренбург в своей книге). Поэтому не оставалось ничего другого, как собрать рассказы, разрозненные при жизни Бабеля: ранние рассказы и фельетоны, дневники и письма писателям и родным. Эта работа велась очень осторожно и медленно. Дневники времен „Конармии“ были изданы в академическом издании „Из творческого наследия советских писателей“ (я писал об этом в другом месте) в новое собрание не вошли».

Судьба незаконченных и неопубликованных работ Бабеля, бумаг с его заметками и других документов служит предметом жарких споров. Очевидно, что их не уничтожили во время обыска: они значатся в протоколе обыска как изъятые, да и вообще при обысках никто ничего не уничтожал, так как они могли послужить уликами в его деле. Никто не знает и не может засвидетельствовать, были ли они уничтожены ближе ко времени убийства Бабеля или отправлены в архив и до сих пор собирают пыль где-нибудь в Москве. Может быть, в один прекрасный день они будут обнаружены случайно или рассекречены постановлением властей. Об этом дискутировали участники московской бабелевской конференции в 1994 году, дискуссии продолжаются и по сей день.

Зусман продолжает: «В раздел „Рассказы“ по сравнению с прошлым изданием был добавлен рассказ „Шабос-Нахаму“, из ранних рассказов Бабеля (он был опубликован в социал-демократической газете „Вечерняя звезда“ в 1918 году), однако

под своим подзаголовком „Из цикла о Гершеле“; имеется в виду Гершеле Остополер. Этот рассказ в переводе на иврит был опубликован в прошлом году в газете „Двар а-шавуа“ („Еженедельник“). А также „Фроим Грач“, написанный неповторимым бабелевским стилем, в духе „Одесских рассказов“. Этот рассказ, как указывает редактор, был рекомендован Горьким вместе еще с двумя рассказами для альманаха 1933 года, но мнения редакции разделились, и эти рассказы не были опубликованы. Этот рассказ увидел свет в журнале „Знамя“ в 1964 году.

В новую книгу вошла пьеса „Мария“, судьба которой тоже довольно непроста. Бабель начал работу над пьесой в Сорренто (Италия), когда гостил у Горького (в 1933-м), оставил рукопись у Горького и ждал его оценки. Восторга Горький не выразил. Он писал: „Когда я читал эту пьесу, она меня удивила, но не затронула. Излишне говорить, что это сделано с блеском… Эта пьеса не оправдывает ожиданий, которые вы во мне пробудили“…»

Зусман дает подробный отчет о составе сборника, проходя все его разделы.

* * *

Обратимся к другим авторам газеты «Давар».

Авраам Шанан. Ицхак Бабель //Давар. 11 апреля 1958.

Авраам Шанан (1919, Волдиш, Восточная Галиция — 1998, Израиль; в Палестине с 1935 года) — профессор ивритской литературы в Университете Бар-Илан, член редакции журнала «Критика и интерпретация», а также ивритский прозаик; автор статьи «Бабель» в «Словаре современных ивритских и мировых писателей» (Тель-Авив, 1958).

Шанан пишет: «Имя Бабеля снова появилось на страницах западной печати. Особенно обсуждается его „Конармия“. …В 1956 году стало известно, что в Москве снова собираются издать собрание его сочинений.

Излишне говорить, что эта реабилитация стала после смерти Сталина поворотным пунктом в вопросе о репрессированных писателях».

В двух абзацах Шанан дает биографические сведения. Далее приводит слова Шолохова о том, что евреи уклоняются от военной службы, и пишет, что пример Бабеля является ярким опровержением этого поклепа, и рассказывает, с каким энтузиазмом и верой Бабель служил в армии.

Опять-таки в израильском контексте именно таков образ «нового израильского еврея»: не слабого, сутулого галутного еврея, прячущегося за стенами гетто, но сильного, храброго, готового к сражению; такого, который не боится ни тайком крадущегося врага, ни открытой вражеской атаки. Именно таких людей описывает Бабель, хотя у него это казаки, а в израильском контексте — бесстрашный израильский еврей эры после Холокоста. Затем автор перечисляет сборники рассказов Бабеля, подробнее останавливается на еврейских рассказах, считая, что они скорее заинтересуют читателей.

В итоге Шолохов оценивает талант Бабеля в таких словах: «Есть в его произведениях откровенный натурализм и внятная сатира. Вместе с этим Бабель умеет тонко проникать в тайны психологии, и все это рядом с необузданной, наводящей ужас жестокостью».

* * *

«Еврейские друзья Горького» // Давар. 21 июня 1968. С. 6.
(ידידיו היהודים של גורקי)

[Подпись:ק.ק.]

Заметка — реакция автора на публикацию в «Новом мире» № 3 за 1968 год воспоминаний художницы Валентины Ходасевич «Горький, каким я его знала». Автор с определенным восторгом отмечает особое отношение Горького к Бабелю и обильно цитирует в переводе на иврит сказанное о нем в «Новом мире».

Произведения Бабеля в переводе на иврит на страницах газеты «А-Арец».

Избранные произведения Бабеля в СССР // А-Арец. 24 ноября 1961. [Еженедельное приложение: «Тарбут ве-сифрут» («Культура и литература»), Б. п.]

«Новое, более полное собрание произведений Бабеля готовится к изданию в СССР — об этом сообщил Ежи Помяновский в предисловии к сборнику рассказов Бабеля, первому на польском языке, который недавно вышел в Варшаве. <…> В Москве работает специальная комиссия при Союзе писателей, которая собирает все несобранные публикации произведений Бабеля в периодической печати 1920-х и 1930-х годов и в рукописях.

В соответствии с библиографией Бабеля, изданной в прошлом году в Москве в рамках общей библиографии советских прозаиков, имеется еще более дюжины коротких рассказов

Бабеля, опубликованных в разных изданиях, которые не вошли в единственное издание Бабеля, увидевшее свет после реабилитации писателя. <…>

Среди ортодоксальных критиков, выступивших с нападками на творчество Бабеля и на восторженное предисловие Ильи Эренбурга сразу, как только вышла новая книга, был Дмитрий Стариков, ставший известным в последнее время из-за своих резких нападок на молодого поэта Евгения Евтушенко и его поэму „Бабий Яр“, порицающую антисемитизм. <…>

Издание избранных произведений Бабеля было обусловлено рядом неординарных событий: когда в 1956 году была создана комиссия по делам литературного наследства Бабеля, возглавлять ее поручили троим наиболее значительным советским писателям, все из одного и того же поколения, что и Бабель, и его поклонникам — Константину Федину, Леониду Леонову и Илье Эренбургу.

После политического ущерба, который нанесла СССР история с Борисом Пастернаком, когда тому дали Нобелевскую премию за роман „Доктор Живаго“, Хрущев решил, что ответственный за обвинительную кампанию и главный обвинитель Пастернака Алексей Сурков должен сойти со сцены. Вместо него главой Союза писателей на 3-м Всесоюзном съезде советских писателей был избран К. Федин, литератор со стажем, успевший создать несколько произведений еще до эпохи социалистического реализма. Так что получилось, что глава комиссии по делам литературного наследства занимает высокий пост секретаря Союза писателей СССР. Поэтому не стоит удивляться, если будет осуществлено еще одно, более полное, издание произведений Бабеля, несмотря на отдельные нападки со стороны коммунистов.

Польское издание — перевод упомянутого избранного, вышедшего в 1957 году, за исключением двух рассказов: „Переход через Збруч“ и „Гедали“, где поляки выведены как убийцы евреев».

Помимо чрезвычайно ценных сведений, которые литературоведам, изучающим творчество Бабеля, впоследствии пришлось получать из частных бесед, в этой статье также описан захватывающе интересный момент: как осуществлялась цензура произведений Бабеля после его реабилитации. Страны, описанные в «Конармии» (в данном случае Польша), изымали рассказы, в которых поведение поляков, даже во время войны, изображено в негативном свете.

«Что касается пьесы „Закат“, поставленной в нынешнем году в „Габиме“ в переводе Авраама Шленского, то переводчик Ежи Помяновский называет ее „гвоздем драматургии“».

Ежи Помяновский (польск. Jerzy Pomianowski, настоящая фамилия Бирнбаум; р. 13 января 1921, Лодзь) — польский писатель, театральный критик, переводчик, основатель и редактор журнала «Новая Польша». Родился в ассимилированной еврейской семье; внук композитора и кантора Авраама-Бера Бирнбаума, племянник офицера, журналиста и переводчика Мечислава Бирнбаума, павшего в 1940 году в Катыни. Начал публиковаться в 1937-м под псевдонимом. Учился на философском факультете Варшавского университета, занимался в семинаре Тадеуша Котарбиньского. С началом Второй мировой войны ушел из Варшавы на территории, присоединенные к Советскому Союзу после 17 сентября 1939 года. Работал шахтером в Донбассе, потом уехал в Таджикистан, где начал учиться на медицинском факультете в Сталинабаде, одновременно работая прозектором. В 1944–1946 годах редактор польского пресс-агентства в Москве.

* * *

Еврейский рассказ Ицхака Бабеля в «Советиш Геймланд» (סיפור יהודי של יצחק באבל ב־"סאוועטיש היימלאנד"). // А-Арец. 21 августа 1964. С. 13. [Еженедельное приложение: «Тарбут ве-сифрут» («Культура и литература»). Б. п.]

Этот текст комментирует появление рассказа Бабеля в советском журнале на языке идиш:

«Бабель замышлял серию рассказов о Гершеле Остополере, как выяснилось из публикации в прибывшем в эти дни в Израиль журнале „Советиш Геймланд“ рассказа „Шабат-Нахаму“ в переводе на идиш. Впервые этот рассказ был опубликован в Петрограде в газете „Вечерняя звезда“ в 1918 году».

Дальше сказано, что публикацию подготовил И. (Израиль Абрамович. — *Д. Р.*) Смирин, защитивший в Казани диссертацию по неизвестным рассказам Бабеля.

«Из предисловия Смирина к публикации рассказа: весьма характерно, что именно в начале своей литературной деятельности — определяющего периода в плане кристаллизации идеалов и художественного метода Бабеля — писатель обратился к сокровищнице фольклора и создал рассказ о человеке из простонародья Гершеле из Острополя».

Гершеле Острополер, он же Гершель из Острополя, — важный персонаж еврейского юмористического фольклора, еврейский эквивалент Ходжи Насредцина и Тиля Уленшпигеля. Гершеле — нищий острослов, который подшучивает над богатыми и

влиятельными евреями и неевреями. Простые люди тоже иногда становятся мишенями его розыгрышей, но обычно легко отделываются. Его знает и нееврейское население Украины — как героя народных сказок, способного исключительно силой своего юмора справиться с представителями власти, превосходящими его могуществом. Описания выходок Гершеле за многие годы стали мифами, однако на самом деле образ Гершеле воплотил черты исторического лица, жившего на территории нынешней Украины в конце XVIII — начале XIX века. Возможно, этот человек превратил свое остроумие в средство к существованию, в конце концов став чем-то вроде придворного шута при знаменитом хасидском раввине, ребе Борухе из Меджибожа.

* * *

Публикации в журнале «Амот».

«Амот» (1-й год выпуска, № 2, октябрь-ноябрь, 1962 год) начинается со статьи Шломо Гродзенского «Еврейские писатели в Советском Союзе», далее помещен перевод А. Шленского рассказа «История моей голубятни» Бабеля, а затем — статья А. Б. Йоффе о Бабеле.

«Амот» («Меры») — журнал по вопросам общественной жизни и литературы, выходит раз в два месяца в Тель-Авиве. Главный редактор Шломо Гродзенский. Редакция: Гершом Шолем, Лея Гольдберг, Натан Ротенштрайх, Дов Садан, Меир Яновский.

Шломо Гродзенский. «Еврейские писатели в Советском Союзе».

В этой статье Шломо Гродзенский пишет в первую очередь об идишских писателях, репрессированных в сталинские времена: Изи Харике, Давиде Бергельсоне, Дер Нистере, Переце Маркише, Давиде Гофштейне и других, затем вспоминает попытки публикаций на иврите в Советской России, а в следующем разделе переходит к русско-еврейской литературе (тогда в СССР и слов таких не было!), о которой пишет так: «В последние два десятилетия правления Романовых евреи начали уверенно входить в русскую литературу. Обычно это вхождение в русскую литературу сопровождалось уходом из еврейской сферы. Свидетельством тому Пастернак, Осип Мандельштам и — не будь рядом помянут — Эренбург. Ицхак Бабель — уникальное явление. Он доказывает, как доказывают сейчас некоторые еврейские писатели в США, насколько сильно плодотворное воздействие еврейского начала в каждом достойном произведении, созданном

евреем, пусть даже на нееврейском языке. Лайонел Триллинг писал о напряженности между образом еврея (который ассоциируется с духовным бытием, постепенно исчезающим из мира) и казаками, иноверцами, в творчестве Бабеля. Из этой напряженности „возникло его повествовательное искусство, однако Россия не могла позволить существовать этой диалектике“. Бабель был писателем Октябрьской революции, однако корни его находились в дореволюционной почве, в черте оседлости при царском режиме. Оттуда пришла атмосфера мессианских чаяний, наполняющая все творчество этого ученика Мопассана. Тем временем в СССР появилось новое поколение, не знавшее иного мира, кроме того, в котором оно родилось и которым было вылеплено, и появилось также новое еврейское поколение, не знавшее другой России, кроме Советской. Правда, это поколение пережило опыт Второй мировой войны, Бабьего Яра, поздних сороковых годов и начала пятидесятых, „дела врачей“. Мы знаем, что это поколение ежедневно анализирует свои поступки и совесть. В русской литературе то тут, то там проскальзывают намеки на то, что происходит не явно. Но что касается евреев, еврейское бытие, еврейские счеты с самим собой, общение евреев с евреями невозможны там, где само существование еврейского народа представляется подозрительным и проблематичным.

Я спросил как-то друга, проведшего многие годы в сталинских лагерях, является ли „Доктор Живаго“ уникальным произведением. Он мне ответил, что многое пишется в стол, и вполне возможно, что и еврейская литература продолжает свою сокровенную жизнь в Советском Союзе».

* * *

Авраам Б. Йоффе. Между двумя полюсами (об Ицхаке Бабеле) // Амот. 1962 (1-й год выпуска). № 2, октябрь-ноябрь 1962. С. 18–23.

Йоффе начинает статью с изложения «Автобиографии» Бабеля со ссылкой:

И. Бабель. Автобиография (по-русски). Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1957.

Далее пишет (привожу в своем переводе): «Здесь заканчивается краткое изложение автобиографии Бабеля. А что произошло после 1924 года? Исаак Бабель приобрел известность в СССР и за его пределами благодаря сборнику рассказов „Конармия“ (в обратном переводе с иврита: „Красная

кавалерия“. — *Д. Р.*). Потом он написал „Одесские рассказы“ и несколько автобиографических историй о своем детстве, сочинил две пьесы, „Закат“ и „Мария“ (из которых лишь первая была поставлена на сцене), несколько сценариев (в том числе для экранизации отдельных мотивов из одесских рассказов — „Беня Крик“, а также сценарий по „Блуждающим звездам“ Шолом-Алейхема), участвовал в качестве редактора и переводчика в русских издательствах по выпуску шедевров идишской и французской литературы. Несколько раз он ездил во Францию. После 1935 года его имя лишь изредка появлялось в советских журналах. Он говорил: „Я — великий мастер нового литературного жанра — молчания“. В 1939 году Бабель был арестован (по словам Эренбурга, по ложному доносу) и 17 марта 1941 года нашел свой конец в заключении (по одной версии, умер от тифа, по другой — был расстрелян).

В течение многих лет публикация произведений Бабеля была под запретом, а его имя напрочь вычеркнуто из официальной истории советской литературы. Лишь во время „оттепели“, после смерти Сталина, Бабель удостоился реабилитации, и в 1957 году появилась книга его избранных произведений с предисловием Эренбурга.

Творчество Бабеля заслуживает рассмотрения уже в силу своей оригинальности и художественной ценности. Можно, конечно, сказать, что Исааку Бабелю было суждено исчезнуть с литературной арены и из жизни вместе со всеми прозаиками и поэтами „первой волны“, романтичной и трагической, такими как Маяковский и Пильняк, Есенин и Замятин. В одной из статей 1938 года Шленский попытался объяснить это явление. Вот как он трактует официальные нападки на „формалистское“ искусство: „…Но можем ли мы списать поступки Сталина на его барский произвол и полную безнаказанность, когда любой его каприз воспринимался, как Божье слово? Следует признать, что помимо огромного личного упрямства здесь обнаружилось основное свойство Сталина: он — приспособленец, стремившийся соответствовать прихотливому духу времени. Это — переменчивый Сталин, и таким он проявил себя в политике, экономике и национальном вопросе, и он всегда искал опоры в тенденциях, задаваемых снизу (здесь и далее выделено в оригинале. — *Д. Р.*).

Ведь и его протест против сути слишком высокой музыки Шостаковича отвечал воле низших слоев российского населения. Воле, проникнутой **идеологией**. Ситуация не так проста: Шостакович и Пастернак — не только значительные творцы, обладатели больших дарований, они еще и творцы, чье значение

обусловлено **сутью** их таланта. И здесь-то и нашелся изъян. Здесь неувязка. Революция не может признать и поддерживать творцов, чья душевная организация не порождена особым воздухом революции. <…> Всей своей сутью, всем содержанием, формой и направлением Шостакович и Пастернак являют нечто, что противостоит этому климату, поскольку они являют собой западный подход к искусству, обнаруживают острое и изысканное восприятие мира, а если кому-то нужен термин, то пожалуйста: индивидуализм. И не очень-то мы ошиблись — ведь всякое произведение по внутренней своей сути есть эманация индивидуального".

Далее в своей статье Шленский показывает, что там, где в сферу искусства вовлекают массы, миллионы еще совсем недавно бывших неграмотными людей, нет места индивидуализму. „Поэтому от художника, воспаряющего ввысь и спускающегося в глубины, требуют отказаться от своих достижений, не увлекаться точностью и ювелирной огранкой, чтобы наслаждение от его произведения было доступно миллионам". И в этом трагедия мастеров искусства, принявших революцию, одобривших ее действия, потому что она немилосердно приговорила их к отказу от своего творчества, не потому, что они ее предали, а потому, что не пожелали отказаться от своего творческого „я".

Исаак Бабель, конечно же, не был контрреволюционером. Вот что пишет Эренбург: „Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья". Но в творчестве он оставался верен своей художественной самости. „Бабель, однако, не 'украсил' героев 'Конармии', — пишет Эренбург, — он раскрыл их внутренний мир". Но другие советские вожди и писатели так не думали. Первые „толкования" рассказов Бабеля опубликовал генерал Буденный, командир Конармии. Его протест был искренен, но следует помнить, что генерал не мог понять художественного метода Бабеля, всю сложную суть отношений между действительностью и литературным вымыслом, с целью достичь глубокой правды о человеке, оказавшемся в поединке со своими низкими инстинктами и со смертью. Многие советские читатели относились к прозе Бабеля прагматически, а потому она их не удовлетворяла. Однако именно поэтому Бабелю, в отличие от других советских писателей, которые следовали правильной линии и старались понравиться, удалось глубоко и правдиво выразить ту эпоху, в которой были и трагизм, и величие, переходную эпоху, когда старое еще не сошло со сцены и новое захватывает его территорию с неминуемой жестокостью.

И что бы ни писал Бабель, он помнил о своих еврейских корнях, я бы не сказал, что он был приверженцем еврейского образа жизни. Его конкретное отношение к современному ему еврейству каждый раз было амбивалентным. Из его рассказов мы узнаем, что он с отвращением относился к зажиточному буржуазному еврейству, к средней руки еврейским торговцам, прощелыгам и дельцам. Зато его отношение к старому еврею, хранителю религиозной традиции, отдавшему жизнь постижению Торы, проникнуто любовью. А его отношение к еврейским гангстерам, людям преступного мира Одессы, мне сложно определить. Ясно одно: они пленили воображение Бабеля, очаровали его одним своим существованием.

Что касается отношения самого Бабеля к евреям, его трудно выразить словами: он то скорбит вместе с ними, то презирает их. В одном рассказе он пишет о своей любви к деду, с нежностью вспоминает детство, называет тех, кто хранит традиции праотцев, „принцами“; в другом — высмеивает их. Похоже, что он (как и многие) хочет одновременно остаться и уйти; быть близко и в то же время сохранять дистанцию; поддерживать связь и в то же время отбросить старый мир ради мира нового. И никак не может сделать выбор. В своих поисках идентичности, как и в своих литературных произведениях, Бабель неуловим. Это, без сомнения, еще один аспект его литературного дара.

Если мы ищем у Бабеля апологии российского еврейства, нас постигнет разочарование. Он никогда не пытался создать вокруг евреев романтический ореол, поскольку в его время еврейство это было неотъемлемо от черты оседлости, а сам он больше всего мечтал убежать оттуда. Как всякий восторженный и нетерпеливый юноша, он знал лишь, откуда хочет бежать, но не знал куда.

Так следует понимать его ранний опыт — попытку найти прибежище во французской литературе, а позднее — его уход в революционный лагерь. Во всем, им написанном, мы не найдем даже намека на его связь с коммунистической идеологией. Поэтому мы склоняемся принять мнение американского критика Раймонда Розенталя, что Бабеля вело единственное стремление — выйти из черты еврейской оседлости. Розенталь пишет, что Бабель оказался в ловушке между его исконной принадлежностью к миру еврейства и желанием подняться над этой средой и этим окружением.

В этом источник лирического напряжения его прозы. С ранней юности он хотел выйти за стены гетто, страстно желал узнать природу, научиться плавать и писать элегантно, как Мопассан. Его мечта осуществилась впервые в дни „великого

исторического взрыва, который вынес его в дивные края за пределами гетто“. Розенталь объясняет восторженное отношение Бабеля к казакам, с которыми он служил в Конармии, преклонением перед непосредственностью в проявлении примитивных инстинктов и страстей, которое представляет собою разительный контраст с эзотерической духовностью традиционного еврея. Однако, как уже отмечалось, Бабель понимал этого еврея и любил его не меньше, чем казака.

Розенталь видит в тяге Бабеля к Бене Крику и его товарищам своего рода новое воплощение того же восхищения, какое было у Лютова перед казаками, восхищение здоровьем, примитивностью, отсутствием каких бы то ни было сдерживающих факторов. Как если бы Беня Крик казался Бабелю этаким „еврейским казаком“. Трактовка Розенталя поучительна, но не объясняет всего. Нам кажется, что Бабель тосковал по другому типу еврея, которого, правда, не умел описать, поскольку не встречал в действительности, но о котором часто мечтал. Я имею в виду Мирона, сына угольщика (из рассказа „Первая любовь“), участника еврейской самообороны, который разгуливает с ружьем на плече. Мальчик Исаак Бабель воображает себя на его месте, видит, как он стоит на коленях у старого дощатого забора и отстреливается от убийц, устроивших еврейский погром.

Тут опять не следует забывать, что, несмотря на европейско-еврейское происхождение Шленского, он писал как израильтянин, понимающий, какие опасности и ужасы подстерегают людей, не желающих браться за оружие ради собственной защиты. Хотя усилия тех, кто не избегнул ужасов, ожидавших восточноевропейское еврейство, оказались тщетными, автор тем не менее утверждает, что главной мечтой Бабеля было защитить свой народ с оружием, со всей возможной силой от врагов, желающих его уничтожения. Падение на колени, слабость — для Бабеля неприемлемы.

В упомянутой выше статье Р. Розенфельд утверждает, что только в редких случаях Бабель сумел слиться с действительностью, в которой он жил, благодаря „чуду революции“. Но еврейское этическое чувство не позволяло ему на долгое время ощущать свою идентичность с окружающим внешним миром. И он всякий раз возвращался к самому себе и оказывался снова разрываемым между двумя полюсами.

На деле Бабель был разрываем между двумя полюсами всегда, даже в те годы, когда писал „Конармию“. Такой человек, как Бабель, не сможет благодушествовать, оказавшись перед лицом крайних противоположностей. Он как будто ждет рождения нового мира, но этот мир открывается ему своей

жестокой рожей, он не имеет ни логики, ни внятной цели. Бабель не протестует и не горюет. Его высокое повествовательное искусство основано на объективности, он представляет вещи такими, каковы они есть, и не высказывает своего персонального отношения к происходящему; он пишет об ужасных делах тоном тихим и спокойным. И именно поэтому его проза воздействует на читателя с еще большей силой. Он не оплакивает старое, которому приходит конец. Однако ты чувствуешь, как исчезает в небытии что-то огромное, многовековое, какое-то великое духовное наследие. Трагизм заключается в неотвратимом столкновении двух враждебных сил, противоборствующих порою в рамках одной семьи.

Бабель как-то сказал, что не умеет придумывать, что он умеет описывать только то, что сам видел и чему был свидетелем. Поэтому неудивительно, что в его рассказах так часто встречаются описания еврейской жизни. Однако Бабель не был „бытописателем“, и эти описания всегда имеют символическое значение, отражают знаки судьбы. В „Автобиографии“ он пишет: „Мы относимся к родовитой семье, семье, многие из отпрысков которой были раввинами. Один из моих предков был изгнан из дома учения и предан анафеме, потому что он заглянул и повредился <…> К тому же он писал. Был талантлив. Но все его рукописи пропали“» (по-русски этого пассажа в «Автобиографии» не существует, вероятно, его вырезала цензура. В этой ивритской цитате приведены слова из Талмуда, Хагига, 14б. — *Д. Р.*). Это, если хотите, префигурация (такое слово Йоффе написал на иврите! — *Д. Р.*) судьбы внука, слишком вплотную приблизившегося к Богу.

Неудивительно, что Бабель прекрасно знал еврейские обычаи, хасидские празднества (см. «Историю моей голубятни»), стиль поведения служителей религии. В рассказе «Рабби» он описывает рабби Мотеле в окружении своих хасидов: «На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды».

Йоффе сообщает, что в сборнике «Берешит» были опубликованы шесть рассказов Бабеля, и приводит помещенную там ремарку: «Перевод с русского сделан с правкой автора». В настоящей статье Йоффе всюду цитирует переводы А. Шленского, которые пока еще не вышли отдельной книгой (Сипурим, 1963), а публиковались в разных периодических изданиях. Интересно, что Шленский начинил свои переводы еврейскими терминами, у Бабеля отсутствующими. Например, данная цитата в обратном переводе с иврита выглядит так: «Голова его была покрыта

штреймлом, и белая капота стянута веревкой».

«Однако сын рабби уже сошел с прямой дороги и курит в шабат… В рассказе „Сын рабби“ выведен образ юноши, последнего звена в хасидской династии, который не видел противоречия между своей связью с религией предков и еврейским укладом, с одной стороны, и приверженностью революции — с другой.

„Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане…

…Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии…“»

Сын рабби признается рассказчику, что уже давно состоит в партии, но не мог покинуть дом из-за матери. Правда, когда произошла революция, он ушел из отчего дома и был послан на фронт — потому что «мать в революции — эпизод».

В этом рассказе наиболее ярко выражена эта трагическая двойственность: война во имя нового идеала и горечь из-за исчезновения целого мира, ибо смерть сына рабби символизирует уход этого мира с арены истории в рожденной революцией России: «Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата».

В рассказе «Гедали» снова слышится нотка тоски по детству, пропитанному еврейскими запахами: «В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. *Ох, ветхие гемары моего детства! Ох, густая печаль воспоминаний*».

И снова Шленский конкретизирует по-еврейски: «томы Ибн-Эзра» — «перушей (толкования. — *Д. Р.*) Ибн-Эзры»; «старуха в кружевной наколке» — «бабушка в кружевном шависе». И снова здесь в русском тексте есть купюра. Текст Бабеля дополнен обратным переводом с иврита. В этом важнейшее значение ивритских переводов, конкретизирующих и раскрывающих то, что не нужно или непонятно русскому читателю и исследователю.

«И ты тут же вспоминаешь „ветхие свитки“, о которых писал Ури-Нисан Гнесин в повести „Накануне“ („Бе-терем“), рассказывая о возвращении сына в отчий дом. Разве нет некоей общности судьбы, некоторого невидимого глазу товарищества всех наших братьев, которые писали тогда на иврите, идише и по-русски?

И этот Гедали, который говорит „да“ революции, тогда как она скрывает от него свой лик, — не является ли он прототипом многих еврейских образов, которые стремились всей душой и всеми силами самоидентифицироваться с революцией, но кончили тем, что были раздавлены ее колесами? И когда представитель революции приходит в лавку Гедали забрать оттуда его граммофон и угрожает пристрелить его, если тот станет протестовать, Гедали обращается к своей уникальной „диалектике“: „Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. *Но поляки тоже злые люди.* (Эта фраза в ивритской цитате отсутствует — *Д. Р.*) Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раши и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..“

Рассказ заканчивается приходом шабата:

„И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота. (Эта фраза в ивритском переводе выглядит так: „Вот идет Царица Суббота, евреи должны идти в синагогу“. Возможно, у Шленского была другая версия рассказа. Либо он сознательно „иудаизирует“ базовые для ивритского читателя еврейские формулы и обряды, которые в этом контексте могли бы показаться странными или неадекватными и исказили бы образ русскоязычного автора на иврите. — *Д. Р.*)

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться“.

Легко представить себе, каково было состояние Бабеля, когда он оказался среди красных казаков. В рассказе „Мой первый гусь“ он сообщает, как прошел через это испытание, он „образованный“, в очках, „кандидат прав Петербургского университета“. Солдаты, его полковые товарищи, решают показать ему его место как всякого „интеллигента“. Как только квартирьер поставил его сундучок, „молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки“. Собрав свои рукописи и нехитрые пожитки, Бабель принялся читать речь Ленина в „Правде“. Но „казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти“.

Рассказчик покупает себе мир в единый час после того, как грубо обращается со старой хозяйкой дома, пихает ее кулаком в грудь и требует дать ему „жрать“.

„— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне“.

Но Бабель признается, что после этого поступка душа его была угнетена, и в ту ночь, пишет он: „Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло“.

„Еврей, коли скачет верхом на лошади, уже не еврей“, — говорит Левка, один из персонажей пьесы „Закат“. Сам Бабель, хотя научился хорошо ездить верхом и любить коней почти так же, как казаки, и после того, как провел много месяцев рядом с Афонькой Бидой и Курдюковыми, отцами, режущими на куски своих сыновей, если те служат в рядах неприятеля, и сыновьями, без колебания убивающими своих отцов; рядом с казаками — грабителями, убийцами и насильниками, так и не стал одним из

них, несмотря на свое сильнейшее влечение к примитиву, из которого слеплен казак. Бабель остался, возможно, помимо своей воли, евреем. И потому он не может не сожалеть о разрушенном бейт мидраше, еврейском доме учения, не сострадать еврейской женщине, на глазах у которой убили ее отца. Прибыв в местечко и читая надписи на еврейских погребальных плитах, он видит „изображения раввинов в меховых шапках; раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах“. Он не может пройти мимо дома рабби, чтобы не зайти внутрь и не провести там несколько часов среди хасидов, в еврейском окружении.

Война старого и нового идет также в рассказе „Карл-Янкель“. История о младенце, родившемся у Поли Брутман и Овсея Белоцерковского, пылкого большевика. Матери Поли „нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме“. „Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания“.

Овсей подал на тещу в суд, поскольку его „морально запачкали“. В суде Герчик поднимает на смех прокурора Орлова, утверждающего, что, „высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения“. Герчик в ответ напомнил прокурору, что тридцать лет назад его позвал месье Зусман (отец Орлова) сделать обрезание новорожденному сыну, и добавил: „И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось…“

Белоцерковский утверждал, что теща обманула его, что не только обрезала малыша, но и назвала его Янкель, вместо того чтобы назвать Карлом (в честь Карла Маркса), как он ей велел. Бабель заканчивает рассказ на личной ноте: „Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…“

С тех пор прошло примерно сорок лет. По имеющимся у меня сведениям, Янкель все еще далек от своего счастья».

Шленский снова подчеркивает, что попытки избавиться от своего наследия могут дать эфемерное чувство принадлежности к какой-то другой группе, но, несмотря на все попытки бежать от своей идентичности, в конце концов человек остается тем, кем он

был от рождения. А счастье нельзя обрести бегством от своей идентичности или попытками ее изменить: чтобы достичь счастья, надо держаться своих корней и в то же время не прятаться от современности.

* * *

Мегед М. Бабель и Евтушенко // Амот. 1963 (1-й год выпуска). № 5, апрель-май. [Статья переведена и приводится целиком.]

Мати Мегед (1923, Польша — 2003, Нью-Йорк) — один из важнейших израильских писателей «поколения „Пальмаха“» (его родители прибыли в Палестину в 1926 году), составитель и редактор (вместе с поэтом Зерубавелем Гильадом) историко-документального сборника «Сефер а-Пальмах» (1955). Преподавал ивритскую и общую литературу в педагогических семинарах. Публиковал стихи и романы. В последние годы жил в Нью-Йорке. Брат писателя Аарона Мегеда (р. 1920).

«Недавно в газете „Аль а-мишмар“ я прочел: сотрудники издательства „Сифрият поалим“ собрались, чтобы отметить большое культурное событие — в самом деле значительное, как я считаю, — появление рассказов Ицхака Бабеля в переводе на иврит Авраама Шленского. И, как это принято в наши дни, устроили по такому случаю симпозиум.

На этом симпозиуме в основном говорили о переводчике, а не о самих рассказах. В стенограмме того симпозиума ничего серьезного о рассказах Бабеля я не прочел. Но была одна вещь, которую я искал там и не нашел почему-то. Первые рассказы Бабеля, как я понял, увидели свет сорок лет назад, если не больше. Некоторые из них даже в свое время были переведены на иврит (в сборнике „Берешит“), что же касается всех остальных рассказов, то можно поручиться за сотрудников „Сифрият поалим“ и за Шленского в первую очередь, для которых русская литература с давних пор что дом родной, что они не упустили из виду эти рассказы на русском языке, ни прежде, ни теперь. И если верить словам выступавших на том симпозиуме, они знали — и тоже давно, — что Бабель был не только большим русским писателем, но и еврейским писателем до мозга костей. Один из ораторов даже назвал его „ивритским писателем“, сделанным из того же материала, что Бялик, Хазаз и сам Шленский».

Важно подчеркнуть, что для израильского читателя эти слова чрезвычайно важны: Бабель уже не является исключительно русским писателем, который в произведениях, написанных по-русски, делится своим еврейством с русским читателем. Он

вливается в ряды израильских писателей, деля место на израильском литературном Олимпе с другими достойными литераторами.

«Однако рассказы того великого писателя появились в издательстве „Сифрият поалим“ только в 1963 году. Не выглядит ли такая задержка странной, особенно если учесть, что за годы своего существования это издательство столько сил положило на перевод на иврит русской советской литературы? Не следует ли как-то объяснить причину этой задержки? Сам Шленский, вложивший столько труда и редкого благословенного таланта в перевод многотомного „Тихого Дона“ и „Поднятой целины“ и других им подобных, наводящих тоску больших и малых „эпосов“ социалистического реализма, — его-то не заподозрить в том, что он не был знаком с творчеством Бабеля и не знал, что Бабель гораздо выше всех тех Симоновых и даже Шолоховых, а также гораздо более революционный, чем они, да еще гораздо ближе его сердцу и нашим сердцам из-за своего еврейства. Почему он не попытался, пусть даже намеком, объяснить тот факт, что годами откладывал перевод рассказов Бабеля, тогда как сейчас мы видим, сколько любви, таланта и единодушия с переводимым автором вложил он в свою работу?

Все знают, почему перевод Бабеля на иврит появился с таким опозданием. Все знают, почему Бабель не удостоился апробации (букв. „ѓекшера“) издательства „Сифрият поалим“. Более того, знают, что многие сотрудники издательства и люди их круга были неспособны, в прямом смысле этого слова, не только выпустить его книгу, но и получать удовольствие от чтения его произведений прежде, чем он не был официально „реабилитирован“ в Советской России, и прежде, чем они начали понемногу трезветь от опьянения вестями о светлом будущем, приходившими к нам оттуда».

Последние слова — прямая атака на тех, кто использует литературу для достижения своих политических целей; когда СССР, в котором многие по-прежнему видели спасителя их политической вселенной и самую идеальную политическую систему в мире, реабилитирует Бабеля, тогда и они перестанут перекрывать ему кислород, позволят переводить, печатать и изучать его труды. Но до тех пор пока молчит советская пропагандистская машина, будут молчать и те израильтяне, что искали союза с советской идеологией, идентификации с системой, подавлявшей творческие силы Бабеля.

«Я не могу удержаться и не рассказать об одном забавном эпизоде, участником которого я был. Это произошло еще до откровений Хрущева на XX съезде. Меня пригласили прочесть

лекцию в „Клубе прогрессивной культуры“ на тему „Кризис гуманизма в современной литературе“. Дело было в 1952 или 1953 году, и приглашавшие, безусловно, имели в виду „кризис гуманизма“ в литературе Запада. Но я — уж не знаю, по глупости ли или из желания насолить — говорил о кризисе гуманизма именно в литературе Восточного блока, в советской литературе. Я не стану рассказывать, какая буря разразилась среди присутствующих, об оскорбительных выкриках в мой адрес — я не преувеличиваю, кричали, что „за такие слова его повесить надо“, что я… „титовец“, как обличил меня один из сотрудников „Сифрият поалим“, после того как долго мычал, подыскивая нужное слово, и нашел самое позорное, что мог придумать. (Тут я должен заметить, что Шленский, ведущий вечера, старался „защитить“ меня и просил собравшихся позволить мне говорить — во имя „свободы слова“, разумеется.) Но во всей той истории больше всего поразил меня вопрос одного из слушателей, который говорил с искренней болью и страхом: „Как вы можете говорить такое о книге (романе Галины Николаевой „Жатва“), удостоившейся Сталинской премии?“»

Роман Г. Николаевой (1911–1963) «Жатва» (1950) о послевоенном восстановлении колхозного хозяйства в северном селе получил Сталинскую премию в 1951 году. В 1957-м Николаева опубликовала роман «Битва в пути», где показала пагубное воздействие «культа личности» на людей и общество. Заметим также, что прозвище «титовец» образовано от имени Иосипа Броз Тито (1892–1980), главы правительства Югославии, чей курс расходился с курсом Сталина, так что в 1949 году отношения между Югославией и СССР были разорваны.

«Я не собираюсь бросать камень в людей, которые в то время действовали и говорили из искренних побуждений и, как кажется, верили в то, что делали и говорили. Но сегодня, когда флюгер повернулся в другую сторону и даже там „распустили ремень“ (если в самом деле его распустили), разве элементарная порядочность добрых людей в Израиле не требует рассказать их читателям об этих переменах и, набравшись смелости, объяснить, почему то, что было „трефным“ вчера, сегодня сделалось „кошерным“?

Я, понятное дело, не собираюсь сводить счеты с раскаявшимися, тем более не мечтаю увидеть, как они публично признаются в грехах. Однако я убежден, что объяснение, почему издательство „Сифрият поалим“ так поздно занялось переводом Бабеля на иврит, необходимо из соображений общественной гигиены, чтобы дышать чистым воздухом, а также для того чтобы поставить преграду и перекрыть путь дующему оттуда ветру,

чтобы не им, не оттуда, определялись впредь вкусы и запросы израильских читателей.

А что подобная опасность грозит нам и сегодня, доказывает история с Евтушенко.

Об Ицхаке Бабеле у нас вспомнили через двадцать лет после его смерти в заключении в России. Юный Евтушенко удостоился несколько иного приема. Многие его стихи уже переведены на иврит и вышли отдельной книгой. Ладно, можно понять, почему всех так взволновало появление его „Бабьего Яра“: мы не слишком избалованы изъявлениями приязни со стороны неевреев, тем более со стороны писателей из мира светлого будущего. <… > Не столь понятно мне восхищение Евтушенко как поэтом. Я прочел его стихи (правда, только в переводах на иврит) и признаюсь, не сумел понять причину произведенного ими впечатления. Большим поэтом его точно не назовешь. В лучшем случае слабый отголосок Маяковского, чей голос в Советской России не мог пробиться сквозь заслон в течение последних тридцати лет, а теперь ему позволили — звучи. И его „Автобиография“ меня не вдохновила, хотя и ее поспешили у нас опубликовать. Если бы я не опасался оказаться среди недостойных, чьи нападки на „Автобиографию“ продиктованы совсем другими, чем у меня, соображениями, я бы сказал, что она свидетельствует не об истинной смелости, но о дерзости малокультурного, поверхностного поэта, чья голова закружилась от восторженного приема, оказанного ему на Западе, и потому он позволяет своему перу писать все, что в голову придет, без глубокого размышления и без большого самоуважения. Более того, мне кажется, что он позволил себе написать то, что написал, только потому, что считал, что ему ничего плохого за это не сделают.

Однако он, похоже, ошибся. Да простит им Бог, но тем временем что-то случилось с его „Бабьим Яром“, благодаря которому он стал знаменит: когда он убедился, что рассчитал неверно и что власти по-прежнему не дозволяют открыто выражать симпатии к евреям и критику в адрес остальных, то пошел на попятный и покаялся в грехах.

Я не вправе осуждать его за это. Он-то знает, чем это может кончиться, и, если испугался, значит, и сегодня есть еще чего бояться. Но что касается нас, уж лучше бы мы не спешили так его восхвалять. И разве не факт, что истинно большие поэты и истинно большие писатели не каялись даже в страшное сталинское время и уж тем более не делают этого сегодня. Некоторые из них заплатили за свое молчание ужасную цену — и я, как уже сказано, не знаю, имеет ли кто-нибудь право требовать

от ближнего подобного героизма, настоящего, упрямого, такого, какой проявили Пастернак, например, или Бабель. Но мне кажется, что мы можем оценивать масштаб поэта также по мерке его прямодушия и верности тому, что он написал, и нам позволительно задуматься и решить, что тот, кто готов отказаться от своих слов, едва только его „ударили по башке“ (а в сегодняшней России за такие ошибки, которые допустил Евтушенко, все-таки смертью не карают!), возможно, не является столь большим поэтом, каковым его поспешили объявить.

А если это и не так, то в любом случае следует остерегаться следовать за модой, верить славе, если она не подкреплена истинно прекрасным творчеством, но обязана другим соображениям, которые всегда оказываются несостоятельными и быстро отпадают.

Я надеюсь, что сегодня у нас не станут осуждать Евтушенко лишь потому, что его порицают там. Но мудрым пристала осторожность. И потому я сказал: сотрудникам „Сифрият поалим“ следовало бы рассказать, по какой причине они откладывали издание Бабеля на иврите, чтобы гарантировать себе и читателям, что подобной горькой и затянувшейся ошибки больше не повторится».

Нужно пояснить: Мегед неустанно атакует издательство «Сифрият поалим», считая, что оно обязано хотя бы объяснить, почему работы Бабеля не были опубликованы. Это явно не только литературная, но как минимум в той же мере идеологическая атака.

Он завершает: «Правда, когда я вспоминаю, что одновременно с Бабелем они выпустили также книгу Эренбурга, я уже не столь в этом уверен».

Статьи об Эренбурге упрекали этого писателя в приспособленчестве, к заигрыванию со Сталиным и вспоминали его давние, не делавшие ему чести публикации о евреях. Тогда еще не была известна роль Эренбурга в реабилитации многих убитых евреев, включая Бабеля. Более того, сейчас опубликована книга «Советские евреи пишут Эренбургу», из которой следует, что после смерти Соломона Михоэлса именно Эренбург стал одним из тех, кто часто заступался за евреев в годы советского антисемитизма. Особый вопрос — роль Эренбурга в составлении и спасении «Черной книги», документального свода о гибели евреев во Вторую мировую войну, созданной совместно с Василием Гроссманом, и т. д.

* * *

Лея Гольдберг. Рыжий Мотеле (об Иосифе Уткине) // Амот. 1962 (1-й год выпуска). № 2, октябрь-ноябрь. С. 28–33.

«В 1920-х годах на карте русской литературы четко обозначились фигуры еврейских писателей и поэтов, пишущих по-русски: Осип Мандельштам, Ицхак Бабель, Эдуард Багрицкий. О каждом из них можно и должно говорить отдельно: они овладели возможностями русской речи с радостью богатырей, способных начать вторжение не снизу, а с уровня, весьма близкого к вершине. В их сокровищнице уже имелось все, что можно почерпнуть из русского поэтического, прозаического и разговорного языка, от начала девятнадцатого века и до музыки Александра Блока, до языковых искажений футуристов; начиная с филигранной фразы пушкинских „Повестей Белкина“ до странных украшательств Белого и Ремизова.

Они, а также Пастернак были первыми евреями, первым поколением, которое совершенно уверенно обращалось с русским стилем, как если бы он был их собственностью, и, однако, было у них что-то свое, чего не было у других, — еврейское наследие, еврейское восприятие, еврейская традиция и еврейское страдание, почерпнутые либо из личного опыта, либо из двойственности ощущений и тяжести наследства, как в случае Мандельштама, либо из еврейской традиции во всей ее полноте — со знанием идиша и иврита, молитв и Танаха, как в случае Бабеля.

Это вошло в их творчество, словно приправа, и позволило им открыть такие жизненные сферы, которые были сокрыты от глаз других, собственно русских, авторов того же поколения, и при всем том не сделало их экзотическими. В ту эпоху, эпоху „великого эксперимента“ в русской литературе и искусстве, границы литературы в России на время раздвинулись (чтобы затем снова сомкнуться, вплоть до удушья), и можно было дерзать смело, как никогда. Можно было, например, быть великим еврейским поэтом или писателем и одновременно быть причисленным к лучшим творцам русской словесности. Еврейские биографии упомянутых авторов можно сравнить с доставшимися по наследству монетами, отчеканенными в некоем ином мире, но, поскольку это золотые монеты, их цена по-прежнему высока».

Далее Лея Гольдберг пишет об Иосифе Уткине и снова вспоминает Бабеля вот в таком контексте:

«Стихотворение „Расстрел“ со временем войдет во все антологии при любом режиме, но и в этих глубоко личных стихах о войне и революции нет той чистой и очистительной глубины, какую находим в „Конармии“ Бабеля».

В конце приведем фрагмент стихотворения Иосифа Уткина, подтверждающий слова критика.

Для волка сердце — ничего.
А много ли зверюге надо?
И с полушубка моего
Солдат весь путь
Не сводит взгляда.
Могу и душу подарить —
Вон там за следующей горкой…
……
«Товарищ, дай-ка закурить…»
«Последняя махорка…»

Колдобный дуб на что велик,
А в бурелом — соломке ровня,
Как аллигатор, грузовик
Улегся у каменоломни.
И офицер спросил:
«Готов?»
Я сосчитал штыки невольно.
Зачем им дюжина штыков?
И одного вполне довольно…
Потухли, ухнув, фонари!..
Жара… Во рту прогоркло.
«Т-т-т-оварищ… дай-ка закурить».
«Подохнешь без махорки…»

Реабилитация. «Маарив». 25 июля 1956 года.

Еще один еврейский писатель реабилитирован посмертно.

«Литературная газета», орган Союза писателей СССР, сообщает о подготовке к изданию произведений Ицхака Бабеля, еврейского советского писателя, следы которого затерялись 18 лет назад и который, судя по всему, нашел свой конец в «чистках» 1938 года.

И еще сообщается от имени еврейско-русского писателя Михаила Светлова о кончине двух советских писателей еврейского происхождения — Михаила Голодного (настоящая фамилия Эпштейн) и Александра Ясного. Неизвестно, умерли ли они естественной смертью или тоже погибли в процессе «чистки». Поэт и переводчик на русский язык поэзии Михаил Семенович Голодный (Эпштейн, 1903–1949) был сбит автомобилем при невыясненных обстоятельствах.

Александр Маркович Ясный (1903–1945) — русский поэт, один из представителей екатеринославской послереволюционной поэтической плеяды. Вместе с Голодным, Светловым и критиком А. Лежневым входил в литературную группу «Перевал» (создана в 1923–1924) при журнале «Красная новь» А. Воронского.

Газета, по-видимому, намекает на то, что эти поэты могли быть убиты из-за контактов с Ициком Фефером, казненным по делу Еврейского антифашистского комитета. Сегодня мы знаем, что это не так.

«Давар». 26 июля 1956 года.

Реабилитируют писателей

Нью-Йорк, 25 (США). «Литературная газета». [Перепечатана дословно заметка из «Маарива» с добавлением следующего предложения:]

«Все трое — Светлов, Голодный и Ясный — были известны как друзья Ицика Фефера».

«Херут». 27 июля 1956 года.

Еврейские писатели в России — кто еще среди умерших?

Нью-Йорк, 25 (США). После того как в СССР объявлено о выделении пенсионного пособия семьям покойных Ицика Фефера и Переца Маркиша, «Литературная газета»… [Потом воспроизводится дословно первый абзац заметки из «Маарива» и далее:]

«Пока из этого сообщения вытекает, что создана комиссия по исследованию его (Бабеля. — *Д. Р.*) литературного наследия, возможно, когда комиссия завершит свою работу, выяснятся дополнительные сведения о его судьбе».

[Далее приводятся дословно второй абзац из «Маарива» и третий абзац из «Давара», а потом:]

«Тем временем **„Фрайнт“**, выходящая в Нью-Йорке коммунистическая газета на идише, опубликовала список еврейских писателей, работающих сегодня в СССР. Но среди этих имен лишь совсем немногие известны специалистам по идишской литературе. Самый значительный из них — Моше Бродерзон (66 лет), уроженец Москвы, который большую часть жизни прожил в Польше, где и писал. Как сообщается, он готовит сейчас к печати новый сборник стихов».

Также в этом списке упомянут Кальман Виндровский, пишущий под псевдонимом Виндров. О нем говорится, что он готовит к переизданию свои старые произведения.

Читая эти публикации, следует обратить внимание на то, что Бабель стоит тут в ряду еврейских писателей, даже тех, кто писал

исключительно на идише.

«Давар». 27 июля 1956 года.

Будут изданы сочинения Бабеля

«Литературная газета», орган Союза писателей СССР, сообщает о подготовке к изданию произведений Ицхака Бабеля, еврейского советского писателя, следы которого затерялись 18 лет назад и который, судя по всему, нашел свой конец в «чистках» 1938 года.

«На данный момент сообщается, что создана комиссия по исследованию его (Бабеля. — *Д. Р.*) литературного наследия, возможно, когда комиссия завершит свою работу, выяснятся и будут опубликованы дополнительные сведения о его судьбе».

Далее идет уже знакомый нам текст: «И еще сообщается от имени еврейско-русского писателя Михаила Светлова о кончине двух советских писателей еврейского происхождения — Михаила Голодного (настоящая фамилия Эпштейн) и Александра Ясного. Неизвестно, умерли ли они естественной смертью или погибли в процессе чистки.

Все трое — Светлов, Голодный и Ясный — были известны как друзья Ицика Фефера».

Как видно, это сообщение казалось редакциям разных партийных газет настолько важным, что они — зная, что у каждой газеты свой круг читателей, — напечатали и снова повторили (как в **«Даваре»**) одно и то же.

И наконец очень важный отзыв Шленского о его работе над переводом Бабеля (Мелодия и голубятня // Аль а-мишмар. 1963. № 8, апрель):

«Перевод? Я ветеран в этом ремесле, которое взыскует строго, а платит убого. На мою долю выпали его бессчетные тернии и редкие розы. Но на этот раз (или мне это только кажется?), на этот раз я испытал нечто совершенно иное, никогда прежде мною не испытанное.

Всякая работа над переводом, если только стремишься к мастерству, по сути, есть встреча с кем-то другим, иным, и сводится к игре и маскараду. Язык — с другим языком, пейзаж — с другим пейзажем, мелодика — с полной своей противоположностью. И вдруг, на этот раз, словно исчезла перегородка инакости и явилась одинаковость. Словно переводчик вышел на встречу с другим, а встретил себя. И конечно, это начинается с мелодии, все начинается с ритма».

Лея Гольдберг о Бабеле

Лея Гольдберг. Ицхак Бабель: на иврите, в письмах и вообще… (О сборнике «Сипурим» в переводе Авраама Шленского.)

(יצחק באבל: בעברית, במכתביו ובכלל...)

// Амот. 1963 (2-й год выпуска). № 1. Июнь-июль.

Лея Гольдберг не просто оценивает новые переводы Бабеля на иврит, она пишет подробную работу о творчестве Бабеля, используя сборник 1957 года с предисловием И. Эренбурга; воспоминания венгерского писателя-коммуниста Эрвина Шинко (1898–1967), который «был в 30-х годах близок к Бела Куну и провел тогда несколько лет в Москве, пытаясь опубликовать там книгу о встречах с Бабелем в 1938 или 1939 году»; переписку Бабеля с членами семьи в Брюсселе, «опубликованную только по-итальянски»: Babel I. Racconti proibiti e lettere intime (a cura di Maria Olsufieva). Milano: Feltrinelli, 1961.

Лея Гольдберг начинает статью с полного текста рассказа Бабеля «Кладбище в Козине» в переводе А. Шленского (Бабель И. Сипурим / Иврит: А. Шленский. Сифрият поалим, 1963).

Кладбище в Козине

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды».

Лея Гольдберг пишет:

«Кто из читателей этого рассказа, из цикла рассказов Бабеля „Конармия“, может подумать, что изначально он не был написан на иврите? Тема рассказа, его стиль и язык в переводе А. Шленского, свидетельствуют, что русский подлинник в данном случае является переводом с иврита. И этот рассказ благодаря

переводу словно *вернулся домой*».

Лея Гольдберг, конечно же, намеренно играет с читателем, подталкивая израильских читателей к узнаванию ивритских коннотаций (в том числе стилевых и грамматических) в этом шедевре Бабеля.

«Возьмем предложения, вроде: („Илия, сын Азриила. — *Д. Р.*) великий в суждениях, знатный в размышлениях, боровшийся разумом против забвения“, и даже предложение из авторского описания: „Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса“. Ведь их источник — тот источник, что таится в душе, — это ивритские тексты. И приятно видеть эти рассказы в этом переводе, когда они приходят к нам без всяких околичностей. Читатель, владеющий русским, дивится: каким образом автор этого рассказа сумел передать на прекрасном русском языке этот ивритский стиль, если почти все переводчики наших древних книг на русский язык так непростительно грешили либо против ивритского подлинника, либо против русского языка (включая и русский перевод Танаха)».

Гольдберг снова подчеркивает, до чего «ивритский» писатель Бабель, какая ивритская музыка звучит в его слове, в отличие от столь многих авторов и столь многих переводов, в том числе переводов Священного Писания (даже переводы Библии на русский, по словам Гольдберг, звучат не столь органично и подлинно, не так по-ивритски, как творения Бабеля).

Гольдберг прежде всего пытается описать язык Бабеля:

«Мы различаем в его творчестве по меньшей мере четыре языковых пласта: (а) виртуозный язык писателя, непогрешимый в грамматическом и стилистическом отношении и тем не менее индивидуальный, особенный; (б) поэтический торжественный язык, за которым различимы интонации библейской поэтической речи; (в) еврейско-русский язык и язык одесситов из мира людей вне закона (очевидно, лишь когда писатель передает нам прямую речь или делает рассказчиком человека вроде Бени Крика); русский язык, в котором различимо влияние идиша, когда его еврейские персонажи кое-как изъясняются по-русски. Интересно, что в переводе Шленского все эти четыре языковых оттенка сохранены и иврит в точности следует за русским подлинником».

Здесь снова, читая мастерский разбор Гольдберг, удивляешься, почему столь многие люди упустили «еврейскость» (и, согласно Гольдберг, даже «израильскость») стиля и обертонов в творениях Бабеля. Проницательный анализ Гольдбег, быть может, наиболее близок и полон значения для еврейского, израильского читателя, но он также представляет собой общую интерпретацию намеренно выбранного Бабелем стиля письма.

Этот анализ заслуживает значительно большего внимания литературоведов.

«Но мы привели здесь этот короткий рассказ не только для обсуждения языка Бабеля. Да и слово „рассказ“, вообще говоря, не подходит к нему, он скорее похож на стихотворение в прозе. Читатель, который знает, что это козинское кладбище где-то на Волыни нежданно-негаданно возникает посреди цикла рассказов о Гражданской войне после Октябрьской революции в России, спрашивает себя: кто же этот пишущий (здесь и далее выделено Л. Г. — *Д. Р.*) и перед кем встает образ четырех поколений хасидских раввинов на Волыни и глубины еврейской истории, запечатленный в безгласных камнях, говорящих своими ивритскими надписями в той жалкой усыпальнице, „нищей, как жилище водоноса“? Ведь пишущий приходит на это кладбище с отрядом казаков Буденного. И именно этот еврейский казак вспоминает погромы 1648–1649 годов и „склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого“. Ведь Бабель, как кажется, сбросил с себя все путы традиции и пошел к миру революции, и войны, и грез о свободе и равенстве всех народов, — а еврейская хасидская традиция следует по пятам за ним и за его поэтическими строками, и то, что называется архетипом его памяти, он черпает в истории своего народа, в квадратных буквах, из воспоминаний, которые являются не только воспоминаниями его детства, но и памятью поколений, диктующей ему не в одном лишь этом рассказе».

Как замечает Гольдберг и как многократно указывается в этой книге, невозможно отделить литературную личность Исаака Бабеля от еврейских мотивов, которыми пронизаны все его рассказы и пьесы. Бабель был и остается писателем, для которого еврейская история, еврейский народ, еврейские персонажи служат истоками, с которых часто начинаются и к которым неоднократно возвращаются даже самые короткие его рассказы (что видно на примере «Кладбища в Козине»).

«Этот короткий рассказ, где стерты границы времени, где настоящее и прошлое сливаются воедино, представляет собой картину кочующего народа, евреев в меховых шапках, которые как живые проходят перед нами, встают из-под надгробий, украшенных изображением рыбы или овцы. И в конце концов оказывается, что в этом коротком перечне рассказывается нечто — много больше, чем нечто, — об истории хасидизма на Волыни: надпись на надгробиях есть краткая история еврейской общины и царивших в ней настроений. Возьмем хотя бы имена: Азриил, сын Анания; а за ним — Илия, сын Азриила; а в третьем поколении уже имя еврея из галута — Вольф, сын Илии, словно не стало у

него былого мужества „вести войны Всевышнего“ и способности „вступить в единоборство с забвением“. Как органично сочетается это имя с тем, что следует за ним: „похищенный у Торы на девятнадцатой весне“. А затем Иуда, сын Вольфа, и слова „сын Вольфа“ многое говорят нам о биографии девятнадцатилетнего юноши, умершего до срока, но уже женатого и имевшего сына. Этот Иуда, как явствует из надписи, не был жителем Волыни, но переселился далеко от родины, жил в больших городах — в святой общине Кракова и даже святой общине Праги. Как можно было умудриться нарисовать историю о величии и закате и о дальних краях без единого авторского замечания, рассказать длинную историю, ничего не рассказывая!

Квадратные буквы — именно они зачастую извлекали из глубины души этого писателя, писавшего русской азбукой и учившегося писательскому ремеслу у француза Мопассана, внутренний конфликт еврейского казака, отчетливо видящего смерть рабби Азриила, сына Анании, от руки казаков Богдана Хмельницкого, и в этом один из глубочайших моментов творчества Бабеля, творчества, которое борется с жестокой действительностью, растаптывающей все мечтательное, все нежное, что способен чувствовать человек. Одна действительность, высвечивающая кровь, дерьмо и жестокость свободы, и другая — та, что похоронена на старом кладбище, в книгах, оставшихся в полуразвалившихся синагогах, в хасидской истории, которая уже никогда не будет досказана до конца. Вот строки из рассказа „Сын рабби“:

„За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии…“ Еврейское царство один на один с революцией, как отличается оно от небесного царства и русского царского рода. Это — царство духовное, царство неимущих, царство тех, кто верит. Той веры уже не было в сердце Бабеля, но ее отпечаток еще не стерся».

«Вера» — очень сильное слово, и никто не может заглянуть в голову или сердце другого человека и с уверенностью сделать заявление о крепости его веры. В то же время «Дневник», процитированный выше, как и письма Бабеля к родным, свидетельствуют, что Бабеля связывало с его еврейской идентичностью нечто большее, чем просто симпатия или

воспоминания. Его привязанность к еврейским корням была гораздо сильнее, и в его творениях звучат очень сильные чувства, говорящие о его близости к своему еврейскому наследию.

Лея Гольдберг останавливается на словах умирающего Ильи: «Мать в революции — эпизод» — и пишет, что все, сказанное Ильей до того — революционные пропагандистские штампы, — опровергается одним человеческим словом «мать». И весь трагизм рассказов «Конармии» проистекает из этой фразы. Обсуждение этого рассказа Лея Гольдберг заканчивает, цитируя его последний абзац, в котором рассказчик (Лютов) называет себя «братом» умершего.

Лея Гольдберг характеризует книгу «Конармия» как «один из ужасающих документов русской революции» и пишет, что Бабель намеренно поместил в конец книги рассказ «Сын рабби» и его заключительную фразу (она цитирует ее вторично, выделяя слова: последний вздох моего брата), что независимо от того, что еще написал потом Бабель, все репрессии, которым он подвергся (она их перечисляет), могли обрушиться на него уже только за то, что он изобразил в «Конармии».

Лея Гольдберг пишет, что весной 1936 года ей попался номер «Литературной газеты» с отчетом о Съезде советских писателей, показавший ей: «…петля на горле писателей в СССР затягивается все туже и туже. Почти каждый каялся в грехах и обещал исправиться». Далее она приводит слова Бабеля: «Я не сторонник самокритики после содеянного. Писатель обязан заниматься самокритикой до того, как он пишет и публикуется», и добавляет, что уже тогда ее сердце сжалось от страха, и «всякий, кто знал о положении писателей и литературы в то время, когда социалистический реализм еще не был провозглашен единственным принципом, но девизом было: земля и фабрика, понимал, что проявленная отвага дорого обойдется Бабелю».

Далее Гольдберг цитирует последнее письмо Бабеля, написанное в Переделкине 10 мая 1939 года (из итальянского издания его переписки): *«информации ради сообщаю, что уже два дня идет снег… чудное 10 мая!»* — и пишет, что Бабель старается шутить и не показывать тревоги, хоть и признается, что не пишет прозу, *работает над сценарием фильма о Горьком* и собирается довести до конца «Великую криницу», из которой, добавляет Лея Гольдберг, «свет увидела только первая глава, а дальнейшую публикацию запретила сталинская цензура».

И снова Гольдберг подчеркивает: нам, как и семье писателя, неизвестно ни когда он погиб, ни где он похоронен. Она пишет: «Нонконформизм Бабеля начался не в сталинскую эпоху. Он начинается там, где начинается человек и писатель Бабель. Уже

то, что еврей в очках оказался в составе Конармии Буденного, не являлось типичным для Гражданской войны. Обычное членство в Компартии и энтузиазм, охвативший многих евреев во время русской революции, дали им возможность занять военные должности и выполнять различные поручения, но это, как кажется, совсем не то, что произошло с Бабелем. Этот еврей, видевший, как его отец валяется в ногах казака-погромщика, хотел, вероятно, воплотить в жизнь мечту о других казаках и других евреях. В его выборе была своеобразная месть за прошлое, мечта о возмездии, разрыв с традицией, который, возможно, предоставит каждому человеку свободу в решении собственной судьбы, особенно если этот человек — еврей, и позволит ему по-своему продолжать ту часть традиции, которая будет ему дорога. Не случайно в указанной переписке он никогда не забывает отчитаться матери и сестре о том, где провел пасхальный седер, и спрашивает их, соблюдают ли они *традицию предков* и как они провели Песах. А в гражданский Новый год иронически замечает: *„Поскольку Бога нет, нам придется сделать этот год продуктивным и рациональным“*».

Лея Гольдберг пишет о сходном отношении к революции Блока и Бабеля как к «силе, которая сметет с земли мелкобуржуазную узость взглядов, унижение человека человеком, как бурю, которая очистит затхлый воздух царской цивилизации». И потому Бабель почти с любовью воспринял жестокость, о чем свидетельствуют рассказы «Конармии». Как и Блок, продолжает Лея Гольдберг, он стал задыхаться, когда после революции жизнь стала входить в устойчивое русло и «из благословенного океана поднялось болотное зловоние. И в двадцатых годах у Бабеля было достаточно творческой энергии и борьбы за свой неповторимый литературный стиль, чтобы не впасть в депрессию и не отступиться от прежних идеалов».

Лея Гольдберг пишет, что, как бы ни увлекала Бабеля идея коллектива, он всегда оставался особым индивидом, всегда держался отдельно. И единственная нерасторжимая связь с коллективом была лишь в его принадлежности к еврейскому народу. Здесь Лея Гольдберг делает чрезвычайно проницательное замечание относительно личности и работ Бабеля: во многих отношениях он одиночка, он работает сам по себе, и все же есть точка, где эта личность, это замкнутое пространство открываются другим: когда писатель имеет дело с вопросами, касающимися иудаизма. Иудаизм соединяет его с другими людьми, будучи религией, которая проявляется — будь то в молитве, изучении текстов, большинстве ритуалов — во взаимодействии с другими людьми. Это не религия затворников, дух которой стяжают в

одиночестве; это религия общины, где дух обретается в общности и разделяется с другими. Слова Писания «бров ам хадрат мелех» («Во множестве народа — величие царя») (Притч., 14:28) являются принципом еврейского закона, который рекомендует выполнять предписания для исполнения Господней воли в составе как можно большей группы, чтобы оказать как можно большую почесть Богу. Более того, для многих молитв указано минимальное количество людей, необходимое при чтении, поскольку, собравшись вместе в этом числе, люди воздают должную честь Богу. Именно это, во многих смыслах, утверждает Гольдберг: как личность, Бабель хранил свои идеи под спудом, при себе; именно иудаизм позволил ему, интроверту в интеллектуальном (хотя и не в социальном) смысле, выразить свои литературные идеи публичным образом. И все его попытки предать свое еврейство оборачивались ранами, наносимыми любящим человеком. Наряду с этим Бабель органически влился в русскую литературу. В этом ему посчастливилось, потому что «двадцатые годы в России были годами великого эксперимента в литературе и вообще в искусстве. Евреи стали заметной силой в этом художественном прорыве и заняли центральное место в русской словесности, особенно в поэзии: Пастернак, Мандельштам, до известной степени Эдуард Багрицкий». И в прозе: «формалисты — Ю. Тынянов, В. Шкловский, В. Каверин, Леонид Гроссман… но их ценность более в существовании как группы», тогда как Бабель велик сам по себе.

И в этом вся ирония: несмотря на все цепи, сковывавшие Бабеля, несмотря на его близость к чуждой и неодобряемой еврейской культуре — близость, которая после относительной свободы 1920-х, по диктату советских идеологов, могла быть у писателя только с социалистическим реализмом или прогрессом, за редкими исключениями, и советские идеологи добивались этой близости всеми доступными им методами, в том числе запретами на публикацию. Несмотря на все это, Бабель «органически влился», быстро получив признание, в замкнутый, снобистский мир русской литературы.

Лея Гольдберг пишет, что в Одессе Бабель сблизился с Паустовским и Багрицким, но это никак не сказалось на его творчестве. Отношение Бабеля к литературной традиции не было ее отрицанием, как у Маяковского. Пушкин служил ему основой языка. «И не случайно в „Истории моей голубятни“ Бабель пишет, как был принят в гимназию вопреки процентной норме» благодаря чтению стихов Пушкина. Прекрасно владея французским, пишет Гольдберг, Бабель учился письму у Ги де Мопассана, у которого «перенял страсть к материальному

земному миру, которой совершенно нет в рассказах Чехова».

Лея Гольдберг пишет о любви Бабеля к поэзии Блока и приводит слова Бабеля о Блоке: которому *дано то, что мне приходится добывать в поте и труде*. Кроме того, по словам того же Бабеля, в отличие от Блока, он *начисто лишен воображения*. Гольдберг поясняет, что это побуждало его зорко всматриваться в действительность и доводить точность описаний до точности репортажа. Переходя к «Одесским рассказам» о людях вне закона, Гольдберг пишет, что воображение Бабеля — это фонарик, высвечивающий детали и ракурсы, которые создают его неповторимое повествование. И подчеркивает способность Бабеля различать за словами и поступками людей их скрытые помыслы и импульсы. Оттого так важны Бабелю эти красноречивые детали: жесты, взгляды, движения.

Лея Гольдберг пишет о требовательности Бабеля к своим произведениям, которые он оттачивал и переписывал по многу раз. Как Бабель критиковал свои рассказы, помимо его воли попавшие в «Новый мир» и другие периодические издания, и называл их *«выкидышами»*, недоделанными.

Бабель хранил огромное количество черновиков и ранних версий — тут Лея Гольдберг ссылается на воспоминания Паустовского и сравнивает Бабеля со Львом Толстым, который по нескольку раз переписывал свои романы. Гольдберг мечтает об издании посвященного Бабелю тома «Литературного наследства» с публикацией неизданного и вариантов рассказов, но тут же замечает, что это вряд ли случится скоро. Она пишет: «… реабилитация Бабеля не реабилитировала его творчество, и советский режим по-прежнему боится идеологической невыверенности его рассказов и их эротики, недопустимой в викторианской чопорности, о которой пекутся в СССР».

«Реабилитация Бабеля не реабилитировала его творчество» — это явная истина в отношении трудов Бабеля. Несмотря на все усилия его друзей, коллег, его семьи, поклонников, несмотря на толпы людей, приходивших на публичное чтение произведений Бабеля, те, кто помнил его неутомимый гений, смогли добиться полной реабилитации его работ лишь через несколько десятилетий после смерти писателя. По правде сказать, при том, что так много его тайных литературных шедевров все еще погребено под кучами других бумаг, обличений, раздутых обвинений или, что еще хуже, бездумно сожжено вместе с мусором в попытке режима стереть свои собственные грехи, Бабель никогда не будет реабилитирован по-настоящему. Тем хуже для нас. Но с другой стороны сила его голоса, его

жизнестойкость, его попытка сочетать мир прошлого с невероятным литературным талантом обязаны жить.

Говорят, что Бааль-Шем-Тов любил свет, гематрия (числовой эквивалент суммы числовых значений всех букв, составляющих какое-либо слово, записанное еврейским письмом) слова «свет» на иврите соответствует гематрии слова «секрет». Другими словами, те, кто знает секрет, скрытый во всем, могут принести свет. Бабель был одним из тех, у кого это получилось. Его творчество, пришедшееся на двадцатые-тридцатые годы и доступное нам сейчас, продолжает нести свет, который никогда не погаснет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Библиография переводов Бабеля на иврит, опубликованных в периодических изданиях до 1970 года (в хронологическом порядке)

1926

Очерки: Гедали. Линия и цвет (повторно: в еженедельнике **Коль а-ам**. 05.11.1970. С. 12). Рабби. Письмо. Сидоров. Сын рабби. (Моше Хьог при участии автора) // **Берешит**. М.-Л. (отпечатано в Берлине), 1926. С. 15–38.

1927

История моей голубятни / Без имени переводчика // **Моледет**. 1927. Т. 9. № 2. С. 104–112.

Переход через Збруч. Гедали. Исраэль Змора. Рассказы //**А-Арец**. 27.05.1927. С. 2.

Письмо (Из времен Гражданской войны в России). Рассказ / Пер. А. П. (Александр Пэн?) // **А-Арец**. 24.11.1927. С. 3.

1930

Гедали. Моше Басок // **Ге-Атид**. Варшава. 01.06.1930. № 96. С. 8.

Гедали, сын раввина, и Ленин / Без имени переводчика (Авраам Шленский?) // **Ктувим**. 24.07.1930 (4-й год издания). № 35. С. 2.

1932

Гедали. Кальман Глини // **Доар а-йом**. 1932. 10 число 2-го адара. С. 3.

1938

Поцелуй. М. Л. (Менаше Левин) // **Теша ба-эрев**. 08.09.1938 (2-й год издания). С. 9, 22.

Смерть Долгушова. Эшель [Авраам Шленский] (Менаше Левин) // **Турим**. 1938 (2-й год издания). № 4. С. 4–5.

1940

Интернационал добрых людей… N. // **Йедиот ахаронот**. 14.08.1940. С. 2.

Начало (Как это делалось в Одессе). Ш. (Шломо-Йосеф) Герберг // **Мознаим**. 1939–1940. Т. 9. С. 256–258.

1941

Начало (Как это делалось в Одессе) / Без имени переводчика (перепечатка из Мознаим?) // **А-Шомер а-цаир**. 25.06.1941. № 26. С. 10.

1944

Гедали. Авраам Шленский. // **А-Шомер а-цаир**. 1941 С. 7–9.

Гедали и Ленин. Авраам Шленский // **Пиркей микра ле-эхад бе-май** (Хрестоматия к Первому мая). Гистадрут клалит шель а-овдим в Эрец-Исраэль. Центр культуры и образования. 1944. С. 5.

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионовича. Барух Каро. Там же. С. 230–232.

История моей голубятни / Без имени переводчика // **Мивхар а-сипур а-олами** (Избранные рассказы зарубежных писателей) / Сост. и ред. Д. Кимхи. Тель-Авив: Изд. Йосефа Шербрака (для детей и юношества), 1944. С. 157–164.

Соль. Барух Каро // **Мивхар а-сипур а-руси** (Избранные рассказы русских писателей). Ред. Шломо Скольский. Тель-Авив: Гадар, 1944. С. 227–229.

1955

Ги де Мопассан / Пер. Г. Л. (Лея Гольдберг) // **Молад**. 1955. Т. 13. № 83. С. 221–224.

1956

Гедали. Моше Басок // **Мибифним**. 1956. Т. 19. № 1. С. 77–78.

1957

Сын рабби / Без имени переводчика // **Коль а-ам**. Сифрут. 08.11.1957. С. 11.

1959

Два рассказа из «Конармии»: Сын рабби. Смерть Долгушова. Ш. (Авраам Шленский) // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 30.04.1959. С. 6–7.

Два рассказа: Переход через Збруч. Гедали / Без имени переводчика // **Сулам**. 1959. № 5. Тишрей (сентябрь). С. 18–20.

1961

В подвале. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 10.11.1961. С. 5–6.

Кладбище в Козине. Шломо Бен-Зеэв // **Маарив**. 17.03.1961.

Сын рабби. Р. Р. // **Давар**, Мусаф ле-сифрут ве-ле-оманут. 31.03.1961. С. 7.

1962

Гедали. Авраам Шленский //**Ле-мерхав**, литературное приложение. 05.01.1962. С. 1.

Ги де Мопассан. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 18.04.1962. С. 6.

Карл-Янкель. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 12.01.1962. С. 5–6.

Мой первый гусь. Авраам Шленский // **Кешет**. 1962. Т. 4. № 2 (14). С. 80–82.

Первая любовь. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 28.09.1962. С. 12.

Пробуждение. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 30.11.1962. С. 5.

1963

Гапа Гужва (первая глава из романа «Великая Криница» // Новый мир. 1931. № 10). Авраам Шленский (?) // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 01.03.1963. С. 5–6.

Гедали. Авраам Шленский // **Давар**, Мусаф ле-сифрут ве-ле-оманут. 14.04.1963. С. 4.

История моей голубятни. Авраам Шленский // **Амот**. 1963. Т. 1. № 2. С. 11–17.

Пошлость — вот враг! (Речь на I Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году) Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 08.04.1963. С. 9–10.

1964

Шабос-Нахаму / Без имени переводчика // **Маарив**, литературное приложение Сифра ве-сайфа. 23.10.1964.

1965

Вечер у императрицы (Из петербургского дневника). Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 26.09.1965. С. 15.

Мишка Япончик — он же Беня Крик. Рассказ / Без имени переводчика // **Коль а-ам**, Ле-сифрут, оманут ве-бикорет. 19.03.1965. С. 1.

Славное море, священный Байкал: Песня из пьесы «Закат». Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 12.03.1965. С. 16.

1966

Мой первый гонорар. Рассказ / Без имени переводчика // **А-Арец**, Тарбут ве-сифрут. 14.01.1966. С. 15.

Шабос-Нахаму (Из цикла «Гершеле»), Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 04.04.1966. 2-я публикация: Там же. 20.04.1970. С. 11.

1967

Беня Крик. Пинхас Саде // **Мивхар а-сипур а-эйропеи** (Избранные рассказы европейских писателей) / Ред. Дан Орен [Пинхас Саде]. Тель-Авив: Гадар, 1967. С. 12–31.

Полак (Пан Аполек). Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 04.10.1967. С. 19.

Старый Шлойме. Рассказ. Ш. (Авраам Шленский)// **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 08.12.1967. С. 5.

Фроим Грач. Рассказ. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 24.04.1967.

1968

Закат. Рассказ. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 12.04.1968. С. 16.

1969

Гедали (Из сборника **Цилцилей Шама**) / Без имени переводчика // **Коль а-ам**, Даф ле-сифрут, оманут ве-бикорет. 14.11.1969. С. 4.

Детство. У бабушки. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 12.09.1965. С. 15.

Слепой крот в норе (рассказ не обнаружен в русских текстах Бабеля). Рассказ / Без имени переводчика // **А-Арец**, литературное приложение Тарбут ве-сифрут. 25.07.1969. С. 22.

Сын рабби. Из сборника Берешит (М. Хьог). // **Коль а-ам**. 07.11.1969. С. 4.

1970

Мой первый гонорар. Авраам Шленский // **Аль а-мишмар**, Даф ле-сифрут ве-ле-оманут. 20.04.1970. С. 11.

Событием в культурной жизни Израиля стал выход сборника: Бабель И. Сипурим (Рассказы) / Пер. А. Шленского. Изд-во Сифрият поалим, 1963. В этот сборник вошла вся «Конармия», все «Одесские рассказы», а также «Автобиография».

Отзывы на этот сборник были практически во всех

периодических изданиях — газетах и толстых журналах. Часть из них отражена в переведенных статьях.

Сведения об ивритских журналах и газетах, в которых публиковались переводы творчества бабеля до 1970 года

«Аль а-мишмар» (до 1948 года называлась **«Мишмар»**) — газета молодежного прокоммунистического движения **«А-шомер а-цаир»** («Молодой страж») с девизом: «Сионизм, социализм и братство всех народов». Выходила с 1943 года. В редакции со дня основания работал А. Шленский, потом в ее состав вошла Л. Гольдберг. Газета искала дружбы с СССР, задавала тон в литературной и театральной критике.

«А-Арец» — выходит с 1919 года. До возникновения Государства Израиль газета защищала национальные интересы ишува, освещала политику в свете сионизма, нередко закрывалась британской цензурой. В те годы в редакции в разное время работали Лейб Яффе, Зеэв Жаботинский, Итамар Бен-Ави (сын Элиэзера Бен-Йеуды) и редактор д-р **Моше Гликсон**. Газета с самого начала поддерживала высокий интеллектуальный уровень и привлекала к сотрудничеству образованных людей из разных стран исхода. В 1937 году «А-Арец» купила семья Шокен, и ее направление изменилось: принцип прибыльности газеты сыграл свою роль (реклама, сенсация, сплетни). Поэтому в 1943 году поэт Натан Альтерман ушел из «А-Арец» и перешел в **«Давар»**. В 1950-х годах «А-Арец» возражала против еврейского заселения страны и выступала за селективную алию из стран арабского Востока, т. е. была в оппозиции к Бен-Гуриону. В 1950-х и 1960-х годах литературное приложение **Тарбут ве-сифрут** редактировал писатель и искусствовед **Биньямин Таммуз** (по идеологии принадлежал к Кнааним/Хананейцам), это приложение отличалось высоким уровнем публикаций и пользовалось большой популярностью.

«Давар» — газета основана **Берлом Каценельсоном** в 1925 году (просуществовала до 1996 года). Орган Объединения профсоюзов. Защищала интересы трудящихся и пропагандировала все области культуры, боролась с провинциальностью и наследием местечковости. С 1944 года, после смерти **Берла Каценельсона**, редактором стал **Залман Шазар** (Рубашов), будущий президент Государства Израиль. Газета социалистического и национального направления, положительно относилась к СССР, однако выступала с критикой

советских репрессий и партийной цензуры. До Второй мировой войны там работала Лея Гольдберг, а еще раньше — А. Шленский. На литературных страницах «Давара» публиковались лучшие поэты и писатели ишува и Израиля.

«Доар а-йом» — ежедневная газета, выходила в 1919–1936 годах. Основана уроженцами Эрец-Исраэль как «антирусская» альтернатива газете **«А-Арец»**, которую учредили выходцы из России. Главным человеком в редакции был Итамар Бен-Ави (после закрытия газеты перешел в «А-Арец»). Рупор молодого поколения уроженцев страны.

«Йедиот ахаронот» — ежедневная газета, из первых частных газет в ишуве, основана в 1939 году Гершомом Комаровым, но быстро была перекуплена семьей Мозес, и редактором стал **Азриэль Карлебах**. В 1948 году Карлебах и многие члены редакции ушли из газеты и основали новое издание, которое со временем превратилось в **«Маарив»**. До 1980-х годов включительно «Йедиот ахаронот» имела обширное литературное приложение, ориентированное в основном на обзор израильской литературы и культуры.

«Коль а-ам» — ежедневная газета коммунистической партии «Мапай», выходила в 1937–1975 годах. Полностью солидаризировалась с политической линией СССР, вплоть до того, что во время «дела врачей» осудила «шайку агентов американского империализма». Газету неоднократно привлекали к судебной ответственности за клевету и закрывали на несколько дней за нападки на политический режим в Израиле. Редактором литературного отдела газеты почти все время ее существования был поэт **Александр Пэн**, член Компартии Израиля.

«Маарив» — ежедневная газета, основана в феврале 1948 года и в 1950-1960-х годах была самой популярной газетой в Израиле (в 1970-х начался закат газеты). В редакции работали лучшие журналисты 1940-х годов, газета отражала взгляды европейских городских евреев в Израиле, часто правого и ревизионистского толка, ориентировалась на образцы лучшей европейской прессы. Однако вопросы литературы не занимали в газете значительного места.

«Мибифним» — ежеквартальный орган Объединенного кибуцного движения под руководством Ицхака Табенкина, основан в 1927 году (выходил до 1982 года). Среди редакторов

«Мибифним» был поэт и переводчик **Моше Басок**.

«Молад» — литературно-общественный журнал, выходил в 1948–1986 годах. До 1967 года (редактор Эфраим Бройда) был ежемесячником под покровительством партии «Мапай», потом стал независимым изданием.

«Моледет» — ежемесячный журнал для юношества, выходил с 1911 года, редактор Симха Бен-Цион (Яффо), во время Первой мировой войны не издавался. С 1919 года редактор — поэт, прозаик, критик **Яков Фихман**. Задача журнала, инициированного учительской организацией в Эрец-Исраэль, — воспитать молодое поколение сионистов культурными в еврейском и общем плане людьми. В частности, там публиковались переводы из русской литературы XX века и статьи о русских писателях.

«Сулам» (**«Лестница»**) — общественно-литературный журнал, основан одним из командиров «Лехи» («Борцов за свободу Израиля») — еврейской подпольной организации, действовавшей против британского мандата в Палестине с 1940 года и до основания государства Израиль в 1948-м), **Исраэлем Эльдадом**, после провозглашения Государства Израиль. Выходил в 1949–1963 годах. Помимо Эльдада там печатались публицисты правого толка и поэт Ури-Цви Гринберг, однако в первые годы в журнале ощущалась также просоветская направленность. Эльдад считал партию «Мапай» и ее лидера Давида Бен-Гуриона своими политическими противниками и крайне негативно относился к арабскому населению страны.

«Турим» — еженедельный литературный журнал группы **«Яхдав»** во главе с Авраамом Шленским. Выходил в 1933–1935 и в 1938–1939 годах в Тель-Авиве.

Переводчики, переводившие произведения Бабеля на иврит до 1970 года

Многие переводы (а также критические разборы, толкования, комментарии) работ Бабеля подписаны одной буквой или псевдонимом, который трудно или невозможно разгадать («N.», «П. П.»). В приведенный ниже список включены те люди, биографическую информацию о которых удалось найти после тщательных поисков в доступных источниках.

Моше Басок (1907, Ковно — 1966), в Палестине с 1936 года. До того жил также в Варшаве, где работал в редакции органа движения «Ге-Халуц» на идише и иврите «Ге-Атид», там опубликовал свой первый перевод из Бабеля. В Эрец-Исраэль примкнул к кибуцному движению, был редактором журнала «Мибифним», там напечатал свой второй перевод из Бабеля.

Шломо-Йосеф Герберг (1884, Владиславов, близ Сувалка, Польша — 1966, Тель-Авив), один из первых профессиональных переводчиков на иврит в Эрец-Исраэле. Учился в ешиве «Слободка» и Воложинской ешиве, а также на педагогических курсах в Гродно. В Палестине с 1920 года, учительствовал в Тель-Авиве и Петах-Тикве, затем занимался переводами и литературным трудом. Перевел с русского следующие художественные произведения: «Крейцерова соната» Л. Толстого (1926, Иерусалим; 1945, 1954); «Идиот» (1929, Иерусалим — Тель-Авив; 1952, 1956, 1972, 1975), «Бесы» (1930, Иерусалим — Тель-Авив; 1974), «Подросток» (1959) Ф. Достоевского; «Единый фронт» И. Эренбурга (1933, Тель-Авив: Штыбель), «Фома Гордеев» (1927, Иерусалим; 1945), «Дело Артамоновых» (1934), «Сказки об Италии» (1945), «Клим Самгин» (1950–1951), «Мои университеты» (1954) М. Горького; «Вор» (1949) Л. Леонова; «Три цвета времени» (1952–1953) А. Виноградова. В 1960 году — премия им. Ш. Черниховского за переводы мировой литературы.

Лея Гольдберг (1911, Кенигсберг — 1970, Иерусалим), в Палестине с 1935 года. Одна из виднейших поэтесс Израиля, автор книг для детей, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, автор книг о русской литературе. Перевела с русского «Войну и мир» Л. Толстого, стихи и еще множество книг для взрослых и детей. Не состояла ни в какой партии, и ее дружба с писателями левого толка не отражала ее идеологических

воззрений.

Исраэль Змора (1899, Бессарабия — 1983, Тель-Авив), самоучка. В Петрограде примыкал к движению «Цеирей Цион»; в Палестине с 1925 года. Книгоиздатель, критик, литератор, редактор. Вместе со Шленским в 1920–1930 годах создал группу литературной молодежи, искавшей новые средства выражения, «Яхдав», и участвовал в журналах «Ктувим» и «Турим». В 1939 году основал журнал «Махбарот ле-сифрут» («Литературные тетради»), а в 1940-м — издательство с тем же названием (ныне — «Змора-Бейтан»), выпустившее более 300 наименований книг — классику и новые книги для взрослых и для детей, ивритские и переводные.

Барух Каро (Крупник; 1889, близ Винницы — 1972), писатель, журналист, литературный критик и переводчик, один из основателей Союза ивритских журналистов Израиля, культуртрегер (в т. ч. в сфере искусства и музыки). Сын Яакова-Йосефа Галеви Крупника, деятеля «Мизрахи» в Одессе. Участвовал в ивритской литературной жизни Варшавы и Берлина. В Палестине с 1932 года, стал работать в редакции «А-Арец» (до 1942), потом перешел в газету «А-Бокер» (до 1962). Был близок к Жаботинскому. Перевел с русского «Самсона» (1930 и др.) В. Жаботинского, «Историю еврейского народа» (1929) С. Дубнова, «Преступление и наказание» (1973) Ф. Достоевского, фантастические романы «Невредимка (Подводные битвы в Ледовитом океане)» (1950) и «Арктания: Летающая станция» (1972) Г. Н. Гребнева.

Менаше Левин (1903, Гродзенск, Польша — 1981, Тель-Авив), ивритский поэт, писатель, переводчик (в основном с французского). В Палестине с 1925 года (4-я алия) и сразу сблизился с группой «Яхдав», но также дружил с Х.-Н. Бяликом.

Александр Пэн (1906, Нижнеколымск, Россия — апрель 1972, Израиль), израильский поэт. В 1920 году переехал в Москву изучать кинематографию и в том же году опубликовал свои первые стихи на русском языке. В 1927-м уехал в подмандатную Палестину.

Там начал писать стихи на иврите, который выучил после приезда в Палестину. Эти стихи он напечатал в ежедневной газете на иврите «Давар» и различных литературных журналах. Пэн был несгибаемым марксистом и членом Израильской коммунистической партии. Он редактировал литературный

раздел партийной газеты «Коль а-ам».

Среди прочих работ Пэна — стихотворение «Видуй» («Моя исповедь»), страстное произведение о любви и смерти. Стихотворение было положено на музыку в начале 1970-х, и с тех пор его исполняли многие израильские певцы и музыканты.

Но в основном Пэн известен богемным образом жизни. Он заболел диабетом, когда ему не было и тридцати, однако не перестал курить и сильно пить, считая себя сильным человеком, способным превозмочь телесные недуги и посрамить медицину. Его роман с коммунизмом, напротив, сделал его изгоем. В 1989 году профессор Хагит Гальперин выпустила первую биографию Пэна «Шалехет кохавим» («Падучие звезды. Александр Пэн, его жизнь и работа до 1940», иврит). В новой биографии Гальперин открывает иной взгляд на жизнь Пэна. Его настоящее имя — Абрахам Пепликер-Штерн, и родился он в 1905 году, — согласно Гальперин, так написано на его карточке в архиве организации Политического Красного Креста. Его отец, Йосеф Штерн, некоторое время держал хедер (еврейскую начальную школу), а затем преподавал иврит и тоже писал стихи. Пэн изменил фамилию на Пепликер, чтобы избежать призыва на военную службу, а потом сократил получившуюся фамилию, взяв первую букву «пех» от «Пепликера» и последнюю букву «нун» от «Штерна».

Пинхас Саде (1929, Львов — 1994, Иерусалим), поэт и прозаик на иврите, популяризатор хасидского наследия и еврейских религиозных традиций. Был вне каких-либо партийных и идеологических групп. Составитель литературных антологий и сборников.

Моше Хьог — подробная биография Моше Хьога (псевдоним Цви Плоткина) приведена выше.

Авраам Шленский (6 марта 1900, Кременчуг, Украина — 18 мая 1973, Тель-Авив, Израиль), выдающийся израильский поэт и редактор.

Событием в культурной жизни Израиля стал выход сборника: Бабель И. Сипурим (Рассказы) / Пер. А. Шленского. Изд-во Сифрият поалим, 1963. В этот сборник вошла вся «Конармия», все «Одесские рассказы», а также «Автобиография».

Отзывы на этот сборник напечатаны практически во всех периодических изданиях — газетах и толстых журналах. Часть из них отражена в переведенных статьях.

Шленский сыграл большую роль в развитии современного

иврита и израильской литературы благодаря многочисленным, получившим высокую оценку переводам литературных классических произведений, особенно с русского языка, а также написанным им книгам для детей. Известного своим остроумием Шленского называли «Лашонский» («лашон» — «язык») за чрезвычайно удачные новаторские находки, вошедшие в развивающийся иврит.

Шленский родился в хасидской семье в Крюкове (Полтавская губерния), ныне часть города Кременчуг (Украина). Его отец Тувия был любавичским хасидом, а мать Ципора — революционеркой. Будучи беременной шестым ребенком, она прятала прокламации на теле. Пятилетний Авраам выдал ее, и она была арестована. Четверо братьев и сестер Шленского были вундеркиндами. Его младшая сестра — композитор и пианистка Вердина Шленски. В 1913-м, когда Шленскому было 13 лет, его послали в Палестину, тогда принадлежавшую Оттоманской империи, учиться в престижной еврейской гимназии «Герцдия» в Тель-Авиве. Когда разразилась Первая мировая война, Шленский вернулся на Украину.

В 1921 году вся семья наконец переехала в Палестину. Тувия Шленский работал управляющим складом и бухгалтером на фабрике «Шемен» в Хайфе. Авраам стал чернорабочим — мостил дороги и работал на стройках, как и другие участники 3-й алии. Он вступил в партию «Гдут а-авода» и помогал основать кибуц Эйн-Харод в Изреэльской долине. Женился на женщине по имени Люсия, но поддерживал тайную связь с Мирой Горовиц, женой друга и коллеги, которая в 1936 году родила ему ребенка.

Первое свое стихотворение Шленский опубликовал в 1919 году в газете «А-Шилоа». Он участвовал в еврейской культурной жизни, в том числе писал песни для сатирических пьес и пуримских костюмированных балов, которые были в моде в ранние годы существования Тель-Авива. Даже в начале поэтической карьеры он выказывал склонность к юмору, внедряя свои языковые новации в возрожденный и развивающийся иврит. В этот период он редактировал литературные колонки в нескольких газетах.

Постепенно он стал представителем группы «бунтарей», восстающих против поэзии Бялика и его поколения. «Бунтари» не стеснялись выражать свое отвращение к тому, что они считали штампами, характерными для Бялика и его современников. Новая группа старалась создавать живую, динамичную, молодую поэзию, а не довольствоваться обносками литературного истеблишмента. Многие годы — возможно, именно из-за этой позиции группы — стихи Шленского не изучались в школах, в

отличие от стихов Бялика, Шауля Черниховского, Давида Шимони и других.

В 1933 году Шленский основал литературный еженедельник «Турим», выпускаемый группой «Яхдав», в состав которой входили также Натан Альтерман и Лея Гольдберг. Как редактор Шленский давал молодым поэтам возможность публиковаться. Такую возможность получила, например, Далия Равикович, когда ее первое стихотворение было помещено в литературном ежеквартальном журнале «Орлогин», редактируемом Шленским.

Известна активная сочувственная позиция Шленского по отношению к Борису Гапонову. Гапонов, редактор партийной многотиражки на автозаводе в советской Грузии, перевел «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели на иврит. Шленский организовал публикацию этого перевода в Израиле и был среди тех, благодаря чьим усилиям Гапонову удалось иммигрировать в Израиль. Когда Гапонов, выучивший иврит по передачам «Радио Израиль», наконец приехал, он был смертельно болен. Израильские телезрители того времени помнят, как Шленский с отцовской нежностью гладил по голове умирающего поэта.

Несмотря на свою репутацию комика и острослова, Шленский не прятался от трагизма окружающей жизни и даже выражал его в своих произведениях. Стихотворение «В отчаянии» оплакивает судьбу жертв Первой мировой войны и евреев, пострадавших от погромов на Украине во время большевистской революции. Во время Холокоста он опубликовал сборник стихов под названием «Из-под покрова теней», в котором выражал чувства, вызванные у него этим трагичным периодом истории человечества. Особенно он скорбел о судьбе евреев в больной фашизмом Европе.

В 1946 году Шленский получил премию Черниховского за свои блестящие переводы пушкинского «Евгения Онегина» и шекспировского «Гамлета». В 1959-м — литературную премию Бялика (совместно с Элиэзером Штейнманом).

В 1967 году Шленский был удостоен литературной премии Израиля — самой престижной в Израиле премии за литературную деятельность.

Список литературы

Бабель И. Э. Автобиография // Бабель И. Э. Избранное. М.: Художественная литература, 1966.

Бабель И. Э. Блуждающие звезды: Киносценарий. М.: Кинопечать, 1926.

Бабель И. Э. Закат: Пьеса. М.: артель писателей «Круг», 1928.

Бабель И. Э. Соч. в 2 т. / Сост. и подгот. текста А. Н. Пирожковой; Коммент. С. Н. Поварцова; Худож. В. А. Векслер. М.: Худож. лит., 1990.

Барталь И. Казак и бедуин: новый мир национальных образов // Вестник еврейского университета. 2001. № 6 (24). С. 263–278.

Бруцкус И. В поисках за программой // Хроника еврейской жизни. 1906. 22 марта.

Бунин И. А. Собр. соч. Т. 9. 1915.

Вайс Р. Современный еврейский литературный канон. Путешествие по языкам и странам. М.; Иерусалим: Мосты культуры — Гешарим, 2008.

Валк С. Н. Г. Г. Романенко (Из истории «Народной воли») // Каторга и ссылка. 1928. № 2 (48). С. 36–59.

Вышнов В. Книга характеристики: статьи о современной литературе. М.: Государственное издательство, 1928.

Говрин А. Встреча с И. Бабелем // Наша страна. 1974. 8 марта — 5 апр.

Дубнов С. М. История евреев в России и Польше // Jewish Publication Society. 1920. С. 310–314.

Дубнов С. М. Новейшая история еврейского народа: От французской революции до наших дней: В 3 т. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2002.

Евтушенко Е. Я пришел к тебе, Бабий Яр… История самой знаменитой симфонии XX века. М.: Текст, 2012.

Есаулов И. А. Этическое и эстетическое в рассказе Исаака Бабеля «Пан Аполек» // «Конармия» Исаака Бабеля. М.: РГГУ, 1993. С. 102–117.

И. Бабель. Воспоминания современников. М.: Советский писатель, 1972.

И. Э. Бабель в литературном контексте: Сб. ст. / И. А. Смирин. Пермь: Пермский государственный педагогический университет, 2005.

И. Э. Бабель. Статьи и материалы: Сб. / Под ред. Б. В. Казанского, Ю. Н. Тынянова. Л.: Academia, 1928. (Серия «Мастера современной литературы»).

Кацис Л. Борис Слуцкий — русский поэт и еврей //

Иерусалимский журнал. 2012. № 42. С. 235–247.

Кацис Л. Вся беда от греха (Рец. на: Коган Л. Еврейская русскоязычная литература. Иерусалим, 2000) // Солнечное сплетение. 2001. № 18–19. С. 424–429.

Кацис Л. Герои Бабеля и эволюция еврейского мира: К типологии творчества писателя // Литературное обозрение. 1995. № 1. С. 73–76.

Кацис Л. «Доктор Живаго» встречается с идишем: Рецепция романа Б. Пастернака в еврейской печати // Avoti: Труды по балто-российским отношениям и русской литературе: В честь 70-летия Бориса Равдина / Под ред. И. Белобровцевой, А. Меймре и Л. Флейшмана. Stanford, 2012. P. 268–281 (Stanford Slavic Studies, volumes 42–43).

Кацис Л. Еврейский канон: от языков — к языку (Рец. на: Вайс Р. Современный еврейский литературный канон: Путешествие по языкам и странам / Пер. с англ. Н. Рохлиной; Под ред. З. Копельман. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2008. 512 с.)// Новое литературное обозрение. 2008. № 89 (1). С. 329–335.

Кацис Л. Русско-еврейская литература: взгляды с разных сторон (Обзор книг о русско-еврейской литературе и журналистике) [Электрон, ресурс]. Режим доступа: http:// magazines.russ.ru/nlo/2009/97/ka27-pr.html (дата обращения: 23.09.2013).

Кацис Л., *Одесский М.* Бабель: 1894-2004-2009 // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 337–343.

Кацис Л., *Толстая Е.* Judaica Rossica — Rossica Judaica // Judaica Rossica — Rossica Judaica. Белград: Филологический факультет Белградского университета, 2011. С. 5–16.

Киевский погром // Русский еврей. 1881. № 19. 8 мая.

Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918–1922 гг.: Сборник документов / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения, Гос. архив Российской Федерации; отв. сост.: И. А. Зюзина (Россия) при участии В. Т. Середы (Украина), Е. С. Розенблат (Белоруссия); отв. ред. Л. Б. Милякова. М.: РОССПЭН, 2007.

Коган Л. Еврейская русскоязычная литература: Историко-литературная и научно-популярная монография. Иерусалим, 2000.

Коган Э. Русско-еврейский диалог у Бабеля // Тыняновский сборник. Вып. 11. М.: ОГИ, 2002. С. 438–452.

Лапидус Р. Русские влияния на ивритскую литературу в период между 1870–1970 годами. М.: ИМЛИ РАН, 2004.

Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности / Пер. с

фр. Т. Баскаковой. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова: Галина Скрипсит, 2009.

Левин С. С еврейской точки зрения… Избранные статьи и очерки. Иерусалим: Филобиблон, 2010.

Левин С. «Чужой среди своих»: к проблеме самоидентификации Лютова («Конармия» и конармейский дневник И. Э. Бабеля) // Филологические записки. Вып. 27. Воронеж, 2008.

Либерман Я. Исаак Бабель глазами еврея. Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного университета, 1996.

Лифшиц И. Х.-Л. Зихрон Яаков: В 3 т. Франкфурт, 1924.

М. [М. Я. Рабинович]. Влияние противоеврейских беспорядков на евреев // Вольное слово. 1882. № 37.15 мая.

Малаев-Бабель А. Об Антонине Пирожковой, ее книге и о том, что осталось за пределами книги // Пирожкова А. Н. Я пытаюсь восстановить черты: Воспоминания. М.: АСТ, 2013. С. 7–28.

Маркиш С. Бабель и другие. 2-е изд., репринтное. М.; Иерусалим: Гешарим, 1997.

Маркиш С. Русско-еврейская литература и Исаак Бабель // Бабель И. Детство и другие рассказы. 2-е изд., испр. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1989.

Ненавижу войну: Из дневника 1920 года Исаака Бабеля // Дружба народов. 1989. № 4. С. 238–252; № 5. С. 247–260.

Одесский М. Истоки бабелевской поэтики в иудейской традиции [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.lechaim.ru/ARHIV/195/4x4.htm (дата обращения: 23.09.2013).

Одесский М., *Фельдман Д.* Бабель и хасидизм // Литературное обозрение. 1995. № 1. С. 77–84.

Парсамов Ю., *Фельдман Д.* Грани скандала: цикл новелл И. Бабеля «Конармия» в литературно-политическом контексте 1920-х годов // Вопросы литературы, 2011. № 6 — http://magazines.russ.ru/voplit/2011/6/pal2.html (дата обращения: 12.10.2013).

Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями: в 11 т. Т. 8: Письма. 1927–1934. М.: Слово, 2005.

Петровский-Штерн Й. Одиссей среди кентавров // Егупец: Альманах. Вып. 9. Киев, 2001. С. 219–228.

Пирожкова А. Н. Семь лет с Исааком Бабелем. Воспоминания. Л.: Советский писатель, 1972.

Пирожкова А. Н. Семь лет с Исааком Бабелем. Воспоминания жены / Послесл. и коммент. Е. Краснощековой. N. Y.: Слово, 2001.

Пирожкова А. Н. Я пытаюсь восстановить черты: Воспоминания. М.: АСТ, 2013.

Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков / Под ред. Вл. Лидина. М.: Соврем, проблемы, 1926.

Поварцов С. Подготовительные материалы для жизнеописания Бабеля Исаака Эммануиловича // Вопросы литературы. 2001. № 2. С. 202–232.

Поварцов С. Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля. М.: Терра, 1996.

Радзинский Э. Николай II: жизнь и смерть. М.: Вагриус, 2003.

Ромбро Я. «Альянс» и радетели // Рассвет. 1882. № 5. 1 февр.

Сакер Г. М. История Израиля. От зарождения сионизма до наших дней: в 3 т. М.: Текст, Книжники, 2011.

Себаг-Монтефиоре С. Сталин. Двор красного монарха. М.: Олма-Пресс, 2006.

Смирин И. А. На пути к Конармии (литературные искания Бабеля) //Литературное наследство. М.: Наука, 1965. С. 467–182.

Соколянский М. Общие корни: Владимир Жаботинский и Исаак Бабель // Егупец: Альманах. Киев, 2002. № 10. С. 248–264.

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 / Сост. О. Хлевнюк. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.

Флейшман Л. Борис Пастернак и Нобелевская премия. М.: Азбуковник, 2013.

Флейшман Л. Встреча русской эмиграции с «Доктором Живаго» // Stanford Slavic Studies. 2008. Vol. 38.

Фрезинский Б. Об Илье Эренбурге: Люди. Книги. Страны. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Френкель И. Пророчество и политика. Социализм, национализм и русское еврейство. 1862–1917 / Пер. с англ. С. Ильина; Под общ. ред. В. Левина. М.; Иерусалим: Мосты культуры — Гешарим, 2008.

Холокост на территории СССР: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2009.

Шолом-Алейхем. Избранные произведения / Пер. С. Гехта; Под ред. И. Бабеля. М.; Л.: Земля и фабрика, 1926–1927.

Эйдельман Я. Менделе Мойхер-Сфорим: на торжественном заседании в Доме союзов // Литературная газета. 1936. 5 марта.

Эренбург И. Бабель был поэтом… // Воспоминания о Бабеле / Сост.: А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева. М.: Книжная палата, 1989.

Эренбург И. На цоколе истории: Письма 1931–1967 годов. М.: Аграф, 2006.

Эренбург И. Необходимое объяснение // Литературная газета. 1957. 9, 12 февр.

Amichay-Michlin D. The Love of A.J. Stybel. Jerusalem: Bialik Institute, 2000.

An Anthology of Jewish-Russian Literature. Two Centuries of Dual Identity in Prose and Poetry. Vol. 1: 1801–1953 / ed., selected, and cotranslated with introd. essays by Maxim D. Shrayer. N. Y.; L.: Sharpe, 2007.

Aronson I. M. Troubled Waters: The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990.

Babel I. 1920 Diary / Pref. Carol J. Avins. New Haven; L.: Yale University Press, 2002.

Babel I. Forgotten Prose / Trans. and ed. by N. Stroud. Ann Arbor: Ardis, 1978.

Babel I. Racconti proibiti e lettere intime (a cura di Maria Olsufieva). Milano: Feltrinelli, 1961.

Babel I. You Must Know Everything, 1915–1937 / Trans. from the Russian by Max Hayward; ed. and with notes by Nathalie Babel. N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1969.

Berlin I. Personal Impressions. N. Y.: The Viking Press, 1949.

Bunin I. A. Cursed Days: A Diary of Revolution / Trans. from the Russian, with an introd. and notes by Thomas Gaiton Marullo. Chicago: I. R. Dee, 1998.

Bunin I. From the Other Shore, 1920–1933: A Portrait from Letters, Diaries, and Fiction / ed. with an introd. and notes by Thomas Gaiton Marullo. Chicago: I. R. Dee, 2000.

Chapin D. A., *Weinstock B.* The Road from Letichev: The History and Culture of a Forgotten Jewish Community in Eastern Europe. Vol. 1. San Jose: Writer's showcase presented by Writer's digest, 2000.

Cuddihy J. M. The Ordeal of Civility, Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle with Modernity. N. Y.: Basic Books, 1974.

Essays in Modern Jewish History: A Tribute to Ben Halpern / ed. by Frances Malino and Phyllis Cohen Albert. Rutherford [N. J.]: Fairleigh Dickinson University Press; L.: Associated University Presses, 1982.

Fleishman L. Boris Pasternak: The Poet and His Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.

Frankel J. Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism and the Russian Jews, 1862–1917. Cambridge [Eng.]; N. Y.: Cambridge University Press, 1981.

From Kisineff to Bialostok: A Table of Pogroms from 1903 to 1906 // Jewish Year Book. 1906–1907. VIII. P. 34–69.

Hetenyi Zs. In A Maelstrom: The History of Russian-Jewish Prose (1860–1940). Budapest; N. Y.: Central European University Press, 2008.

Horowitz B. Empire Jews. Jewish Nationalism and Acculturation in 19th- and Early 20th-Century Russia. Bloomington: Slavica

Publishers, Indiana University, 2009.

Horowitz B. Jewish Philanthropy and Enlightenment in Late-Tsarist Russia. Seattle: Univ. of Washington Press, 2009.

Isaak Babel // Encyclopedia Judaica. T. 12. Jerusalem, 1972.

Isaac Babel: The Lonely Years, 1925–1939: Unpublished Stories and Private Correspondence / Trans. from the Russian by Andrew R. MacAndrew and Max Hayward; ed. and with an introd. by Nathalie Babel. N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1964.

Ivinskaya O. A Captive Time; My Years with Boris Pasternak / trans. by Max Hayward. Garden City, N. Y.: Doubleday, 1978.

Katsman R. Boris Pasternak's Doctor Zhivago in the Eyes of the Israeli Writers and Intellectuals (1958–1960) // Around the Point: Studies in Jewish Literature. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing [in publication].

King Ch. Odessa: Genius and Death in a City of Dreams. N. Y.: W. W. Norton & Co., 2011.

Linden A. Die Dimensionen der Oktoberprogrome (1905) // Die Judenpogrome. I.

Midlarsky M. I. The Killing Trap: Genocide in the Twentieth Century. Cambridge, UK; N. Y.: Cambridge University Press, 2000.

Mayer A. J. The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions. Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 2002.

Mendes-Flohr P. R. The Study of the Jewish Intellectual: A Methodological Prolegomenon // Mendes-Flohr P. R. Divided Passions: Jewish Intellectuals and The Experience of Modernity. Detroit: Wayne State University Press, 1991. P. 23–53.

Miron D. From Continuity to Contiguity. Towards a New Jewish Literary Thinking. Stanford Studies in Jewish History and Culture. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 2009.

Pirozhkova A. N. At His Side: The Last Years of Isaac Babel / trans. by Anne Frydman & Robert L. Busch. South Royalton, Vt.: Streetforth Press, 1996.

Rosenthal R. The Fate of Isaak Babel // Commentary. 1947. Vol. 3. № 2. February.

Salter J. Odessa, Mon Amour: An Essay [Electronic version]. http://www.narrativemagazine.com/taxonomy/term/207/0 (23.09.2013).

Samuel M. Blood Accusation: The Strange History of the Beiliss Case. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1966.

Sebag Montefiore S. Stalin: The Court of the Red Tsar. N. Y.: Vintage Publishers, 2005.

Shama S. Two Rothschilds and the Land of Israel. N. Y.: Alfred A. Knopf, 1972.

Shapira A. Israel: A History. Massachusetts: Brandeis University

Press, 2012.

Sicher E. Babel in Context: A Study in Cultural Identity. Boston: Academic Studies Press, 2012.

Sicher E. Jews in Russian Literature after the October Revolution: Writers and Artists Between Hope and Apostasy. Cambridge; N. Y.: Cambridge University Press, 1995.

Sicher E. Jews in Russian Literature After the October Revolution. Cambridge: Cambridge Academ, 2006.

Simmel G. The Stranger // The Sociology of Georg Simmel / trans., ed., and with an introd. by Kurt H. Wolff. Glencoe, Ill.: Free Press, 1950. P. 403–408.

The Complete Works of Isaac Babel / Ed. by Nathalie Babel; Transl. with notes by Peter Constantine; Introd. by Cynthia Ozick. L. [etc.]: Picador, 2002.

The Enigma of Isaac Babel: Biography, History, Context / ed. by G. Freidin. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2009.

The Persecution of the Jews in Russia // The Times. 1882. 11, 13 Jan.

Trilling L. [Preface] // Babel I. Collected Stories. N. Y.: Meridian Press, 1960.

Veblen Th. The Intellectual Pre-eminence of Jews in Modern Europe (1919) // Veblen Th. Essays in Our Changing Order / ed. by L. Ardzrooni. N. Y.: Viking Press, 2001.P.219–231.

Wiesel E. Four Hasidic Masters and Their Struggle against Melancholy. Notre Dame [Ind.]: Univ. of Notre Dame Press, 1978.

Wisse R. R. No Joke: Making of Jewish Humor. Princeton: Princeton University Press, 2013.

Wisse R. R. The Modern Jewish Canon: A Journey through Language and Culture. N. Y.: Free Press, 2000.

Gitelman Z. Y. A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present. Bloomington: Indiana University Press, 2001.

Исаак Бабель
Конармейский дневник 1920 года

ДНЕВНИК НАЧИНАЕТСЯ С 55-й СТРАНИЦЫ.
НЕТ ПЕРВЫХ 54 СТРАНИЦ

Житомир. 3.6.20

Утром в поезде, приехал за гимнастеркой и сапогами. Сплю с Жуковым, Топольником, грязно, утром солнце в глаза, вагонная грязь. Длинный Жуков, прожорливый Топольник, вся редакционная коллегия — невообразимо грязные человеки.

Дрянной чай в одолженных котелках. Письма домой, пакеты в Югроста, интервью с Поллаком, операция по овладению Новоградом, дисциплина в польской армии — слабеет, польская белогвардейская литература, книжечки папиросной бумаги, спички, до [украинские] жиды, комиссары, глупо, зло, бессильно, бездарно и удивительно неубедительно. Выписка Михайлова из польских газет.

Кухня в поезде, толстые солдаты с налитыми кровью лицами, серые души, удушливый зной в кухне, каша, полдень, пот, прачки толстоногие, апатичные бабы — станки — описать солдат и баб, толстых, сытых, сонных.

Любовь на кухне.

После обеда в Житомир. Белый, не сонный, а подбитый, притихший город. Ищу следов польской культуры. Женщины хорошо одеты, белые чулки. Костел.

Купаюсь у Нуськи в Тетереве, скверная речонка, старые евреи в купальне с длинными тощими ногами, обросшими седым волосом. Молодые евреи. Бабы на Тетереве полощут белье. Семья, красивая жена, ребенок у мужа.

Базар в Житомире, старый сапожник, синька, мел, шнурки.

Здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу.

Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький еврей-философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р. Интересная старуха, злая, толковая, неторопливая. Как они все жадны к деньгам. Описать базар,

корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни. Разговор с русской, пришедшей одолжить лоханку. Пот, чахлый чай, въедаюсь в жизнь, прощайте, мертвецы.

Зять Подольский, заморенный интеллигент, что-то о Профсоюзах, о службе у Буденного, я, конечно, русский, мать еврейка, зачем?

Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворника, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.

Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик — его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн.

Лица старых евреев.

Разговоры в углу о дороговизне.

Я путаюсь в молитвеннике. Подольский поправляет.

Вместо свечи — коптилка.

Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы. Лицо цадика, никелевое пенсне:

— Откуда вы, молодой человек?

— Из Одессы.

— Как там живут?

— Там люди живы.

— А здесь ужас.

Короткий разговор.

Ухожу потрясенный.

Подольский, бледный и печальный, дает мне свой адрес, чудесный вечер. Иду, думаю обо всем, тихие, чужие улицы. Кондратьев с черненькой еврейкой, бедный комендант в папахе, он не имеет успеха.

А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев).

Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синематографа, поезд сияет, грохочет, толстомордые

солдаты стоят в хвост у прачек. (на два дня)

Житомир. 4.6.20

Утром — пакеты в Югроста, сообщение о житомирском погроме, домой, Орешникову, Нарбуту.

Читаю Гамсуна. Собельман рассказывает мне сюжет своего романа.

Новая рукопись Иова, старик, живший в столетиях, отсюда унесли ученики, чтобы симулировать вознесение, пресыщенный иностранец, русская революция.

Шульц, вот главное, сластолюбие, коммунизм, как мы берем у хозяев яблоки, Шульц разговаривает, его лысина, яблоки за пазухой, коммунизм, фигура Достоевского, тут что-то есть, тут надо выдумать, это неистощимое любострастие, Шульц на улицах Бердичева.

Хелемская, у которой был плеврит, понос, пожелтела, грязный капот, яблочный мусс. Зачем ты здесь, Хелемская? Тебе надо выйти замуж, муж — техническая контора, инженер, аборт или первый ребенок, вот какова была твоя жизнь, твоя мать, ты брала раз в неделю ванну, твой роман, Хелемская, и вот как тебе надо жить и ты приспособишься к революции.

Открытие коммунистического клуба в редакции. Вот он пролетариат — эти из подполья невероятно чахлые еврейки и евреи. Жалкое, страшное племя, иди вперед. Описать потом концерт, женщины поют малороссийские песни.

Купание в Тетереве. Киперман, как мы ищем пищу. Что такое Киперман? Какой я дурак, замотал деньги. Он колеблется как тростина, у него большой нос и он нервен, может быть сумасшедший, однако обжулил, как он оттягивает уплату, заведует клубом. Описать его штаны, нос и неторопливый говор, мучения в тюрьме, страшный человек Киперман.

Ночь на бульваре. Погоня за женщинами. Четыре аллеи, четыре стадии: знакомство, беседа, возникновение желания, удовлетворение желания, внизу Тетерев, лекпом старый, который говорит, что у комиссаров все есть, и вино, но он благожелателен.

Я и украинская редакция.

Гужин, на которого сегодня пожаловалась Хелемская, ищут чего-нибудь получше. Я устал. И вдруг одиночество, течет передо мною жизнь, а что она обозначает.

Житомир. 5.6.20

Получил в поезде сапоги, гимнастерку. Еду на рассвете в Новоград. Машина Thornicroft. Все взято у Деникина. Рассвет на монастырском или школьном дворе. Спал на машине. В 11 часов в Новограде. Дальше на другом Thornicroft'е. Обходной, мост. Город живее, развалины кажутся обычными. Беру мой чемодан. Штаб уехал на Корец. Одна из евреек родила, в лечебнице, конечно. Длинный и горбоносый просит службу, бегает за мной с чемоданом. Обещаю завтра вернуться. Новоград — Звягель.

На грузовике снабженец в белой папахе, еврей и сутуловатый Морган. Ждем Моргана, он в аптеке, у братишки триппер. Машина идет из-под Фастова. Два толстых шофера. Летим, настоящий русский шофер, вытрясло все внутренности. Поспевает рожь, скачут ординарцы, несчастные, огромные запыленные грузовики, раздетые польские пухлые беловолосые мальчики, пленные, польские носы.

Корец, описать, евреи у большого дома, ешиве бохер в очках, о чем они говорят, старики с желтыми бородами, сутуловатые коммерсанты, хилые, одинокие. Хочу остаться, но телефонисты сворачивают провода. Конечно, штаб уехал. Рвем яблоки и вишни. С бешеной скоростью дальше. Потом шофер, красивый кушак, ест хлеб пальцами, запачканными машинным маслом. Не доезжая 6 верст — магнето залито маслом. Починка под палящим солнцем, пот и шоферы. Доезжаю на телеге с сеном — (забыл — инспектор артиллерии Тимошенко [?] осматривает орудия в Кореце. Наши генералы). Вечер. Ночь. Парк в Тоще. Мчится Зотов с штабом, скачут обозы, штаб уехал на Ровно, тьфу ты пропасть. Евреи, решаю остаться у Дувид Ученик, солдаты отговаривают, евреи просят. Умываюсь, блаженство, много евреев. Братья Ученика — близнецы? Раненые зовут знакомиться. Здоровые черти, ранены в мякоть ноги, сами передвигаются. Настоящий чай, ужинаю. Дети Ученика, маленькая, но многоопытная девочка с прищуренными глазами, трепещущая девушка 6 лет, толстая жена с золотыми зубами. Сидят вокруг меня, в доме тревога. Ученик рассказывает — ограбили поляки, потом эти налетели, с гиканьем и шумом, все разнесли, вещи жены.

Девочка — вы не еврей? Ученик сидит и смотрит, как я ем, на его коленях дрожит девочка. Она напугана, погреба и стрельба и ваши. Я говорю — будет хорошо, что такое революция, говорю от избытка. С нами плохо, нас будут грабить, не ложитесь спать.

Ночь, фонарь перед окном, еврейская грамматика, болит душа, волосы у меня свежие, свежая тоска. Пот от чаю. Подмога — Цукерман с винтовкой. Радиотелеграфист. Солдаты во дворе, гонят спать, хихикают. Подслушиваю: предчувствуют, становясь, скошу косой.

Лови арестованную. Звезды, ночь над местечком. Казак высокий, с серьгой, с белым донышком шапки. Арестовали сумасшедшую Стасовой — тюфяк, поманила пальцем, идем, я тебе дам, у меня бы всю ночь работала, вилась, скакала бы да не бегала. Солдаты гонят спать. Ужинают — яичница, чай, жаркое, невообразимая грубость, развалясь у стола, хозяйка, дай. Ученик перед своим домом, выставили дежурного, комедия, иди спать, я сторожу свой дом. Страшная история с арестованной сумасшедшей. Ищут — убьют.

Не сплю. Я помешал, они сказали — все пропало.

Тяжелая ночь, дурак с поросячьим телом — радиотелеграфист. Грязные ногти и деликатное обхождение. Беседа о еврейском вопросе. Раненый в черной рубашке — молокосос и хам, старые евреи бегают, женщины в разгоне. Никто не спит. Какие-то девушки на крылечке, какой-то солдат спит на диване.

Пишу дневник. Есть лампа. Парк перед окном, проезжает обоз. Никто не ложится спать. Приехала машина. Морган ищет священника, я веду его к евреям.

Горынь, евреи и старухи у крылечек. Тоща ограблена, в Тоще чисто. Тоща молчит. Чистая работа. Шепотом — все забрали и даже не плачут, специалисты. Горынь, сеть озер и притоков, вечерний свет, здесь был бой перед Ровно. Разговоры с евреями, мое родное, они думают, что я русский, и у меня душа раскрывается. Сидим на высоком берегу. Покой и тихие вздохи за спиной. Иду защищать Ученика. Я им сказал, что у меня мать еврейка, история, Белая Церковь, раввин.

Ровно. 6.6.20

Спал тревожно, несколько часов. Просыпаюсь, солнце, мухи, постель хорошая, еврейские розовые подушки, пух. Солдаты стучат костылями. Снова — дай, хозяйка. Жареное мясо, сахар из граненой стопочки, сидят развалясь, чубы свисают, одеты по-походному, красные штаны, папахи, обрубки ног висят молодцевато. У женщин кирпичные лица, бегают, все не спали. Дувид Ученик бледен, в жилетке. Мне — не уезжайте до того, как они здесь. Забирает фура. Солнце, напротив парк, фура ждет, уехали. Конец. Спас.

Вчера вечером прибыла машина. В 1 час едем из Тощи на Ровно. Горынь на солнце сияет. Гуляю утром. Оказывается, хозяйка не ночевала дома, прислуга с подругами сидела с солдатами, хотевшими ее изнасиловать, всю ночь до рассвета,

кормила их беспрерывно яблоками, степенные разговоры, надоело воевать, хотим жениться, идите спать. Девочка кривоглазая разговорилась, Дувид одел жилет, талес, степенно молится, благодарит, на кухне мука, месяц, зашевелились, прислуга толстоногая, босая, толстая еврейка с мягкой грудью убирает и беспрерывно рассказывает. Речи хозяйки — она за то, чтобы было хорошо. Дом оживает.

Еду на Thornicroft'е в Ровно. Две павших лошади. Сломанные мосты, автомобиль на мостках, все трещит, бесконечные обозы, скопления, ругань, описать обоз в полдень перед сломанным мостом, всадники, грузовики, двуколки со снарядами. Наш грузовик мчится бешено, хотя он весь изломан, пыль.

Не доезжая 8 верст — стал. Вишни, сплю, потею на солнце. Кузицкий, потешная фигурка, моментально гадает, раскладывает карты, фельдшер из Бородяниц, бабы платили за лечение натурой, жареными курицами и собой, все тревожится — отпустит ли его начсанчасти, показывает действительные раны, когда сходит, хромает, бросил девицу на дороге в 40 верстах от Житомира, иди, она говорила, что за ней ухаживает наштадив. Теряет хлыстик, сидит полуголый, болтает, врет без удержу, карточка брата, бывшего штаб-ротмистра, теперь начдива, женатого на польской княгине, расстрелян деникинцами.

Я медик.

В Ровно пыль, пыльное золото расплавленное течет над скучными домишками.

Проходит бригада, Зотов в окне, ровенцы, вид казаков, изумительное спокойное, уверенное войско. Еврейские девицы и юноши следят с восхищением, старые евреи смотрят равнодушно. Дать воздух Ровно, что-то раздерганное, неустойчивое и есть быт и польские вывески.

Описать вечер.

Хасты, черноволосая и хитрая девица, приехавшая из Варшавы, ведет фельдшер, злое словесное зловоние, кокетство, вы у нас будете есть, умываюсь в проходной комнате, все неудобно, блаженство, я грязен и потен, потом горячий чай с моим сахаром.

Описать тот Хает, сложная фурия, невыносимый голос, думают, что я не понимаю по-еврейски, ссорятся беспрерывно, животный страх, отец — не простая вещь, улыбающийся фельдшер, лечит от трипперов (?), улыбается, невидим, но, кажется, вспыльчив, мать — мы интеллигенты, у нас ничего нет, он же фельдшер, работник, пусть будут эти, но тихо, мы измучены, явление ошеломляющее — круглый сын с хитрой и идиотской улыбкой за стеклами круглых очков, вкрадчивая

беседа, за мной ухаживают, масса сестер, все сволочи (?). Зубной врач, какой-то внук, с которым все разговаривают так же визгливо и истерически, как со стариками, приходят молодые евреи — ровенцы с плоскими и пожелтевшими от страха лицами и рыбьими глазами, рассказывают о польских издевательствах, показывают паспорта, был торжественный декрет о присоединении к Польше и Волыни, вспоминаю польскую культуру, Сенкевича, женщин, великодержавие, опоздали родиться, теперь классовое самосознание.

Даю стирать белье. Пью чай беспрерывно и потею зверски, и всматриваюсь в Хастов внимательно, пристально. Ночь на диване. В первый раз со дня выезда разделся. Закрывают все ставни, горит электричество, духота страшная, там спит масса людей, рассказы о грабежах буденновцев, трепет и ужас, за окном фыркают лошади, по Школьной улице обозы, дочь.

ПРОПУЩЕНА (УТЕРЯНА) В ДНЕВНИКЕ 21 СТРАНИЦА

Белев, 11.7.20

Ночевал с солдатами штабного эскадрона, на сене. Спал плохо, думаю о рукописях. Тоска, упадок энергии, знаю, что превозмогу, когда это будет? Думаю о Хастах, гниды, вспоминаю все и эти вонючие души, и бараньи глаза, и высокие скрипучие неожиданные голоса, и улыбающийся отец. Главное — улыбка и он вспыльчивый, и много тайн, смердящих воспоминаний о скандалах. Огромная фигура — мать, она зла, труслива, обжорлива, отвратительна, остановившийся, ожидающий взор. Гнусная и подробная ложь дочери, смеющиеся глаза сына из-под очков.

Слоняюсь по селу. Еду в Клевань, местечко взято вчера 3-й кавбригадой 6-й дивизии. Наши разъезды появились на линии, шоссе Ровно — Луцк, Луцк эвакуируется.

8-12-го тяжелые бои, убит Дундич, убит Шадилов, командир 36-го полка, пало много лошадей, завтра будем знать точно.

Приказы Буденного об отобрании у нас Ровно, о неимоверной усталости частей, о том, что яростные атаки наших бригад не дают прежних результатов, беспрерывные бои с 27 мая, если не дадут передышки — армия сделается небоеспособной.

Не рано ли издавать такой приказ? Разумно, будят тыл — Клевань. Похороны 6 или 7 красноармейцев. Поехал за тачанкой. Похоронный марш, на обратном пути с кладбища — походный бравурный марш, процессии не видно. Столяр — бородатый еврей

— бегает по местечку, он сколачивает гробы.

Главная улица — тоже Schosowa.

Моя первая реквизиция — записная книга. Со мной ходит служка Менаше. Обедаю у Мудоша, старая песня, еврея разграблены, недоумение, ждали советскую власть как избавителей, вдруг крики, нагайки, жиды. Меня обступил целый круг, я им рассказываю о ноте Вильсону, об армиях труда, еврейчики слушают, хитрые и сочувственные улыбки, еврей в белых штанах лечился в сосновом лесу, хочет домой. Евреи сидят на завалинках, девицы и старики, мертво, знойно, пыльно, крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи, вот что туманит душу.

Полковник Горов выбран населением, — войт — 60 лет, дореформенная благородная крыса. Говорим об армии, о Брусилове, если Брусилов пошел, чего же нам думать. Седые усы, шамкает, бывший человек, курит самодельный табак, живет в управлении, старика жалко.

Писарь в волостном управлении, красивый хохол, идеальный порядок, переучивался по-польски, показывает мне книги, статистику в волости — 18 600 человек, из них 800 человек поляков, хотели присоединить к Польше, торжественный акт о присоединении к польскому государству.

Писарь тоже дореформенный, в бархатных штанах, с хохлацкой мовой, тронутый новым временем, усики.

Клевань, его дороги, улицы, крестьяне и коммунизм далеко друг от друга.

Хмелеводство, много рассадников, четырехугольные зеленые стены, сложная культура.

У полковника — голубые глаза, у писаря — шелковистые усы.

Ночь, работа штаба в Белеве. Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства? Трогательная дружба двух братьев. Константин и Михаиле. Жолнаркевич — старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Жолнаркевич, еще 3 писаря, заматывающихся к ночи.

Колоссальное дело, расположение бригад, нет припасов, самое главное — операционные направления, делается незаметно. Ординарцы спят на земле у штаба. Горят тонкие свечки, наштадив в шапке отирает лоб и диктует, диктует беспрерывно — оперсводки, приказания, Артдивизиону, Плетарму, держим направление на Луцк.

Ночь, сплю на сене рядом с Лепиным, латышом, бродят

оторвавшиеся кони, выхватывают сено из-под головы.

Белев. 12.7.20

Утром — начал журнал военных действий, разбираю оперсводки. Журнал — будет интересная штука.

После обеда еду верхом на лошади ординарца Соколова (больного возвратным тифом, он лежит рядом на земле в кожаной куртке, худой и породистый с плетью в исхудавшей руке, ушел из госпиталя, не кормили и было скучно, лежал больной в эту страшную ночь оставления Ровно, весь был залит водой, длинный, шатается, любопытно разговаривает с хозяевами, но и повелительно, точно все мужики его враги). Шпаков, чешская колония. Богатый край, много овса и пшеницы, еду через деревни — Пересопница, Милостово, Плоски, Шпаково. Есть льнянка, из нее подсолнечное масло, и много гречихи.

Богатые деревни, жаркий полдень, пыльные дороги, прозрачное небо без облака, лошадь ленивая, хлещу — бежит. Первая моя поездка верхом. В Милостове — беру подводу Шпакова — еду за тачанкой и лошадьми с предписанием от штаба дивизии.

Мягкосердечие. С восхищением вглядываюсь в нерусскую, чистую, крепкую жизнь чехов. Хороший староста, по всем направлениям скачут всадники, каждый раз новые требования, сорок подвод сена, 10 свиней, агенты Опродкома — хлеба, квитанция у старосты — овес получили — спасибо. Разведком 34-го полка.

Крепкие избы сияют на солнце, черепица, железо, камень, яблоки, каменное здание школы, полугородского типа женщины, яркие передники. Идем к мельнику Юрипову, самый богатый и интеллигентный, высокий, красивый типичный чех с западноевропейскими усами. Прекрасный двор, голубятня, это умиляет меня, новые мельничные машины, былое благосостояние, белые стены, обширный двор, одноэтажный просторный светлый дом и комната — хорошая, вероятно, семья у этого чеха, отец — жилистый бедняк — все добрые, крепкий сын с золотыми зубами, стройный и широкоплечий. Хорошая, наверное, молодая жена и дети.

Усовершенствованная, конечно, мельница.

Чех набит квитанциями. Забрали четырех лошадей и дали записки в Ровенский уездный комиссариат, забрали фаэтон, дали взамен разломанную тачанку, квитанции три на муку и овес.

Приходит бригада, красные знамена, мощное спаянное тело,

уверенные командиры, опытные, спокойные глаза чубатых бойцов, пыль, тишина, порядок, оркестр, рассасываются по квартирам, комбриг кричит мне — ничего не брать отсюда, здесь наш район. Чех беспокойными глазами следит за мотающимся в отдалении молодым ловким комбригом, вежливо разговаривает со мной, отдает сломанную тачанку, но она рассыпается. Я не проявляю энергии. Идем во второй, в третий дом. Староста указывает, где можно взять. У старика, действительно, фаэтон, сын жужжит над ухом, сломано, передок плохой, думаю — есть у тебя невеста или едете по воскресеньям в церковь, жарко, лень, жалко, всадники рыщут, так выглядит сначала свобода. Ничего не взял, хотя и мог, плохой из меня буденновец.

Обратно, вечер, во ржи поймали поляка, как на зверя охотятся, широкие поля, алое солнце, золотой туман, колышутся хлеба, в деревне гонят скот, розовые пыльные дороги, необычайной нежной формы, из краев жемчужных облаков — пламенные языки, оранжевое пламя, телеги поднимают пыль.

Работаю в штабе (лошадь скакала здорово), иду спать рядом с Лепиным. Он латыш, морда туповатая, поросячья, очки, кажется, добр. Генштабист.

Острит тупо и неожиданно. Бабка, когда ты умрешь, и вцепился.

В штабе нет керосина. Он говорит — мы стремимся к свету, у нас нет освещения, буду играть с деревенскими девушками, протянул руку, не пускает, морда напряженная, свинячья губа вздрагивает, очки шевелятся.

Белев. 13.7.20

Я именинник. 26 лет. Думаю о доме, о своей работе, летит моя жизнь. Нет рукописей. Тупая тоска, буду превозмогать. Веду свой журнал, будет интересная вещь.

Писаря красивые, молодые, штабные русские молодые люди поют арии из опереток, развращены немного штабной работой. Описать ординарцев — наштадива и прочих — Черкашин, Тарасов, — барахольщики, лизоблюды, льстецы, обжоры, лентяи, наследие старого, знают господина.

Работа штаба в Белеве. Хорошо налаженная машина, прекрасный начальник штаба, машинная работа и живой человек. Открытие — поляк, убрали его, по требованию начдива вернули, любим всеми, хорошо живет с начдивом, что он чувствует? И не коммунист, и поляк, и служит верно, как цепная собака, разбери.

Об операциях.

Где стоят наши части.

Операция на Луцк.

Состав дивизии, комбриги.

Как протекает работа штаба — директива, потом приказ, потом оперативная сводка, потом разведсводка, тащим политотдел, ревтрибунал, конский запас.

Еду в Ясиневичи обменять экипаж на тачанку и лошадей. Пыль невероятная, жара. Едем через Пересопницу, отрада в полях, 27-й год, думаю, готова рожь, ячмень, местами очень хорош овес, мак отцветает, вишень нет, яблоки неспелые, много льнянки, гречихи, много вытоптанных полей, хмель.

Богатая, но в меру, земля.

Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, привозят из отдела снабжения, разломал стол, но достал. Дьяков, его любит команда, командир у нас геройский, был атлетом, полуграмотен, теперь «я инспектор кавалерии», генерал, Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец. Встретился с миллионером, дама под ручкой, что, господин Дьяков, не встречался ли я с вами в клубе? Был в 8-ми государствах, выйду на сцену, моргну.

Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, каждый раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты.

Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях.

К Дьякову с требованиями, уф, заморился, раздавать белье, все в затылок, отношения отеческие, ты будешь (больному) старшим гуртовщиком. Домой. Ночь. Штабная работа.

Живем в доме матери старосты. Веселая хозяйка говорит скороговоркой, подол подоткнут, работает как муравей на своих, да еще на 7 человек. Черкашин (ординарец Лепина), наглый и надоедливый, не дает покоя, все мы требуем, какие-то дети шляются, сено забираем, в хате, полной мух, детей, стариков, невеста, толкутся солдаты и горланят. Старуха больна. Старики приходят в гости и горестно молчат, лампочка.

Ночь, штаб, выспренний телефонист, К. Карлыч пишет донесения, ординарцы, дежурные писаря спят, на деревне ни зги, сонный писарь стучит приказ, К. Карлыч точный как часы, молчаливо приходят ординарцы.

Операция на Луцк. Ведет 2-я бригада, пока не взяли. Где наши передовые части?

Белев. 14.7.20

С нами живет Соколов. Лежит на сене, длинный, русский, в кожаных сапогах. Румяный орловец, безобидный парень Миша Лепин, когда никто не видит, заигрывает с наймичкой, тупое, напряженное лицо, наша хозяйка говорит скороговоркой, присказки, работает без устали, старуха свекровь — высохшая старушонка любит ее, Черкашин, ординарец Лепина понукает, сыпет не замолкая.

Лепин заснул в штабе, совершенно идиотское лицо, никак не может проснуться. На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба, Черкашина арестовывают, избил плетью мужика. Лепин 3 часа пишет письмо в Трибунал, Черкашин, мол, находился под влиянием возмутительно провокационных выходок красного офицера Соколова. Не советую — 7 солдат в одной хате.

Злой и тощий Соколов говорит мне — мы все уничтожаем, ненавижу войну.

Почему все они — Жолнаркевич, Соколов здесь на войне? Все это бессознательно, инертно, недуманье. Хороша система.

Франк Мошер. Сбитый летчик-американец, босой, но элегантен, шея, как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят западноевропейским солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальности, обычаи — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление.

Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кременецкого уезда) не пускают, молчит.

Начдив Тимошенко в штабе. Колоритная фигура. Колосс, красные полукожаные штаны, красная фуражка, строен, из взводных, был пулеметчиком, артиллерийский прапорщик в прошлом. Легендарные рассказы. Комиссар 1-й бригады испугался огня, ребята на коней; начал бить плетью всех

начальников. Книгу, полковых, стреляет в комиссара, на коней, суки, гонится, 5 выстрелов, товарищи, помогите, я тебе дам, помогите, прострелил руку, глаз, осечку револьвер, а я комиссара отчитал, электризует казаков, буденновец, с ним ехать на позиции, или поляки убьют, или он убьет.

2-я бригада атакует Луцк, к вечеру отошла, противник контратакует, большие силы, хочет пробиться на Дубно. Дубно занято нами.

Сводка — взят Минск, Бобруйск, Молодечно, Проскуров, Свенцяны, Сарны, Старо-Константинов, подходят к Галиции, где будет к. маневр — на Стыри или Буге. Ковель эвакуируется, большие силы во Львове, показание Мошера. Будет удар.

Благодарность начдива за бои перед Ровно. Привести приказ.

Деревня, глухо, огонь в штабе, арестованные евреи. Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет. Эх, тускло живут россияне. Где украинская веселость? Начинается жатва. Поспевает мак, где бы взять зерно для лошадей и вареники с вишнями.

Какие дивизии левее?

Мошер босой, полдень, тупой Лепин.

Белев. 15.7.20

Допрос перебежчиков. Показывают наши листовки. Велика их сила, листовки помогают казакам.

Любопытный у нас комиссар — Бахтуров, боевой, толстый, ругатель, всегда на позициях.

Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?

Надо брать оперативные сводки у Лепина, это — мука. Штаб помещается в доме крещеного еврея.

Ординарцы стоят ночью у здания штаба.

Начинают косить. Я учусь распознавать растения. Завтра именины сестры.

Описание Волыни. Гнусно живут мужики, грязно, едим, лирический Матяш, бабник, даже когда со старухой говорит, и то протяжнее.

Лепин ухаживает за наймичкой.

Наши части в 1 1/2 верстах от Луцка. Армия готовится к конному наступлению — сосредоточивает силы во Львове, подвозит к Луцку.

Взяли воззвание Пилсудского — Воины Речи Посполитой. Трогательное воззвание. Могилы наши белеют костьми пяти

поколений борцов, наши идеалы, наша Польша, наш светлый дом, ваша родина смотрит на вас, трепещет, наша молодая свобода, еще одно усилие, мы помним о вас, все для вас, солдаты Речи Посполитой.

Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов — нет посулов, и слова — порядок, идеалы, свободная жизнь. Наша берет!

Новоселки. 16.7.20

Получен приказ армии — захватить переправы на реке Стыри на участке Рожище — Яловичи.

Штаб переходит в Новоселки, 25 верст. Еду с начдивом, штабной эскадрон, скачут кони, леса, дубы, тропинки, красная фуражка начдива, его мощная фигура, трубачи, красота, новое войско, начдив и эскадрон — одно тело.

Квартира, молодые хозяева и богатые довольно, есть свиньи, корова, одно слово — немае.

Рассказ Жолнаркевича о хитром фельдшере. Две женщины, надо справиться. Дал одной касторки, когда ее схватило — направился к другой.

Страшный случай, солдатская любовь, двое здоровых казаков сторговались с одной — выдержишь, выдержу, один три раза, другой полез — она завертелась по комнате и загадила весь пол, ее выгнали, денег не заплатили, слишком была старательная.

О буденновских начальниках — кондотьеры или будущие узурпаторы? Вышли из среды казаков, вот главное — описать происхождение этих отрядов, все эти Тимошенки, Буденные сами набирали отряды, главным образом — соседи из станицы, теперь отряды получили организацию от Соввласти.

Приказ по дивизии выполняется, сильная колонна двигается из Луцка на Дубно, эвакуация Луцка, очевидно, отменяется, туда прибывают войска и техника.

У молодых хозяев — она высокая, со следами деревенской красоты, копается среди 5-и детей, валяющихся на лавке. Любопытно — каждый ребенок ухаживает за другим, мама, дай ему цицки. Мать — стройная и красная лежит строго среди этих копошащихся детей. Муж добр. Соколов: этих щенят надо перестрелять, зачем плодить. Муж: из маленьких будут большие.

Описать наших солдат — Черкашина (сегодня явился маленько ущемленный из Трибунала) — наглого, длинного, испорченного, какой он житель коммунистической России, Матяш, хохол, беспредельно ленивый, охочий до баб, всегда в

какой-то истоме, с расшнурованными сапогами, ленивые движения, ординарец Соколова — Миша, был в Италии, красивый, неряшливый.

Описать — поездка с начдивом, небольшой эскадрон, свита начдива, Бахтуров, старые буденновцы, при выступлении — марш.

Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит, это лошадь.

Берут свиней, кур, деревня стонет. Описать наше снабжение. Сплю в хате. Ужас их жизни. Мухи. Исследование о мухах, мириады. Пятеро маленьких, кричащих, несчастных.

Продовольствие от нас скрывают.

Новоселки. 17.7.20

Начинаю военный журнал с 16/VII. Еду в Полжу — Политотдел, там едят огурцы, солнце, спят босые за стогами сена. Яковлев обещает содействие. День проходит в работе. У Лепина вспухла губа. У него покатые плечи. Тяжело с ним. Новая страница — изучаю оперативную науку.

Возле одной из хат — зарезанная теля. Голубоватые соски на земле, кожа только. Неописуемая жалость! Убитая молодая мать.

Новоселки. — Мал. Дорогостай. 18.7.20

Польская армия сосредоточивается в районе Дубно — Кременец для решительного наступления. Мы парализуем маневр, предупредим. Армия переходит в наступление на южном участке, наша дивизия в армейском резерве. Наша задача — захватывать переправы через Стырь в районе Луцка.

Выступаем утром в Мал. Дорогостай (севернее Млынова), обоз оставляем, больных и административный штаб тоже, очевидно, предстоит операция.

Получен приказ из югзапфронта, когда будем идти в Галицию — в первый раз советские войска переступают рубеж — обращаться с населением хорошо. Мы идем не в завоеванную страну, страна принадлежит галицийским рабочим и крестьянам и только им, мы идем им помогать установить советскую власть. Приказ важный и разумный, выполнят ли его барахольщики? Нет.

Выступаем. Трубачи. Сверкает фуражка начдива. Разговор с начдивом о том, что мне нужна лошадь. Едем, леса, пашни жнут, но мало, убого, кое-где по две бабы и два старика. Волынские столетние леса — величественные зеленые дубы и грабы, понятно, почему дуб — царь.

Едем тропинками с двумя штабными эскадронами, они всегда с начдивом, это отборные войска. Описать убранство их коней, сабли в красном бархате, кривые сабли, жилетки, ковры на седлах. Одеты убого, хотя у каждого по 10 френчей, такой шик, вероятно.

Пашни, дороги, солнце, созревает пшеница, топчем поля, урожай слабый, хлеба низкорослые, здесь много чешских, немецких и польских колоний. Другие люди, благосостояние, чистота, великолепные сады, объедаем несозревшие яблоки и груши, все хотят на постои к иностранцам, ловлю и себя на этом желании, иностранцы запуганы.

Еврейское кладбище за Малиным, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм.

Все чаще и чаще встречаются окопы старой войны, везде проволока, ее хватит для заборов еще лет на 10, разоренные деревни, везде строятся, но слабо, нет ничего, никаких материалов, цемента.

На привалах с казаками, сено лошадям, у всех длинная история — Деникин, свои хутора, свои предводители, Буденные и Книги, походы по 200 человек, разбойничьи налеты, богатая казацкая вольница, сколько офицерских голов порублено, газету читают, но как слабо западают имена, как легко все повернуть.

Великолепное товарищество, спаянность, любовь к лошадям, лошадь занимает 1/4 дня, бесконечные мены и разговоры. Роль и жизнь лошади.

Совершенно своеобразное отношение к начальству — просто, на «ты».

М. Дорогостай разрушено было совершенно, строится.

Въезжаем в сад к батюшке. Берем сено, едим фрукты, тенистый, солнечный прекрасный сад, белая церковка, были коровы, лошади, попик в косичке растерянно ходит и собирает квитанции. Бахтуров лежит на животе, ест простоквашу с вишнями, дам тебе квитанции, право дам.

У попа объели на целый год. Погибает, говорят, он просится на службу, есть у вас полковые священники?

Вечером на квартире. Опять немае — все врут, пишу журнал, дают картошку с маслом. Ночь в деревне, огромный багровый пламенный круг перед глазами, из разоренного села сбегают желтые пашни. Ночь. Огоньки в штабе. Всегда огоньки в штабе. Карл Карлович диктует приказание наизусть, никогда ничего не забывает, понурив головы, сидят телефонисты. Карл Карлович служил в Варшаве.

М. Дорогостай — Смордва — Бережцы. 19.7.20

Ночь спал плохо. Рези в желудке. Вчера ели зеленые груши. Чувствую себя скверно. Выезжаем на рассвете.

Противник атакует на участке Млынов — Дубно. Мы ворвались в Радзивилов.

Сегодня на рассвете решительное наступление всех дивизий — от Луцка до Кременца. 5-я, 6-я дивизии — сосредоточены в Смордве, достигнуто Козино.

Берем, значит, на юг.

Выступаем из М. Дорогостай. Начдив здоровается с эскадронами, лошадь трепещет. Музыка. Вытягиваемся по дороге. Невыносимая. Идем через Млынов — Бережцы, в Млынов нельзя заехать, в это еврейское местечко. Подъезжаем к Бережцам, канонада, канцелярия поворачивает назад, пахнет мазутом, по откосам ползут отряды кавалерии. Смордва, дом священника, заплаканные провинциальные барышни в белых чулках, давно таких не видел, раненая попадья, хромая, жилистый поп, крепкий дом, штадив и начдив 14, ждем прибытия бригад, наш штаб на возвышенности, поистине большевистский штаб — начдив Бахтуров, военкомы. Нас обстреливают, начдив молодец — умен, напорист, франтоват, уверен в себе, сообразил обходное движение на Бокунин, наступление задерживается, распоряжения бригадам. Прискакали Колосов и Книга (знаменитый Книга, чем он знаменит). Великолепная лошадь Колесова, у Книги лицо хлебного приказчика, деловитый хохол. Приказания быстры, все советуются, обстрел увеличивается, снаряды падают в 100 шагах.

Начдив 14 пожиже, глуп, разговорчив, интеллигент, работает под буденновца, ругается беспрерывно, я дерусь всю ночь, не прочь прихвастнуть. Длинными лентами извиваются на противоположном берегу бригады, обстрел обозов, столбы пыли. Буденновские полки с обозами, с коврами по седлам.

Мне все хуже. У меня 39 и 8. Приезжают Буденный и Ворошилов.

Совещание. Пролетает начдив. Бой начинается. Лежу в саду у

батюшки. Грищук апатичен совершенно. Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает.

Знает, что такое начальство, немцы научили.

Начинают прибывать раненые, перевязки, голые животы, долготерпение, нестерпимый зной, обстрел с обеих сторон беспрерывный, нельзя забыться. Буденный и Ворошилов на крылечке. Картина боя, возвращаются кавалеристы, запыленные, потные, красные, никаких следов волнения, рубал, профессионалы, все протекает в величайшем спокойствии — вот особенность, уверенность в себе, трудная работа, мчатся сестры на лошадях, броневик Жгучий. Против нас — особняк графа Ледоховского, белое здание над озером, невысокое, некричащее, полное благородства, вспоминаю детство, романы, — много еще вспоминаю. У фельдшера — жалкий красивый молодой еврей — может быть, получал жалованье у графа, сер от тоски. Извините, как положение на фронте? Поляки издевались и мучили, он думает, что теперь настанет жизнь, между прочим, казаки не всегда хорошо поступают.

Отзвуки боя — скачущие всадники, донесения, раненые, убитые.

Сплю у церковной ограды. Какой-то комбриг спит, положив голову на живот какой-то барышни.

Вспотел, полегчало. Еду в Бережцы, там канцелярия, разоренный дом, пью вишневый чай, ложусь в хозяйкину постель, потею, порошок аспирина. Хорошо бы поспать. Вспоминаю — у меня жар, зной, у церковной ограды солдаты с воем, а другие с хладнокровием припускают жеребцов.

Бережцы, Сенкевич, пью вишневый чай, лег на пружинный матрац, ребенок какой-то задыхается рядом. Забылся часа на два. Будят. Я пропотел. Едем ночью обратно в Смордву, оттуда дальше, опушка леса. Поездка ночью, луна, где-то впереди эскадрон.

Избушка в лесу. Мужики и бабы спят вдоль стен. Константин Карлович диктует. Картина редкая — вокруг спит эскадрон, все во тьме, ничего не видно, из лесу тянет холодом, натыкаюсь на лошадей, в штабе — едят, больной ложусь у тачанки на землю, сплю 3 часа, укрытый шалью и шинелью Барсукова, хорошо.

Высоты у Смордвы. Пелча. 20.7.20

Выступаем в 5 часов утра. Дождь, сыро, идем лесами. Операция идет успешно, наш начдив верно указал путь обхода,

продолжаем загибать. Промокли, лесные дорожки. Обход через Бокуйку на Пелчу. Сведения, в 10 часов взята Добрыводка, в 12 часов после ничтожного сопротивления Козин. Мы преследуем противника, идем на Пелчу. Леса, лесные дорожки, эскадроны вьются впереди.

Здоровье мое лучше, неисповедимыми путями.

Изучаю флору Волынской губернии, много вырублено, вырубленные опушки, остатки войны, проволока, белые окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги в лесу, ясень.

По лесным тропинкам в Пелчу. Приезжаем к 10 часам. Опять село, хозяйка длинная, скучно — немае, очень чисто, сын был в солдатах, дает нам яиц, молока нет, в хате невыносимо душно, идет дождь, размывает все дороги, черная глюкающая грязь, к штабу не подойти. Целый день сижу в хате, тепло, там дождь за окном. Как скучна и пресна для меня эта жизнь — цыплята, спрятанная корова, грязь, тупость. Над землей невыразимая тоска, все мокро, черно, осень, а у нас в Одессе…

В Пелче захватили обоз 49-го польского пехотного полка. Дележ под окном, совершенно идиотская ругань, притом подряд, другие слова скучны, их не хочется произносить, о ругани, Спаса мать, гада мать, крестьянки ежатся, Бога мать, дети спрашивают — солдаты ругаются. Бога мать. Застрелю, бей.

Мне достается бумажный мешок и сумка к седлу. Описать эту мутную жизнь. Хлопец не идет работать на поле. Сплю на хозяйской кровати.

Узнали о том, что Англия предложила мир Сов. России с Польшей, неужели скоро кончим?

Пелча — Боратин. 21.7.20

Нами взят Дубно. Сопротивление, несмотря на то, что мы говорим — ничтожное. В чем дело? Пленные говорят и видно — революция маленьких людей. Много об этом можно сказать, красота фронтона Польши, есть трогательность, моя графиня. Рок, гонор, евреи, граф Ледоховский. Пролетарская революция. Как я вдыхаю запах Европы — идущий оттуда.

Выезжаем в Боратин через Добрыводка, леса, поля, тихие очертания, дубы, опять музыка и начдив, и сбоку — война. Привал в Жабокриках, ем белый хлеб. Грищук кажется мне иногда ужасным — забит? Немцы, эта жующая челюсть.

Описать Грищука.

В Боратине — крепкое, солнечное село. Хмиль, смеющийся дочке, молчаливый, но богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота, отхожу от болезни, для меня все крестьяне на одно лицо, молодая мать. Грищук сияет, ему дали яичницу с салом, прекрасная, тенистая клуня, клевер. Отчего Грищук не убегает?

Прекрасный день. Мое интервью с Константином Карловичем. Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость. Мы авангард, но чего? Население ждет избавителей, евреи свободны — приезжают кубанцы…

Командарм вызывает начдива на совещание в Козин. 7 верст. Еду. Пески. Каждый дом остался в сердце. Кучки евреев. Лица, вот гетто, и мы старый народ, измученные, есть еще силы, лавка, пью кофе великолепный, лью бальзам на душу лавочника, прислушивающегося к шуму в лавке. Казаки кричат, ругаются, лезут на полки, несчастная лавка, потный рыжебородый еврей… Брожу без конца, не могу оторваться, местечко было разрушено, строится, существует 400 лет, остатки синагоги, великолепный разрушенный старый храм, бывший костел, теперь церковь, очаровательной белизны в три створки, видный издалека, теперь церковь. Старый еврей — я люблю говорить с нашими — они меня понимают. Кладбище, разрушенный домик рабби Азриила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания, этот замученный еврей — мой проводник, какая-то семья тупых толстоногих евреев, живущих в деревянном сарае при кладбище, три гроба евреев солдат, убитых в русско-германскую войну. Абрамовичи из Одессы, хоронить приезжала мать, и я вижу эту еврейку, хоронящую сына, погибшего за противное ей непонятное, преступное дело.

Новое и старое кладбище — местечку 400 лет.

Вечер, хожу между строениями, евреи и еврейки читают афиши и прокламации. Польша — собака буржуазии и прочее. Смерть от насекомых и не уносите печей из теплушек.

Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннобородые, не наши толстые и govial. Высокие старики, шатающиеся без дела. Главное — лавка и кладбище.

7 верст обратно в Боратин, прекрасный вечер, душа полна, богатые хозяева, лукавые девушки, яичница, сало, наши гоняют мух, русско-украинская душа. Мне, верно, не интересно.

Боратин. 22.7.20

До обеда — доклад в Полештарм. Хорошая солнечная погода, богатое, крепкое село, иду на мельницу, что такое водяная мельница, еврей служка, потом купаюсь в холодной мелкой речке под нежарким солнцем Волыни. Две девочки играют в воде, странное, с трудом преодолимое, желание сквернословить, скользкие и грубые слова.

Соколову худо. Даю ему лошадей для отправки в госпиталь. Штаб выезжает в Лешнюв (Галиция, в первый раз переходим границу). Я жду лошадей. Хорошо в деревне, светло, сыто.

Выезжаю через два часа на Хотин. Дорога леском, тревога. Грищук туп и страшен. Я на тяжелой лошади Соколова. Я один на дороге. Светло, прозрачно, не жарко, легкая теплота. Фурманка впереди, пять человек, похожих на поляков. Игра, едем, останавливаемся, откуда? Взаимный страх и тревога. У Хотина видны наши, въезжаем, стрельба. Дикая скачка назад, тащу коня на поводу. Пули жужжат, воют. Артиллерийский огонь. Грищук то несется с мрачной и молчаливой энергией, то в опасные минуты — непонятен, вял, черен, заросшая челюсть. В Боратине уже никого нет. Обоз за Боратиным, начинается каша. Обозная эпопея, отвращение и мерзость. Командует Гусев. Стоим полночи у Козина, стрельба. Высылаем разведку, никто ничего не знает, разъезжают верховые, имеющие деловой вид, высокий немчик — райкоменданта, ночь, хочется спать, чувство беспомощности — не знаешь, куда тебя везут, думаю, что это 20–30 человек из загнанных нами в леса, набег. Но откуда артиллерия? Засыпаю на полчаса, говорят, была перестрелка, наши выслали цепь. Двигаемся дальше. Лошади измучены, ужасная ночь, двигаемся колоссальным обозом в непроглядной тьме, неизвестно через какие деревни, пожарище где-то сбоку, пересекают дорогу другие обозы — потрясен фронт или обозная паника?

Ночь тянется бесконечно, попадаем в яму. Грищук странно правит, нас бьют сзади дышлом, крики где-то вдали, останавливаемся через каждые полверсты и стоим томительно, бесцельно, долго.

У нас рвется вожжа, тачанка не повинуется, отъезжаем в поле, ночь, у Грищука припадок звериного, тупого, безнадежного и бесящего меня отчаяния: о, сгорили б те вожжи, о, — сгори да сгори. Он слеп, он признается в этом, Грищук, он ничего не видит ночью. Обоз нас оставляет, дороги тяжелы, черная грязь, Грищук, хватаясь за обрывок вожжи, — неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит, канонада отовсюду, обозные — мы в кругу. Едем на авось с порванной вожжой. Тачанка визжит, тяжелый мутный рассвет вдали, мокрые поля. Фиолетовые полосы на небе, с черными провалами. На рассвете

— местечко Верба. Железнодорожное полотно — мертвое, мелкое, пахнет Галицией. 4 часа утра.

В Вербе. 23.7.20

Евреи, не снявшие ночь, стоят жалкие, как птицы, синие, взлохмаченные, в жилетах и без носков. Мокрый безрадостный рассвет, вся Верба забита обозами, тысячи повозок, все возницы на одно лицо, перевязочные отряды, штаб 45-й дивизии, слухи тяжелые и вероятно нелепые и эти слухи, несмотря на цепь наших побед… Две бригады 11-й дивизии в плену, поляки захватили Козин, несчастный Козин, что там будет. Стратегическое положение любопытное, 6-я дивизия в Лешнюве, поляки в Козине, в Боратине, в тылу, исковерканные пироги. Ждем на дороге из Вербы. Стоим два часа, Миша в белой высокой шапке с красной лентой скачет по полю. Все едят — хлеб с соломой, зеленые яблоки, грязными пальцами, вонючими ртами — грязную, отвратительную пищу. Едем дальше. Изумительно — остановки через каждые 5 шагов, нескончаемые линии обозов 45-й и 11-й дивизий, мы то теряем наш обоз, то находим его. Поля, потоптанное жито, объеденные, еще не совсем объеденные деревни, местность холмистая, куда приедем? Дорога на Дубно. Леса, великолепные старинные тенистые леса. Жара, в лесах тень. Много вырублено для военных надобностей, будь они прокляты, голые опушки с торчащими пнями. Древние Волынские Дубенские леса, узнать, где-то достают мед, пахучий, черный.

Описать леса.

Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба. Следует ужас, она варит на 100 человек, мухи, распаренная и растрясенная комиссарская Шурка, свежина с картошкой, берут все сено, косят овес, картошка пудами, девочка сбивается с ног, остатки благоустроенного хозяйства. Жалкий длинный улыбающийся чех, полная хорошая, иностранная женщина, жена.

Вакханалия. Сдобная Гусевская Шурка со свитой, красноармейцы — дрянь, обозники, все это топчется на кухне, сыплет картошку, ветчину, пекут коржи. Температура невыносимая, задыхаешься, тучи мух. Замученные чехи. Крики, грубость, жадность. Все же великолепный у меня обед — жареная свинина с картошкой и великолепный кофе. После обеда сплю под деревьями — тихий тенистый откос, качели летают перед глазами. Перед глазами — тихие зеленые и желтые холмы, облитые солнцем, и леса, Дубенские леса. Сплю часа три. Потом в Дубно. Еду с Прищепой, новое знакомство, кафтан, белый

башлык, безграмотный коммунист, он ведет меня к жене. Муж — а гробер менч — ездит на лошаденке по деревням и скупает у крестьян продукты. Жена — сдобная, томная, хитрая, чувственная молодая еврейка, 5 месяцев замужем, не любит мужа, впрочем, чепуха, заигрывает с Прищепой. Центр внимания на меня — er ist ein [нрзб] — вглядывается, спрашивает фамилию, не отрывает глаз, пьем чай, у меня идиотское положение, я тих, вял, вежлив и за каждое движение благодарю. Перед глазами — жизнь еврейской семьи, приходит мать, какие-то барышни, Прищепа — ухажер. Дубно переходило несколько раз из рук в руки. Наши, кажется, не грабили. И опять все трепещут, и опять унижение без конца, и ненависть к полякам, рвавшим бороды. Муж — будет ли свобода торговли, немножко купить и сейчас же продать, не спекулировать. Я говорю — будет, все идет к лучшему, моя обычная система, в России чудесные дела — экспрессы; бесплатное питание детей, театры, интернационал. Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, все перевернет, всех вывернет, в который раз и жалко.

Дубенские синагоги. Все разгромлено. Осталось два маленьких притвора, столетия, две маленькие комнатушки, все полно воспоминаний, рядом четыре синагоги, а там выгон, поля и заходящее солнце. Синагоги — приземистые старинные зеленые и синие домишки, хасидская, внутри — архитектуры никакой. Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, вот как бы описать. Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует, четыре синагожки рядом. Религия? Никаких украшений в здании, все бело и гладко до аскетизма, все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. А в чем душа заключается? Неужто именно в наше столетие они погибают?

Уголок Дубно, четыре синагоги, вечер пятницы, евреи и еврейки у разрушенных камней — все памятно. Потом вечер, селедка, грустный, оттого что не с кем «совокупиться». Прищепа и дразнящая, раздражающая Женя, ее еврейские и блистающие глаза, толстые ноги и мягкая грудь. Прищепа — руки грузнут и ее упорный взгляд, и дурак муж, кормящий в крохотном закутке перемененную лошадь.

Ночуем у других евреев, Прищепа просит, чтобы ему играли, толстый мальчик с твердым, тупым лицом, задыхаясь от ужаса,

говорит, что у него нет настроения. Лошадь напротив в дворике. Грищуку 50 верст от дому. Он не убегает.

Поляки наступают в районе Козина — Братино, они у нас в тылу, 6-я дивизия в Лешнюве, Галиция. Идет операция на Броды, Радзивилов вперед и одной бригадой на тыл. 6-я дивизия в тяжких боях.

24.7.20

Утром — в Штарме. 6-я дивизия ликвидирует противника, напавшего на нас в Хотине, район боев Хотин — Козин, и я думаю — несчастный Козин.

Кладбище, круглые камни.

Из Кривих с Прищепой еду в Лешнюв на Демидовку. Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество по станице. Декоративен, башлык, прост как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей. Едем через Хорупань, Смордву и Демидовку. Запомнить картину — обозы, всадники, полуразрушенные деревни, поля и леса, дубы, изредка раненые и моя тачанка.

В Демидовке к вечеру. Еврейское местечко, я настораживаюсь. Евреи по степи, все разрушено. Мы в доме, где масса женщин. Семья Ляхецких, Швехвелей, нет, это не Одесса. Зубной врач — Дора Ароновна, читает Арцыбашева, а вокруг гуляет казачье. Она горда, зла, говорит, что поляки унижали чувство собственного достоинства, презирает за плебейство коммунистов, масса дочерей в белых чулках, набожные отец и мать. Каждая дочь — индивидуальность, одна — жалкая, черноволосая, кривоногая, другая — пышная, третья — хозяйственная, и все, вероятно, старые девы.

Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет жарить картошку, а завтра пост, 9 Аба, и я молчу, потому что я русский. Зубной врач, бледная от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошку, потому что праздник.

Долго мною сдерживаемый Прищепа прорывается — жиды, мать, весь арсенал, они все, ненавидя нас и меня, копают картошку, боятся в чужом огороде, валят на кресты. Прищепа негодует. Как все тяжко — и Арцыбашев, и сирота гимназистка из Ровно, и Прищепа в башлыке. Мать ломает руки — развели огонь в субботу, кругом брань. Здесь был Буденный и уехал. Спор между еврейским юношей и Прищепой. Юноша в очках, черноволос,

нервен, алые воспаленные веки, неправильная русская речь. Он верит в Бога, Бог — это идеал, который мы носим в нашей душе, у каждого человека в душе есть свой Бог, поступаешь дурно — Бог скорбит, эти глупости высказываются восторженно и с болью. Прищепа оскорбительно глуп, он разговаривает о религии в древности, путает христианство с язычеством, главное — в древности была коммуна, конечно, плетет без толку, ваше образование — никакого, и еврей — 6 классов Ровенской гимназии — говорит по Платонову — трогательно и смешно — роды, старейшины. Перун, язычество.

Мы едим, как волы, жареный картофель и по 5 стаканов кофе. Потеем, все нам подносят, все это ужасно, я рассказываю небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание, ревельская делегация, венец — рассказ о китайцах, и я увлекаю всех этих замученных людей. 9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит, что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное, — приятным тенорком поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лампочка, воет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм. Иду спать на дворе, вонючем и мокром.

Беда с Грищуком — он в каком-то остолбенении, ходит, как сомнамбула, лошадей кормит слабо, о бедах заявляет post-factum, благоволит к мужикам и детям.

Приехали с позиции пулеметчики, останавливаются в нашем дворе, ночь, они в бурках. Прищепа ухаживает за еврейкой из Кременца, хорошенькая, полная, в гладком платье. Она нежно краснеет, кривой тесть сидит неподалеку, она цветет, с Прищепой можно поговорить, она цветет и жеманится, о чем они беседуют, потом — он спать, провести время, ей мучительно, кому ее душа понятнее, чем мне? Он — будем писать, я думаю с тоской — неужели она, говорит Прищепа — согласилась (у него все соглашаются). Вспоминаю, у него, вероятно, сифилис, вопрос — излечился.

Девушка потом — я буду кричать. Описать их первые деликатные разговоры, о чем же вы думаете — она интеллигентный человек, служила в Ревкоме.

Боже, думаю я, женщины теперь слышат все ругательства, живут по-солдатски, где нежность?

Ночью гроза и дождь, бежим в хлев, грязно, темно, мокро, холодно, пулеметчиков на рассвете гонят на позиции, они

собираются под проливным дождем, бурки и иззябшие лошади. Жалкая Демидовка.

25.7.20

Утром отъезд из Демидовки. Мучительные два часа, евреек разбудили в 4 часа утра в заставили варить русское мясо, в это 9 Аба. Девушки полуголые и встрепанные бегают по мокрым огородам, похоть владеет Прищепой неотступно, он нападает на невесту сына кривого старика, в это время забирают подводу, идет ругань невероятная, солдаты едят из котлов мясо, она — я буду кричать, ее лицо, он прижимает к стене, безобразная сцена. Она всячески отбивает подводу, они спрятали ее на чердаке, будет хорошая еврейка. Она препирается с комиссаром, говорящим о том, что евреи не хотят помогать Красной Армии.

Я потерял портфель, потом нашел его в штабе 14 дивизии в Лишня.

Едем на Остров — 15 верст, оттуда дорога на Лешнюв, там опасно, польские разъезды, Батюшка, его дочь, похожая на Плевицкую или на веселый скелет. Киевская курсистка, все истосковались по вежливости, я рассказываю небылицы, она не может оторваться. 15 опасных верст, скачут часовые, проезжаем границу, деревянный настил. Везде окопы.

Приезжаем в штаб. Лешнюв. Полуразрушенное местечко. Русские достаточно запаскудили. Костел, униатская церковь, синагога, красивые здания, несчастная жизнь, какие-то призрачные евреи, отвратительная хозяйка, галичанка, мухи и грязь, длинный, одичавший оболтус, славяне второго сорта. Передать дух разрушенного Лешнюва, худосочие и унылая полузаграничная грязь.

Сплю в клуне. Идет бой под Бродами и у переправы — Чуровице. Циркуляры о советской Галиции. Пасторы. Ночь в Лешнюве. Как все это невообразимо грустно, и эти одичалые и жалкие галичане, и разрушенные синагоги, и мелкая жизнь на фоне страшных событий, до нас доходят только отсветы.

Лешнюв. 26.7.20

Украина в огне. Врангель не ликвидирован. Махно делает набеги в Екатеринославской и Полтавской губерниях. Появились новые банды, под Херсоном — восстание. Почему они восстают, короток коммунистический пиджак?

Что с Одессой, тоска.

Много работы, восстанавливаю прошлое. Сегодня утром взяты Броды, опять окруженный противник ушел, резкий приказ Буденного, 4 раза выпустили, умеем раскачать, но нет сил задержать.

Совещание в Козине, речь Буденного, перестали маневрировать, лобовые удары, теряем связь с противником, нет разведки, нет охранения, начдивы не имеют инициативы, мертвые действия.

Разговариваю с евреями, в первый раз — неинтересные евреи. Сбоку разрушенная синагога, рыженький из Броды, земляки из Одессы.

Переезжаю к безногому еврею, благоденствие, чистота, тишина, великолепный кофе, чистые дети, отец потерял обе ноги на ит. фронте, новый дом, строятся, жена корыстолюбива, но прилична, вежлива, маленькая тенистая комнатка, отдыхаю от галичан.

У меня тоска, надо все обдумать, и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу.

Жизнь нашей дивизии. — О Бахтурове, о начдиве, о казаках, мародерство, авангард авангарда. Я чужой.

Вечером паника, противник потеснил нас из Чуровице, был в 1 1/2 верстах от Лешнюва. Начдив ускакал и прискакал. И начинается странствие, и снова ночь без сна, обозы, таинственный Грищук, лошади идут бесшумно, брань, леса, звезды, где-то стоим. На рассвете Броды, все это ужасно — везде проволока, обгоревшие трубы, малокровный город, пресные дома, говорят, здесь есть товары, наши не преминут, здесь были заводы, русское военное кладбище и поистине — безвестные одинокие кресты у могил — русские солдаты.

Белая совсем дорога, вырубленные леса, все исковеркано, галичане на дорогах, австрийская форма, босые с трубками, что в их лицах, какая тайна ничтожества, обыденщины, покорности.

Радзивилов — хуже Брод, проволока на столбах, красивы здания, рассвет, жалкие фигуры, оборванные фрукты, обтрепанные зевающие евреи, разбитые дороги, снесенные распятия, бездарная земля, подбитые католические храмы, где ксендзы — а здесь были контрабандисты, и я вижу прежнюю жизнь.

Хотин. 27.7.20

От Радзивилова — бесконечные деревни, мчащиеся вперед

всадники, тяжело после бессонной ночи.

Хотин — та самая деревня, где нас обстреляли. Квартира — ужасная — нищета, баня, мухи, степенный, кроткий, стройный мужик, прожженная баба, ничего не дает, достаю сало, картошку. Живут нелепо, дико, комнатенка и мириады мух, ужасная пища, и не надо ничего лучше — и жадность, и отвратительное неизменяющееся устройство жилища, и воняющие на солнце шкуры, грязь без конца раздражает.

Был помещик — Свешников, разбит завод, разбита усадьба, величественный остов завода, красное кирпичное здание, размещенные аллеи, уже нет следа, мужики равнодушны.

У нас хромает артснабжение, втягиваюсь в штабную работу — гнусная работа убийства. Вот заслуга коммунизма — нет хоть проповеди вражды к врагам, только, впрочем, к польским солдатам.

Привезли пленных, одного совершенно здорового ранил двумя выстрелами без всякой причины красноармеец. Поляк корчится и стонет, ему подкладывают подушку.

Убит Зиновьев, молоденький коммунист в красных штанах, хрипы в горле и синие веки.

Носятся поразительные слухи — 30-го начинают переговоры о перемирии.

Ночую в вонючей дыре, называемой двором. Не сплю поздно, захожу в штаб, дела с переправой не блестящи.

Поздняя ночь, красный флаг, тишина, жаждущие женщин красноармейцы.

Хотин. 28.7.20

Бой за переправу у Чуровице. 2-я бригада в присутствии Буденного — истекает кровью. Весь пехотный батальон — ранен, избит почти весь. Поляки в старых блиндированных окопах. Наши не добились результата. Крепнет ли у поляков сопротивление?

Разложения перед миром — не видно.

Я живу в бедной хате, где сын с большой головой играет на скрипке. Терроризирую хозяйку, она ничего не дает. Грищук, окаменелый, плохо ухаживает за конями, оказывается, он приучен голодом.

Разрушенная экономия, барин Свешников, разбитый величественный винный завод (символ русского барина?), когда выпустили спирт — все войска перепились.

Раздраженный — я не перестаю негодовать, грязь, апатия, безнадежность русской жизни невыносимы, здесь революция что-

то сделает.

Хозяйка прячет свиней и корову, говорит быстро, елейно и с бессильной злобой, ленива, и я чувствую, что она разрушает хозяйство, муж верит в власть, очарователен, кроток, пассивен, похож на Строева.

Скучно в деревне, жить здесь — это ужасно. Втягиваюсь в штабную работу. Описать день — отражение боя, идущего в нескольких верстах от вас, ординарцы, у Лепина вспухла рука.

Красноармейцы ночуют с бабами.

История — как польский полк четыре раза крал оружие и защищался вновь, когда его начинали рубить.

Вечер, тихо, разговор с Матяж, он беспредельно ленив, томен, соплив и как-то приятно, ласково похотлив. Страшная правда — все солдаты больны сифилисом. У Матяж, выздоравливает (почти не лечась). У него был сифилис, вылечил за две недели, он с кумом заплатил бы в Ставрополе 10 коп. серебром, кум умер, у Миши есть много раз, у Сенечки, у Гераси сифилис, и все ходят к бабам, а дома невесты. Солдатская язва. Российская язва — страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь.

Письмо Жене, тоска по ней и по дому.

Надо следить за особотделом и ревтрибуналом.

Неужели 30-го переговоры о мире?

Приказ Буденного. — Мы в четвертый раз выпустили противника, под Бродами был совершенно окружен.

Описать Матяжа, Мишу. Мужики, в них хочется вникать.

Мы имеем силы маневрировать, окружать поляков, но хватка, в сущности, слабая, они пробиваются. Буденный сердится, выговор начдиву. Написать биографии начдива, военкома Книги и проч.

Лешнюв. 25.7.20

Утром уезжаем в Лешнюв. Снова у прежнего хозяина — чернобородого, безногого Фроима. За время моего отсутствия его ограбили на 4 тысячи гульденов, забрали сапоги. Жена — льстивая сволочь, холоднее ко мне, видит, что поживиться трудно, как они жадны. Я разговариваю с ней по-немецки. Начинается дурная погода.

У Фроима — дети хромоногие, их много, я их не разбираю, корову и лошадь он прячет.

В Галиции невыносимо уныло, разбитые костелы и распятие, хмурое небо, прибитое, бездарное, незначительное население. Жалкое, приученное к убийству, солдатам, непорядку, степенные русские плачущие бабы, взрытые дороги, низкие хлеба, нет солнца, ксендзы в широких шляпах — без костелов. Гнетущая тоска от всех строящих жизнь.

Славяне — навоз истории?

День протекает тревожно. Поляки прорвали расположение 14-й дивизии правее нас, вновь заняли Берестечко. Сведений никаких, кадриль, они заходят нам в тыл.

Настроение в штабе. Константин Карлович молчит. Писаря — эта откормленная, наглая, венерическая шпанка — тревожатся. После тяжкого однообразного дня — дождливая ночь, грязь — у меня туфли. Вот и начинается могущественный дождь, истинный победитель.

Шлепаем по грязи, пронизывающий мелкий дождь.

Стрельба орудийная и пулеметная все ближе. Меня клонит ко сну нестерпимо. Лошадям нечего дать. У меня новый кучер — поляк Говинский, высокий, проворный, говорливый, суетливый и, конечно, наглый парень.

Грищук идет домой, иногда он прорывается — я замученный, по-немецки он не мог научиться, потому что хозяин у него был серьезный, они только ссорились, но никогда не разговаривали.

Оказывается еще — он голодал семь месяцев, а я скупо давал ему пищу.

Совершенно босой, с впавшими губами, синими глазами — поляк. Говорлив и весел, перебежчик, мне он противен.

Клонит ко сну непреодолимо. Спать опасно. Ложусь одетый. Рядом со мной две ноги Фроима стоят на стуле. Светит лампочка, его черная борода, на полу валяются дети.

Десять раз встаю — Говинский и Грищук спят — злоба. Заснул к четырем часам, стук в дверь — ехать. Паника, неприятель у местечка, стрельба из пулеметов, поляки приближаются. Все скачет. Лошадей не могут вывести, ломают ворота. Грищук со своим отвратительным отчаянием, нас четыре человека, лошади не кормлены, надо заехать за сестрой, Грищук и Говинский хотят ее бросать, я кричу не своим голосом — сестра? Я зол — сестра глупа, красива. Летим по шоссе на Броды, я покачиваюсь и сплю. Холодно, пронизывает ветер и дождь. Надо следить за лошадьми, сбруя ненадежна, поляк поет, дрожу от холода, сестра говорит глупости. Качаюсь и сплю. Новое ощущение — не могу раскрыть век. Описать — невыразимое желание спать.

Опять бежим от поляка. Вот она — кав. война. Просыпаюсь —

мы стоим перед белыми зданиями. Деревня? Нет, Броды.

Броды. 30.7.20

Унылый рассвет. Надоела сестра. Где-то бросили Грищука. Дай ему Бог.

Куда заехать? Усталость гнетет. 6 часов утра. Какой-то галичанин, к нему. Жена на полу с новорожденным. Он — тихий старичок, дети с голой женой, их трое, четверо.

Еще какая-то женщина. Пыль, прибитая дождем. Подвал. Распятие. Изображение святой Девы. Униаты действительно ни то, ни другое. Сильный католический налет. Блаженство — тепло, какая-то горячая вонь от детей, женщин. Тишина и уныние. Сестра спит, я не могу, клопы. Нет сена, я кричу на Говинского. У хозяев нет хлеба, молока.

Город разрушен, ограблен. Город огромного интереса. Польская культура. Старинное, богатое, своеобразное еврейское поселение. Эти ужасные базары, карлики в капотах, капоты и пейсы, древние старики. Школьная улица, 9 синагог, все полуразрушено, осматриваю новую синагогу, архитектура [нрзб] кондьеш, шамес, бородатый и говорливый еврей — хоть бы мир, как будет торговля, рассказывает о разграблении города казаками, об унижениях, чинимых поляками. Прекрасная синагога, какое счастье, что у нас есть хотя бы старые камни. Это еврейский город — это Галиция, описать. Окопы, разбитые фабрики, Бристоль, кельнерши, «западноевропейская» культура, и как жадно на это бросаешься. Эти жалкие зеркала, бледные австрийские евреи — хозяева. И рассказы — здесь были американские доллары, апельсины, сукно.

Шоссе, проволока, вырубленные леса, и уныние, уныние без конца. Есть нечего, надеяться не на что, война, все одинаково плохи, одинаково чужие, враждебные, дикие, была тихая и, главное, исполненная традиций жизнь.

Буденновцы на улицах. В магазинах — только ситро, открыты еще парикмахерские. На базаре у мегер — морковь, все время идет дождь, беспрерывный, пронзительный, удушающий. Нестерпимая тоска, люди и души убиты.

В штабе — красные штаны, самоуверенность, важничают мелкие душонки, масса молодых людей, среди них и евреи, состоят в личном распоряжении командарма и заботятся о пище.

Нельзя забыть Броды и эти жалкие фигуры, и парикмахеров, и евреев, пришедших с того света, и казаков на улицах.

Беда с Говинским, лошадям совершенно нет корма. Одесская

гостиница Гальперина, в городе голод, есть нечего, вечером хороший чай, утешаю хозяина, бледного и растревоженного, как мышь. Говинский нашел поляков, взял у них кэпи, кто-то помог и Говинскому. Он нестерпим, лошадей не кормит, где-то шатается, болтает, ничего не может достать, боится, чтобы его не арестовали, а его пытались уже арестовать, приходили ко мне.

Ночь в гостинице, рядом супруги и разговоры, и слова и… в устах женщины, о русские люди, как отвратительно вы проводите ваши ночи и какие голоса стали у ваших женщин. Я слушаю затаив дыхание, и мне тяжко.

Ужасная ночь в этих замученных Бродах. Быть наготове. Я таскаю ночью сено лошадям. В штабе. Можно спать, противник наступает. Вернулся домой, спал крепко, с помертвевшим сердцем, разбудил Говинский.

Броды. Лешнюв. 31.7.20

Утром перед отъездом на Золотой улице ждет тачанка, час в книжном магазине, немецкий магазин. Есть все великолепные неразрезанные книги, альбомы. Запад, вот он, Запад, и рыцарская Польша, хрестоматия, история всех Болеславов, и почему-то мне кажется, что это красота, Польша, на ветхое тело набросившая сверкающие одежды. Я роюсь, как сумасшедший, перебегаю, темно, идет поток и разграбление канцелярских принадлежностей, противные молодые люди из трофкомиссии архивоенного вида. Отрываюсь от магазина с отчаянием.

Хрестоматии, Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники.

Штаб в Станиславчике или Кожошкове. Сестра, она служила по Чрезвычайкам, очень русская, нежная и сломанная красота. Жила со всеми комиссарами, так я думаю, и вдруг — альбом Костромской гимназии, классные дамы, идеальные сердца. Романовский пансион, тетя Маня, коньки.

Снова Лешнюв, и мои хозяева, страшная грязь, налет гостеприимства, уважения к русским и по моей доброте сошел, неприветливо у разоряемых людей.

О лошадях, кормить нечем, худеют, тачанка рассыпается, из-за пустяков, я ненавижу Говинского, какой-то веселый, прожорливый неудачник. Кофе мне уже не дают.

Противник обошел нас, от переправы оттеснил, зловещие слухи о прорыве в расположении 14-й дивизии, скачут ординарцы. К вечеру — в Гржималовку (севернее Чуровице) — разоренная деревня, достали овес, беспрерывный дождь, короткая

дорога в штаб для моих туфель непроходима, мучительное путешествие, позиция надвигается, пил великолепный чай, горячо, хозяйка притворилась сначала больной, деревня все время находилась в сфере боев за переправу. Тьма, тревога, поляк шевелится.

К вечеру приехал начдив, великолепная фигура, перчатки, всегда с позиции, ночь в штабе, работа Константина Карловича.

Гржималовка, Лешнюв. 1.8.20

Боже, август, скоро умрем, неистребима людская жестокость.

Дела на фронте ухудшаются. Выстрелы у самой деревни. Нас вытесняют с переправы. Все уехали, осталось несколько человек штабных, моя тачанка стоит у штаба, я слушаю бой, хорошо мне почему, нас немного, нет обозов, нет административного штаба, спокойно, легко, огромное самообладание Тимошенки. Книга апатичен, Тимошенко: — Если не выбьет — расстреляю, передай на словах, все же начдив усмехается. Перед нами дорога, разбухшая от дождя, пулемет вспыхивает в разных местах, невидимое присутствие неприятеля в этом сером и легком небе. Неприятель подошел к деревне. Мы теряем переправу через Стырь. Едем в злополучный Лешнюв, в который раз?

Начдив к 1-й бригаде. В Лешнюве — ужасно, заезжаем на два часа, административный штаб утекает, стена неприятеля вырастает повсюду.

Бой под Лешнювом. Наша пешка в окопах, это замечательно, волынские босые, полуидиотические парни — русская деревня, и они действительно сражаются против поляков, против притеснявших панов. Нет ружей, патроны не подходят, эти мальчики слоняются по облитым зноем окопам, их перемещают с одной опушки на другую. Хата у опушки, мне делает чай услужливый галичанин, лошади стоят в лощинке.

Сходил на батарею, точная, неторопливая, техническая работа.

Под пулеметным обстрелом, визжание пуль, скверное ощущение, пробираемся по окопам, какой-то красноармеец в панике, и, конечно, мы окружены. Говинский был на дороге, хотел бросить лошадей, потом поехал, я нашел его у опушки, тачанка сломана, перипетии, ищу, куда бы сесть, пулеметчики сбрасывают, перевязывают раненого мальчика, нога в воздухе, он рычит, с ним приятель, у которого убили лошадь, подвязываем тачанку, едем, она скрипит, не вертится. Я чувствую, что Говинский меня погубит, это — судьба, его голый живот, дыры в

башмаках, еврейский нос и вечные оправдания. Я пересаживаюсь в экипаж Михаила Карловича, какое облегчение, я дремлю, вечер, душа потрясена, обоз, стоим по дороге к Белавцам, потом мы по дороге, окаймленной лесом, вечер, прохлада, шоссе, закат — катимся к позициям, отвозим мясо Константину Карловичу.

Я жаден и жалок. Части в лесу, они отошли, обычная картина, эскадрон, Бахтуров читает сообщение о III Интернационале, о том, что съехались со всего мира, белая косынка сестры мелькает между деревьями, зачем она здесь? Едем обратно, что такое Михаил Карлович? Говинский удрал, лошадей нет. Ночь, сплю в экипаже рядом с Михаилом Карловичем. Мы под Белавцами.

Описать людей, воздух.

Прошел день, видел смерть, белые дороги, лошадей между деревьями, восход и закат. Главное — буденновцы, кони, передвижения и война, между житом ходят степенные, босые и призрачные галичане.

Ночь на экипаже.

(У леска стоял с тачанкой писарей.)

Белавцы. 2.8.20

История с тачанкой. Говинский приближается к местечку, конечно, кузнеца не нашел. Мой скандал с кузнецом, толкнул женщину, визг и слезы. Галичане не хотят починять. Арсенал средств, убеждения, угрозы, просьбы, больше всего подействовало обещание сахару. Длинная история, один кузнец болен, тащу его к другому, плач, его тащат домой. Мне не хотят стирать белья, никакие меры воздействия не помогают.

Наконец, починяют.

Устал. В штабе тревога. Уходим. Противник нажимает, бегу предупредить Говинского, зной, боюсь опоздать, бегу по песку, предупредил, догнал штаб за селом, никто не берет меня, уходят, тоска, еду несколько времени с Барсуковым, двигаемся на Броды.

Мне дают санитарную тачанку 2-го эскадрона, подъезжаем к лесу, стоим с Иваном повозочным. Приезжают Буденный, Ворошилов, будет решительный бой, ни шагу дальше. Дальше разворачиваются все три бригады, говорю с комендантом штаба. Атмосфера начала боя, большое поле, аэропланы, маневры кавалерии на поле, наша конница, вдали разрывы, начался бой, пулеметы, солнце, где-то сходятся, заглушенное ура, мы с Иваном отходим, опасность смертельная, что я чувствую, это не страх, это пассивность, он, кажется, боится, куда ехать, группа с Корочаевым идет направо, мы почему-то налево, бой кипит, нас догоняют на

лошади — раненые, смертельно бледный — братишка, возьми, штаны окрашены кровью, угрожает нам стрелять, если не возьмем, осаживаем, он страшен, куртку Ивана заливает кровь, казак, остановились, буду перевязывать, у того легкая рана, в живот, кость повреждена, везем еще одного, у которого лошадь убили. Описать раненого. Долго плутаем под огнем по полям, ничего не видать, эти равнодушные дороги и травка, посылаем верховых, выехали на шоссе — куда ехать, Радзивилов или Броды?

В Радзивилове должен быть административный штаб и все обозы, по моему мнению, в Броды ехать интересней, бой идет за Броды. Победило мнение Ивана, одни обозники говорят, что в Бродах — поляки, обозы бегут, штарм выехал, едем в Радзивилов. Приезжаем ночью. Все это время ели морковь и горох — сырые, пронзительный голод, грязные, не спали. Я выбрал хату на окраине Радзивилова. Угадал, нюх выработался. Старик, девушка. Кислое молоко великолепно, съели, готовится чай с молоком, Иван идет за сахаром, пулеметная стрельба, грохот обозов, выскакиваем, лошадь захромала, так уж полагается, убегаем в панике, стреляют по нас, ничего не понимаем, сейчас поймает, мчимся на мост, столпотворение, провалились в болото, дикая паника, валяется убитый, брошенные подводы, снаряды, тачанки. Пробка, ночь, страх, обозы стоят бесконечные, двигаемся, поле, стали, спим, звезды. Во всей этой истории мне больше всего жаль погибшего чая, до странности жаль. Я об этом думаю всю ночь и ненавижу войну.

Какая тревожная жизнь.

3.8.20.

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание Пражского Банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клекотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской. Иван стоит у штаба. Ехать или не ехать. Едем в Клекотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная

сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомобиль Клейтона, трактор, локомобиль работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки. Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии происходит рубка. Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибился к 20-му полку 4-й дивизии, раненые, вздорный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и все поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивилову, полк идет к Лешнюву, и я бессилен, боюсь оторваться. Бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии. Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивилов, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных.

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем дальше, от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Конюшков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, все берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб, забирают через 5 минут после

приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжко от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печаль, похитил кружку молока у командира полка, вырвал поляницу из рук сына крестьянки.

Через 10 минут выезжаем. Вот те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересесть на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-й дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные, совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней, пристал к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудишь, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивилова. Еду на ура. Несчастная лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Трогаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

4.8.20.

Двигаюсь один к Радзивилову. Тяжкая дорога. Никого по пути, лошадь пристала, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивилова никаких частей, в местечке — смутно, меня посылают на станцию, опустошенное и совершенно привыкшее к переменам население. Шеко на автомобиле. Я в квартире Буденного. Еврейская семья, барышни, группа из гимназии Бухтеевой, Одесса, сердце замерло.

О счастье, дают какао и хлеб. Новости — новый начдив — Апанасенко, новый наштадив — Шеко. Чудеса.

Приезжает Жолнаркевич с эскадроном, он жалок. Зотов объявляет, что он смещен, пойду торговать на Сухаревку лепешками, что же новая школа, вы, говорит, войска расставлять умеете, в старину умел, теперь без резервов не умею.

У него жар, он говорит то, чего говорить не следовало, перебранка с Шеко, тот сразу поднял тон, начальник штаба

приказал вам явиться в штаб, мне сдавать нечего, я не мальчик, чтобы шляться по штабам, оставил эскадрон и уехал. Уезжает старая гвардия, все ломается, вот и нет Константина Карловича.

Еще впечатление — и тяжкое и незабываемое — приезд на белой лошади начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительственно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние. Вчерашний бой — блестящий успех 6-й дивизии — 1000 лошадей, 3 полка загнаны в окопы, противник разгромлен, отброшен, штаб дивизии в Хотине. Чей это успех — Тимошенки или Апанасенки? Тов. Хмельницкий — еврей, жрун, трус, нахал, при командарме — курица, поросенок, кукуруза, его презирают ординарцы, нахальные ординарцы, единственная забота ординарцев — курицы, сало, жрут, жирные, шоферы жрут сало, — все на крылечке перед домом. Лошади есть нечего.

Настроение совсем другое, поляки отступают, Броды хотя ими заняты, снова бьем, вывез Буденный.

Хочу спать, не могу. Перемены в жизни дивизии будут иметь важное значение. Шеко на подводе. Я с эскадроном. Едем на Хотин, опять рысь, 15 верст сделали. Живу у Бахтурова. Он убит, нет начдива, чувствует, что и ему не быть. Дивизия потрясена, бойцы ходят тихие, — нарастает или нет. Наконец-то я поужинал — мясо, мед. Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро. Сплю в клуне, наконец-то покой.

Хотин. 5.8.20

День покоя. Ем, шляюсь по залитой солнцем деревне, отдыхаем, обедал, ужинал — есть мед, молоко.

Главное — внутренние перемены, все перевернуто.

Начдива жалко до боли, казачество волнуется, разговоры из-под угла, интересное явление, собираются, шепчутся, Бахтуров подавлен, герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает, из 600 — 6000, тяжкое унижение, в лицо бросили — вы предатель, Тимошенко засмеялся, — Апанасенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание в Ставрополь и на Дон о непорядках тыла, для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив. Тимошенко был легче, веселее, шире и, может быть, хуже. Два человека, не любили они, верно, друг друга. Шеко разворачивается, невероятно корявые приказы, высокомерие. Совсем другая работа штаба. Обозов и административного штаба нету. Лепин поднял

голову — он зол, туп и возражает Шеко.

Вечером музыка и пляска — Апанасенко ищет популярности, круг шире, Бахтурову выбирает лошадь из польских, нынче все ездят на польских, великолепные кони, узкогрудые, высокие, английские, рыжие кони, этого нельзя забыть. Апанасенко заставляет проводить лошадей.

Целый день — разговоры об интригах. Письмо в тыл.

Тоска по Одессе.

Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова.

Об ординарцах, связывающих свою судьбу с «господами». Что будет делать Михеев, хромой Сухоруков, все эти Гребушки, Тарасовы, Иван Иванович с Бахтуровым. Все идут следом.

О польских лошадях, об эскадронах, скачущих в пыли на высоких, золотистых, узкогрудых польских конях. Чубы, цепочки, костюмы из ковров.

В болоте завязли 600 коней, несчастные поляки.

Хотин. 6.8.20

На том же месте. Приводимся в порядок, куем лошадей, едим, перерыв в операциях.

Моя хозяйка — маленькая, пугливая, хрупкая женщина с измученными и кроткими глазами. Боже, как ее мучают солдаты, это бесконечное варево, крадем мед. Приехал домой хозяин, бомбы с аэроплана угнали у него коней. Старик не ел 5 суток, теперь отправляется по белу свету искать своих коней, эпопея. — Старый старик.

Знойный день, густая, белая тишина, душа радуется, кони стоят, им молотят овес, возле них целый день спят казаки, кони отдыхают — это на первом плане.

Изредка мелькает фигура Апанасенки, в отличие от замкнутого Тимошенки, он — свой, он — отец-командир.

Утром уезжает Бахтуров, за ним свита, слежу за работой нового военкома, тупой, но обтесавшийся московский рабочий, вот в чем сила — шаблонные, но великие пути, три военкома — обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-летнего юношу, скромный Ширяев, хитрый Гришин. Сидят в садку, военком выспрашивает, сплетничают, высокопарно говорят о мировой революции, хозяйка отряхивает яблоки, потому что все объели, секретарь военкома, длинный, с звонким голосом ходит, ищет пищу.

В штабе новые веяния — Шеко пишет особенные приказы,

высокопарные и трескучие, но короткие и энергичные, подает свои мнения Реввоенсовету, действует по собственной инициативе.

Все грустят о Тимошенко, бунта не будет.

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде.

Иван Иванович — сидя на скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У всех есть золото, все набрали в Ростове, перекидывали через седло мешок с деньгами, и пошел. Иван Иванович одевал и содержал женщин. Ночь, клуня, душистое сено, но воздух тяжелый, чем-то я придавлен, грустной бездумностью моей жизни.

Берестечко. 7.8.20

Теперь вечер, 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяина, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят — красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, беспрерывная рвота, истекла. И главное у евреев — красавица, такой в местечке не было.

Памятный день. Утром — из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, оборванец — и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. Русский менаде.

Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно.

Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана.

Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100–200 лет, население крепче, чем в других местах, главное — архитектура, белые водянисто-голубые домики, улички, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы,

ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией, контрабанда.

Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера — идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя.

Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича — вот он, экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича, и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино. Вообще — он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки — умора. Это очень смешное существо.

Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, корчится; мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару. Графский, старинный польский дом, наверное, больше 100

лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 года, notre petit heros acheve 7 Semaines. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие, мать — графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положении, о восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречие, о чем он говорил?

Берестечко. 8.8.20

Вживаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьяне продают груши. Им платят давно не существующими деньгами. Здесь жизнь била ключом — евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость заграницы.

Необыкновенные сараи, подземелья.

Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает «Журнал для всех» и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи, тупое, славянское существо, при разграблении Ростова набившее карман. Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем, которому поляки запускали под ногти булавки, обезумевшие люди.

Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.

Синагога, Торы, 36 лет тому назад построил ремесленник из Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные Торы, во всех шемесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.

Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому Исполкому, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ую дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса III Интернационала, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.

Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман. Панихида тихого старика по внучке.

Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик — болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы

пожить, узнать.

Лашков. 9.8.20.

Переезд из Берестечка в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Левка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. «Зарезать» не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал, — хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да [нрзб], а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого. Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Левка в фаэтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Левке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну да ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем, лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Левка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну, ладно. А где?

Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью.

Лашков — зеленое, солнечное, тихое, богатое галицийское село. Живу у дьякона. Жена только что родила. Придавленные люди. Чистая, новая хата, а в хате ничего. Рядом типичные галицийские евреи. Думают — не еврей ли? Рассказ — ограбили, обрубил голову двум курицам, нашел вещи в клуне, выкопал из-под земли, согнал всех в хату, обычная история, запомнить мальчика с бакенбардами. Рассказывают мне, что главный раввин живет в Бельзе, поистребили раввинов.

Отдыхаем, в моем полисаднике 1-ый эскадрон. Ночь, у меня на столе лампочка, тихо фыркают лошади, здесь все кубанцы, вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество. Все они мужиковаты, по вечерам полными голосами поют песни, похожие на церковные, преданность коням, небольшие кучки — седло, уздечка, расписная сабля, шинель, я сплю, окруженный ими.

Сплю днем на поле. Операций нет, какая это прекрасная и нужная вещь — отдых. Кавалерия, кони отходят от этой нечеловеческой работы, люди отходят от жестокости, вместе

живут, поют песни тихими голосами, что-то друг дружке рассказывают.

Штаб в школе. Начдив у священника.

Лашков. 10.8.20

Отдых продолжается. Разведка на Радзихов, Соколовку, Стоянов, все к Львову. Получено известие, что взят Александровск, в международном положении гигантские осложнения, неужели будем воевать со всем светом?

Пожар в селе. Горит клуня священника. Две лошади, бившиеся что есть мочи, сгорели. Лошадь из огня не выведешь. Две коровы удрали, у одной потрескалась кожа, из трещин — кровь, трогательно и жалко.

Дым обволакивает все село, яркое пламя, черные пухлые клубы дыма, масса дерева, жарко лицу, все вещи из поповского дома, из церкви выбрасывают в палисаднике. Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман.

Наши казаки, тяжкое зрелище, тащат с заднего крыльца, глаза горят, у всех неловкость, стеснение, неискоренима эта так называемая привычка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи, иконы вынесены, странные раскрашенные бело-розовые, бело-голубые фигурки, уродливые, плосколицые, китайские или буддийские, масса бумажных цветов, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегает босичком, каждый садится у своей хаты с ведром. Они апатичны, прибиты, нечувствительны — необычайно, они бросились бы даже тушить. С воровством удалось совладать — солдаты, как хищные, затрудненные звери, ходят вокруг батюшкиных чемоданов, говорят, там золото, у попа можно взять, портрет графа Андрея Шептицкого, митрополита Галицкого. Мужественный магнат с черным перстнем на большой и породистой руке. У старого священника, 35 лет прослужившего в Лашкове, трепещет все время нижняя губа, он рассказывает мне о Шептицком, тот не «выхован» в польском духе, из русинских вельмож, «граф на шептицах», потом ушли к полякам, брат — главнокомандующий польскими войсками, Андрей вернулся к русинам. Своя давняя культура, тихая и прочная. Хороший интеллигентный батюшка, припасший мучку, курицу, хочет поговорить об университетах, о русинах, несчастный, у него живет Апанасенко в красном казакине.

Ночью — необыкновенное зрелище, ярко догорает шоссе, моя

комната освещена, я работаю, горит лампочка, покой, душевно поют кубанцы, их тонкие фигуры у костров, песни совсем украинские, лошади ложатся спать. Иду к начдиву. Мне о нем рассказывает Винокуров — партизан, атаман, бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание, идеал — Думенко, сочащаяся рана, надо подчиняться организации, смертельная ненависть к аристократии, попам и, главное, к интеллигенции, которую он в армии не переваривает. Институт он кончит — Апанасенко, чем не времена Богдана Хмельницкого?

Глубокая ночь. 4 часа.

Лашков. 11.8.20.

День работы, сиденье в штабе, пишу до усталости, день покоя. К вечеру дождь. У меня в комнате ночуют кубанцы, странно — смирные и воинственные, домовитые и немолодые крестьяне ясного украинского происхождения.

О кубанцах. Содружество, всегда своей компанией, под окном ночью и днем фыркают кони, великолепный запах навоза, солнца, спящих казаков, два раза в день варят огромные ведра похлебки и мясо. Ночью кубанцы в гостях. Беспрерывный дождь, они сушатся и ужинают у меня в комнате. Религиозный кубанец в мягкой шляпе, бледное лицо, светлые усы. Они истовы, дружественны, дики, но как-то более привлекательны, домовиты, меньше ругатели, спокойнее, чем донцы и ставропольцы.

Сестра приехала, как все ясно, это надо описать, она стерта, хочет уезжать, там все были — комендант, эти по крайней мере говорят, Яковлев, и ужас, Гусев. Она жалка, хочет уходить, грустна, говорит непонятно, хочет о чем-то со мною поговорить и смотрит на меня доверчивыми глазами, мол, я друг, а остальные, остальные слезни. Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали некрасивым. Она наивна, глупа, восприимчива даже к революционной фразе, и чудачка, много говорит о революции, служила в Культпросвете ЧК, сколько мужские влияния.

Интервью с Апанасенко. Это очень интересно. Это надо запомнить. Его тупое, страшное лицо, крепкая сбитая фигура, как у Уточкина.

Его ординарцы: (Левка), статные золотистые кони, прихлебатели, экипажи, приемыш Володя — маленький казак со старческим лицом, ругается, как большой.

Апанасенко — жаден к славе, вот он — новый класс. Несмотря на все оперативные дела — отрывается и каждый раз возвращается снова, организатор отрядов, просто против

офицерства, 4 Георгия, службист, унтер-офицер, прапорщик при Керенском, председатель полкового комитета, срывал погоны у офицеров, длинные месяцы в астраханских степях, непререкаемый авторитет, профессионал военный.

Об атаманах, их там много было, доставали пулеметы, дрались со Шкуро и Мамонтовым, влились в Красную Армию, героическая эпопея. Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять… Ненависть. Апанасенки к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть.

Ночь с кубанцами, дождь, душно, какая-то странная чесотка у меня.

Лашков. 12.8.20

Четвертый день в Лашкове. Необычайно забитая галицийская деревня. Жили лучше русских, хорошие дома, много добропорядочности, уважение к священникам, честны, но обескровлены, сваренный ребенок у моих хозяев, как он родился и зачем он родился, в матери ни кровинки, где-то что-то беспрерывно скрывают, где-то хрюкают свиньи, где-то, вероятно, спрятано сукно.

Свободный день, хорошее дело — корреспондентство, ежели его не запускать.

Надо писать в газету и жизнеописание Апанасенки.

Дивизия отдыхает — какая-то тишина на сердце и люди лучше — песни, костры, огонь в ночи, шутки, счастливые, апатичные кони, кто-то читает газету, походка вразвалку, куют лошадей. Как все это выглядит. Уезжает в отпуск Соколов, даю ему письмо домой.

Пишу — все о трубках, о давно забытых вещах, Бог с ней, с революцией, туда и надо устремиться.

Не забыть бы священника в Пашкове, плохо бритый, добрый, образованный, может быть корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка, дом его, хорошо жил, смешливые гравюрки.

Трения военкома с начдивом, тот встал и вышел с Книгой в то время, когда Яковлев, начподив, делал доклад, Апанасенко пришел к военкому.

Винокуров — типичный военком, гнет свою линию, хочет исправлять 6-ую дивизию, борьба с партизанщиной, тяжелодум, морит меня речами, иногда груб, всем на «ты».

Нивица. 13.8.20

Ночью приказ — двигаться на Буск — 35 верст восточнее Львова.

Утром выступаем. Все три бригады сосредоточены в одном месте. Я на Мишиной лошади, научилась бежать, но шагом не идет, трусит ужасно. Целый день на коне с начдивом. Хутор Порады. В лесу 4 неприятельских аэроплана, пальба залпами. Три комбрига — Колесников, Корочаев, Книга. Василий Иванович хитрит, пошел на Топоров в обход (Чаныз), нигде не встретил неприятеля. Мы на хуторе Порады, разбитые хаты, извлекаю из люка старуху, голубцы. Вместе с наблюдателем на батарее. Наша атака у леска.

Беда — болото, каналы, негде развернуться кавалерии, атаки в пешем строю, вялость, падает ли мораль? Упорный бой и все же легкий (по сравнению с империалистической бойней) под Топоровом, берут с трех сторон, не могут взять, ураганный огонь (?) нашей артиллерии из двух батарей.

Ночь. Все атаки не удались. На ночь — штаб переезжает в Нивицу. Густой туман, пронзительный холод, лошадь, дорога лесами, костры и свечи, сестры на тачанках, тяжелый путь после дня тревог и конечной неудачи.

Целый день по полям и лесам. Интереснее всех — начдив, усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность, если бы он там был, все было бы хорошо.

Что запомнилось? Езда ночью, визг баб в Порадах, когда у них начали (прервал писанье, в 100 шагах разорвались две бомбы, брошенные с аэроплана. Мы у опушки леса с запада ст. Майданы) брать белье, наша атака, что-то невидное, нестрашное издали, какие цепочки, всадники ездят по лугу, издалека все это совершается неизвестно для чего, все это не страшно.

Когда вплотную подошли к местечку, началась горячка, момент атаки, момент, когда берут город, тревожная, лихорадочная, возрастающая, доводящая до отчаяния безнадежности трескотня пулеметов, беспрерывные разрывы и над всем этим — тишина сверху и ничего не видно.

Работа штаба Апанасенко — каждый час донесения Командарму, выслуживается.

Озябшие, усталые приехали в Нивицу. Теплая кухня. Школа.

Пленительная жена учителя, националистка, какое-то внутреннее веселье в ней, расспрашивает, варит нам чай, защищает свою мову, ваша мова хорошая и наша мова, и все смех в глазах. И это в Галиции, хорошо, давно я этого не слышал. Сплю

в классе, на соломе рядом с Винокуровым.

Насморк.

14.8.20

Центр операций — взятие Буска и переправа через Буг. Целый день атака на Топоров, нет, отставили. Опять нерешительный день. Опушка леса у ст. Майданы. Противником взят Лопатин.

К вечеру выбили. Снова Нивица. Ночевка у старухи, двор вместе со штабом.

15.8.20

Утром в Топорове. Бои у Буска. Штаб в Буске. Форсировать Буг. Пожар на той стороне. Буденный в Буске. Ночевка в Яблоновке с Винокуровым.

16.8.20

К Ракобутам, бригада переправилась.

Еду опрашивать пленных.

Снова в Яблоновке. Выступаем на Н. Милатин, ст. Милатин, паника, ночевка в странноприимнице.

17.8.20

Бои у железной дороги, у Лисок. Рубка пленных. Ночевка в Задвурдзе.

18.8.20

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буксу, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там

надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах, [нрзб], ему подпевает Суслов, всякие Левки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5–6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказывает, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — и главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает о ней, ее ботиночки, переднички, она оделяет, книжки Бебеля.

Женщина и социализм.

О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б…, но товарищи, и б… потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащат сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, сто верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, беспрерывно матом, ко всему придирается, что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай монатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-я бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы мчимся на рысях. Страшное, жуткое

местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же [нрзб] остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, короткие карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуйте, сыны революции, Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы, комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала, мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое ощущение боя, надо пробегать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности. Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут, ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-я бригада нашла брод и переправилась через Буг у Поборжаны. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он, Буг, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстоморденький тычет мне документы. Счастливцы — думаю я — как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке,

рвутся постромки, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая ничем не возмутимая тишина, свет, покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку, чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка, фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец. Нижний Новгород, заведующий химотделом, Красная Армия, деникинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире — это незабываемо — он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка, приседает, спрашивает — хороший ли начальник, лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают, и как это хорошо, плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское, обозы в три ряда, я в Милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть папильотки, в этом грохочущем, воюющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в новый Милатин.

Н. Милатин. С военкомом в странноприимнице, какое-то подворье, сараи, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно,

грязно, мириады мух, усталость ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу (все это происходит 17/VIII), железную дорогу Броды — Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрит, приезжает, забросает словами, тычут пальцами в бугры — по-над лесом, по-над лощиной, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово ругающийся Апанасенко, комбриг — уничтожить эту сволочь в… бандяги.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, «мекая», ну да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же — командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом, бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру зарезать, поляков зарезать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, беспрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа

батарей, опушки, лощины, пулеметы косят, поляки, главным образом, защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, беспрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, беспрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей, мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бои за Баршовице. После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет, бригады действуют всем, хотя имеют дело с отступающими, и бригады вытягиваются нескончаемыми лентами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует, хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко, взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдзе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движение на Остров, 6-я кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут, приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас сгоняет с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спеши тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычай мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, испоганенный сад, здесь стоял штаб Буденного и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои.

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенький человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение запфронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-я армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстый переход из Баршовице в Адамы будет мне памятен всю жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль, пыль из Апокалипсиса, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака пыли, от которых нет спасения, страшно задыхаешься, кругом грай, движение, уезжаю с эскадроном по полям, теряем Шеко, начинается самое страшное, езда на моем непоспевающем коньке, бесконечно едем и все рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия, оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км.

Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрышки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь сено есть и ложусь спать.

Адамы. 21.8.20

Испуганные русины. Солнце. Хорошо. Я болен. Отдых. Днем все в клуне, сплю, к вечеру лучше, ломит голова, болит. Я у Шеко живу. Холуй наштадива, Егор. Едим хорошо. Как мы добываем пищу. Воробьев принял 2-й эскадрон. Солдаты довольны. В Польше, куда мы идем — можно не стесняться, с галичанами, ни в чем не повинными, надо было осторожнее, отдыхаю, не сижу на седле.

Разговор с комартдивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы.

Это просто средство, которым не брезгует партия.

Два одессита — Мануйлов и Богуславский, опрвоенком авиации, Париж, Лондон, красивый еврей, болтун, статья в европейском журнале, помнаштадив, евреи в Конармии, я ввожу их в корень. Одет во френч — излишки одесской буржуазии, тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме.

Прихлебательствую.

Апанасенко написал письмо польским офицерам, Бандяги, прекратите войну, сдайтесь, а то всех порубим, паны. Письмо Апанасенки на Дон, Ставрополь, там чинят затруднения бойцам, сыны революции, мы герои, мы неустрашимые, идем вперед.

Описание отдыха эскадрона, визг свиней, тащат курей, агенты, туши на площади. Стирают белье, молотят овес, скачут со снопами, лошади, помахивая ушами, жрут овес. Лошадь это все. Имена: Степан, Миша, братишка, старуха. Лошадь — спаситель, это чувствует каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошадью никто не ухаживает. Слабо ухаживают.

Адамы. 22.8.20

У Мануйлова — помнаштадив — болит живот. Конечно. Служил у Муравьева, чрезвычайка, что-то военно-следственное, буржуй, женщины, Париж, авиация, что-то с репутацией, и он коммунист. Секретарь Богуславский — испуганно молчит и ест.

Спокойный день. Движение дальше на север.

Живу с Шеко. Ничего не могу делать. Устал, разбит. Сплю и ем. Как мы едим. Система. Каптеры, фуражиры, ничего не дают. Прибытие красноармейцев в деревню, обшаривают, варят, всю ночь трещат печи, страдают хозяйские дочки, визг свиней, к военкому с квитанциями. Жалкие галичане.

Эпопея — как мы едим. Хорошо — свиньи, куры, гуси. «Барахольщики», «молошники» те, которые отстают.

Витков. 23–24.8.20

Переезд в Витков на подводе. Институт обывательских подвод, несчастные обыватели, их мотают по две-три недели, отпускают, дают пропуск, другие солдаты перехватывают, снова мотают. Случай — при нас приехал мальчик из обоза. Ночь. Радость матери.

Идем в район Красностав — Люблин. Взяли армию, находившуюся в 4-х верстах от Львова. Кавалерия не могла взять.

Дорога в Витков. Солнце. Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади, разрушенная Галиция, евреи в местечках, уцелевшая ферма где-нибудь, чешская предположим, налет на неспелые яблоки, на пасеки.

О пасеках подробно в другой раз.

В дороге, на телеге, думаю, тоскую о судьбах революции.

Местечко особенное, построенное после разрушения по одному плану, белые домики, деревянные высокие крыши, тоска.

Живем с помнаштадивами, Мануйлов ничего не понимает в штабном деле, муки с лошадьми, никто не дает, едет на обывательских подводах, у Богуславского сиреневые кальсоны, в Одессе успех у девочек.

Солдаты просят спектакля. Их кормят — «Денщик подвел».

Ночь наштадива — где 33-й полк, где пошла 2-я бригада, телефон, армприказ комбригу 1, 2, 3!

Дежурные ординарцы. Устройство эскадронов, командиры эскадронов — Матусевич и бывший комендант Воробьев, неизменно веселый и, кажется, глупый человек.

Ночь наштадива — Вас просят к начдиву.

Сокаль. 25.8.20

Наконец город. Проезжаем местечко Тартакув, евреи, развалины, чистота еврейского типа, раса, лавчонки.

Я все еще болен, не могу опомниться от Львовских боев. Какой спертый воздух в этих местечках. В Сокале была пехота, город нетронут, наштадив у евреев. Книги, я увидел книги. Я у галичанки, богатой к тому же, едим здорово, курицу в сметане.

Еду на лошади в центр города, чисто, красивые здания, все загажено войной, остатки чистоты и своеобразия.

Революционный комитет. Реквизиции и конфискации. Любопытно: крестьянство не трогают совершенно. Все земли в его распоряжении. Крестьянство в стороне.

Объявления революционного комитета.

Сын хозяина — сионист и ein angesprochener nationalist. Обычная еврейская жизнь. Они тяготеют к Вене, к Берлину, племянник, молодой юноша, занимается философией и хочет поступить в университет. Едим масло и шоколад. Конфеты.

У Мануйлова трения с наштадивом. Шеко посылает его к…

У меня самолюбие, ему не дают спать, нет лошади, вот тебе Конармия, здесь не отдохнешь. Книги — polnische, juden.

Вечером — начдив в новой куртке, упитанный, в разноцветных штанах, красный и тупой, развлекается — музыка ночью, дождь разогнал. Идет дождь, мучительный галицийский дождь, сыплет и сыплет, бесконечно, безнадежно.

Что делают в городе наши солдаты? Темные слухи.

Богуславский изменил Мануйлову. Богуславский раб.

Сокаль. 26.8.20

Осмотр города с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет тому назад, бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет тому назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Белзского раввина, знаменитый Белзский раввин, удравший в Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики, Белзская синагога — видение старины. Евреи просят воздействовать, чтобы их не разоряли, забирают пищу и товары.

Жиды все прячут. Сапожник, сокальский сапожник, пролетарий. Фигура подмастерья, рыжий хасид-сапожник.

Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и грабителей, и не будет заработку, он потрясен и смотрит недоверчиво. Неразбериха с деньгами. Собственно говоря, мы

ничего не платим, 15–20 рублей. Еврейский квартал. Неописуемая бедность, грязь, замкнутость гетто.

Лавчонки, все открыты, мел и смола, солдаты рыщут, ругают жидов, шляются без толку, заходят в квартиры, залезают под стойки, жадные глаза, дрожащие руки, необыкновенная армия.

Организованное ограбление писчебумажной лавки, хозяин в слезах, все рвут, какие-то требования, дочка с западноевропейской выдержкой, но жалкая и красная, отпускает, получает какие-то деньги и магазинной своей вежливостью хочет доказать, что все идет как следует, только слишком много покупателей. Хозяйка от отчаяния ничего не соображает.

Ночью будет грабеж города — это все знают.

Вечером музыка — начдив развлекается. Утром он писал письма на Дон и Ставрополь. Фронту невмоготу выносить безобразия тыла. Вот пристал!

Холуи начдива водят взад и вперед статных коней с нагрудниками и нахвостниками.

Военком и сестра. Русский человек — хитрый мужичок, грубый, иногда наглый и путаный. Он о сестре высокого мнения, выщупывает меня, выспрашивает, он влюблен.

Сестра идет прощаться к начдиву, это после всего, что было. С ней спали все. Хам Суслов в смежной комнате — начдив занят, чистит револьвер.

Получаю сапоги и белье. Сухоруков получал, сам распределял, это обер-холуй, описать.

Разговор с племянником, который хочет в университет.

Сокаль — маклера и ремесленники, коммунизм, говорят мне, вряд ли здесь привьется.

Какие раздерганные, замученные люди.

Несчастная Галиция, несчастные евреи.

У моего хозяина — 8 голубей.

У Мануйлова острый конфликт с Шеко, у него в прошлом много грехов. Киевский авантюрист. Приехал разжалованный из наштабригов 3.

Лепин. Темная, страшная душа.

Сестра — 26 и 1.

27.8.20

Бои у Знятыня, Длужнова. Едем на северо-запад. Полдня в обозе. Движение на Лашов, Комаров. Утром выехали из Сокаля. Обычный день — с эскадронами, начдивом мотаемся по лесам и полянам, приезжают комбриги, солнце, 5 часов не слезал с

лошади, проходят бригады. Обозная паника. Оставил обозы у опушки леса, поехал к начдиву. Эскадроны на горе. Донесения командарму, канонада, аэропланов нет, переезжаем с места на место, обычный день. К ночи тяжкая усталость, ночуем в Василове. Назначенного пункта — Лашова не достигли.

В Василове или поблизости 11-я дивизия, столпотворение, Бахтуров — малюсенькая дивизия, он несколько поблек, 4-я дивизия ведет успешные бои.

Комаров. 28.8.20

Из Василова выехал на 10 минут позже эскадронов. Еду с тремя всадниками. Бугры, поляны, разрушенные экономии, где-то в зелени красные колонны, сливы. Стрельба, не знаем, где противник, вокруг нас никого, пулеметы стучат совсем близко и с разных сторон, сердце сжимается, вот так каждый день отдельные всадники ищут штабы, возят донесения. К полудню нашел в опустошенной деревне, где в льохи спрятались все жители, под деревьями, покрытыми сливами. Еду с эскадроном. Вступаем с начдивом, красный башлык, в Комаров. Недостроенный великолепный красный костел. До того, как вступили в Комаров, после стрельбы — ехал один — тишина, тепло, ясный день, какое-то странное прозрачное спокойствие, душа побаливает, один, никто не надоедает, поля, леса, волнистые долины, тенистые дороги.

Стоим против костела.

Приезд Ворошилова и Буденного. Ворошилов разносит при всех, недостаток энергии, горячится, горячий человек, бродило всей армии, ездит и кричит, Буденный молчит, улыбается, белые зубы. Апанасенко защищается, зайдем в квартиру, почему кричит, выпускаем противника, нет соприкосновения, нет удара.

Апанасенко не годится?

Аптекарь, предлагающий комнату. Слух об ужасах. Иду в местечко. Невыразимый страх и отчаяние.

Мне рассказывают. Скрытно в хате, боятся, чтобы не вернулись поляки. Здесь вчера были казаки есаула Яковлева. Погром. Семья Давида Зиса, в квартирах, голый, едва дышащий старик-пророк, зарубленная старуха, ребенок с отрубленными пальцами, многие еще дышат, смрадный запах крови, все перевернуто, хаос, мать над зарубленным сыном, старуха, свернувшаяся калачиком, 4 человека в одной хижине, грязь, кровь под черной бородой, так в крови и лежат. Евреи на площади, измученный еврей, показывающий мне все, его сменяет высокий

еврей. Раввин спрятался, у него все разворочено, до вечера не вылез из норы. Убито человек 15 — Хусид Ицка Галер — 70 лет, Давид Зис — прислужник в синагоге — 45 лет, жена и дочь — 15 лет, Давид Трост, жена — резник.

У изнасилованной.

Вечером — у хозяев, казенный дом, суббота вечером, не хотели варить до тех пор, пока не прошла суббота.

Ищу сестер, Суслов смеется. Еврейка докторша.

Мы в странном старинном доме, когда-то здесь все было — масло, молоко.

Ночью — обход местечка.

Луна, за дверьми, их жизнь ночью. Вой за стенами. Будут убирать. Испуг и ужас населения. Главное — наши ходят равнодушно и пограбливают где можно, сдирают с изрубленных.

Ненависть одинаковая, казаки те же, жестокость та же, армии разные, какая ерунда. Жизнь местечек. Спасения нет. Все губят — поляки не давали приюту. Все девушки и женщины едва ходят. Вечером — словоохотливый еврей с бороденкой, имел лавку, дочь бросилась от казака со второго этажа, переломала себе руки, таких много.

Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была. Судьба еврейства. У нас вечером, ужин, чай, я сижу и пью, слова еврея с бороденкой, тоскливо спрашивающего — можно ли будет торговать.

Тяжкая беспокойная ночь.

Комаров, Лабуне, Пневск. 29.8.20

Выезд из Комарова. Ночью наши грабили, в синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешки для седел. Ординарец военкома рассматривает тефилии, хочет забрать ремешки. Евреи угодливо улыбаются. Это — религия.

Все с жадностью смотрят на недобранное, ворошат кости и развалины. Они пришли для того, чтобы заработать.

Захромала моя лошадь, беру лошадь наштадива, хочу поменять, я слишком мягок, разговор с солтысом, ничего не выходит.

Лабуне. Водочный завод. 8 тысяч ведер спирта. Охрана. Идет дождь пронизывающий, беспрерывный. Осень, все к осени. Польская семья управляющего. Лошади под навесом, красноармейцы, несмотря на запрет, пьют. Лабуне — грозная опасность для армии.

Все таинственно и просто. Люди молчат и ничего не заметно

как будто. О, русский человек. Все дышит тайной и грозой. Смирившийся Сидоренко.

Операция на Замостье. Мы в 10 верстах от Замостье. Там спрошу об Р. Ю.

Операция, как всегда, несложна, обойти с запада и с севера и взять. Тревожные новости с запфронта. Поляки взяли Белосток.

Дальше едем. Разграбленное поместье Кулатковского у Лабуньки. Белые колонны. Пленительное, хоть и барское устройство. Разрушение невообразимое. Настоящая Польша — управляющие, старухи, белокурые дети, богатые, полуевропейские деревни с солтысом, войтом, все католики, красивые женщины. В имении тащат овес. Кони в гостиной, вороные кони. Что же — спрятать от дождя. Драгоценнейшие книги в сундуке, не успели вывезти — конституция, утвержденная сеймом в начале 18-го века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты 16-го века, записки монахов, старинные французские романы.

Наверху не разрушение, а обыск, все стулья, стены, диваны распороты, пол вывернут, не разрушали, а искали. Тонкий хрусталь, спальня, дубовые кровати, пудреница, французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?

Отстоявшаяся жизнь, гимнастические принадлежности, хорошие книги, столы, банки с лекарствами — все исковеркано святотатственно. Невыносимое чувство, бежать от вандалов, а они ходят, ищут, передать их поступь, лица, шляпы, ругань — гад, в Бога мать, Спаса мать, по непролазной грязи тащат снопы с овсом.

Подходим к Замостью. Страшный день. Дождь-победитель не затихает ни на минуту. Лошади едва вытягивают. Описать этот непереносимый дождь. Мотаемся до глубокой ночи. Промокли до нитки, устали, красный башлык Апанасенки. Обходим Замостье, части в 3–4 верстах от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем. Мы сидим на полях, ждем донесений, несутся мутные потоки. Комбриг Книга в хижине, донесение. Отец командир. Ничего не можем сделать с бронепоездами. Выяснилось, что мы не знали, что здесь есть железная дорога, на карте не отмечена, конфуз, вот наша разведка.

Мотаемся, все ждем, что возьмут Замостье. Черта с два. Поляки дерутся все лучше. Лошади и люди дрожат. Ночуем в Пневске. Польская ладная крестьянская семья. Разница между русскими и поляками разительна. Поляки живут чище, веселее,

играют с детьми, красивые иконы, красивые женщины.

30.8.20

Утром выезжаем из Пневска. Операция на Замостье продолжается. Погода по-прежнему ужасная, дождь, слякоть, дороги непроходимы, почти не спали, на полу, на соломе, в сапогах, будь готов.

Опять мотня. Едем с Шеко к 3-й бригаде. Он с револьвером в руках идет в наступление на станцию Завады. Сидим с Лепиным в лесу. Лепин корчится. Бой у станции. У Шеко обреченное лицо. Описать «частую перестрелку». Взяли станцию. Едем к полотну железной дороги. 10 пленных, одного не успеваем спасти. Револьверная рана? Офицер. Кровь идет изо рта. Густая красная кровь в комьях, заливает все лицо, оно ужасное, красное, покрыто густым слоем крови. Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. «Их было девять». Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное, офицер, надоедает всем, не может идти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязаной фуфайке, держит себя с достоинством, все допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий, рубать их всех надо гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время, потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду.

Едем к начдиву, он при 1 и 2-й бригадах. Все время находимся в виду Замостья, видны его трубы; дома, пытаемся взять его со всех сторон. Подготовляется ночная атака. Мы в 3-х верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать. Поле, ночь, дождь, пронизывающий холод, лежим на мокрой земле, лошадям нечего дать, темно, едут с донесениями. Наступление будут вести 1 и 3-я бригады. Обычный приезд Книги и Левды, комбрига 3, малограмотного хохла. Усталость, апатия, неистребимая жажда сна, почти отчаяние. В темноте идет цепь, спешена целая бригада. Возле нас пушка. Через час — пошла потеха. Наша пушка стреляет беспрерывно, мягкий, лопающийся звук, огни в ночи, поляки пускают ракеты, ожесточенная стрельба, ружейная и пулеметная, ад, мы ждем, 3 часа ночи. Бой

затихает. Ничего не вышло. Все чаще и чаще у нас ничего не выходит. Что это? Армия поддается?

Едем на ночлег верст за 10 в Ситанец. Дождь усиливается. Усталость непередаваемая. Одна мечта — квартира. Мечта осуществляется. Старый растерянный поляк со старухой. Солдаты, конечно, растаскивают его. Испуг чрезвычайный, все сидели в погребах. Масса молока, масла, лапша, блаженство. Я каждый раз вытаскиваю новую пищу. Замученная хорошая старушка. Восхитительное топленое масло. Вдруг обстрел, пули свистят у конюшен, у ног лошадей. Снимаемся. Отчаяние. Едем в другую окраину села. Три часа сна, прерываемого донесениями, расспросами, тревогой.

Чесники. 31.8.20

Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шинелями и идут в наступление на улей, вакханалия, тащат рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками. Черкашин. В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это.

Армприказ оставить Замостье, идти на выручку 14-й дивизии, теснимой со стороны Комарова. Местечко снова занято поляками. Несчастный Комаров. Езда по флангам и бригадам. Перед нами неприятельская кавалерия — раздолье, кого же рубить, как не их, казаки есаула Яковлева. Предстоит атака. Бригады накапливаются в лесу — версты 2 от Чесники.

Ворошилов и Буденный все время с нами. Ворошилов, коротенький, седеющий, в красных штанах с серебряными лампасами, все время торопит, нервирует, подгоняет Апанасенку, почему не подходит 2-я бригада. Ждем подхода 2-й бригады. Время тянется мучительно долго. Не торопить меня, товарищ Ворошилов. Ворошилов — все погибло к е. м.

Буденный молчит, иногда улыбается, показывая ослепительные белые зубы. Надо сначала пустить бригаду, потом полк. Ворошилову не терпится, он пускает в атаку всех, кто есть под рукой. Полк проходит перед Ворошиловым и Буденным. Ворошилов вытянул огромный револьвер, не давать панам пощады, возглас принимается с удовольствием. Полк вылетает

нестройно, ура, даешь, один скачет, другой задерживает, третий рысью, кони не идут, котелки и ковры. Наш эскадрон идет в атаку. Скачем версты четыре. Они колоннами ждут нас на холме. Чудо — никто не пошевелился. Выдержка, дисциплина. Офицер с черной бородой. Я под пулями. Мои ощущения. Бегство. Военкомы заворачивают. Ничего не помогает. К счастью, они не преследуют, иначе была бы катастрофа. Стараются собрать бригаду для второй атаки, ничего не получается. Мануйлову угрожают наганами. Героини сестры.

Едем обратно. Лошадь Шеко ранена, он контужен, страшное окаменевшее его лицо. Он ничего не разбирает, плачет, мы ведем лошадь. Она истекает кровью.

Рассказ сестры — есть сестры, которые только симпатию устраивают, мы помогаем бойцу, все тяготы с ним, стреляла бы в таких, да чем стрелять будешь, х…м, да и того нет.

Комсостав подавлен, грозные призраки разложения армии. Веселый дураковатый Воробьев, рассказывает о своих подвигах, подскочил, 4 выстрела в упор. Апанасенко неожиданно оборачивается, ты сорвал атаку, мерзавец.

Апанасенко мрачен, Шеко жалок.

Разговоры о том, что армия не та, пора на отдых. Что дальше. Ночуем в Чесники — смерзли, устали, молчим, непролазная, засасывающая грязь, осень, дороги разбиты, тоска. Впереди мрачные перспективы.

Теребин. 1.9.20

Выступаем из Чесники ночью. Постояли часа два. Ночь, холод, на конях. Трясемся. Армприказ — отступать, мы окружены, потеряли связь с 12-й армией, связи ни с кем. Шеко плачет, голова трясется, лицо обиженного ребенка, жалкий, разбитый. Люди — хамы. Ему Винокуров не дал прочитать армприказа — он не у дел. Апанасенко с неохотой дает экипаж, я им не извозчик.

Бесконечные разговоры о вчерашней атаке, вранье, искреннее сожаление, бойцы молчат. Дурак Воробьев звонит. Его оборвал начдив.

Начало конца 1-й Конной. Толки об отступлении.

Шеко — человек в несчастьи.

У Мануйлова — 40, лихорадка, его все ненавидят, Шеко преследует, почему? Не умеет себя держать. Хитрый, вкрадчивый, себе на уме, ординарец Борисов, никто не жалеет — вот где ужас. Еврей?

Армию спасает 4-я дивизия. Вот и предатель — Тимошенко.

Приезжаем в Теребин, полуразрушенная деревня, холод. Осень, сплю днем в клуне, ночью вместе с Шеко.

Разговор с Арзамом Слягит. Рядом на лошадях, Говорили о Тифлисе, фруктах, солнце. Я думаю об Одессе, душа рвется.

Тащим кровоточащего коня Шеко за собой.

Теребин — Метелин. 2.9.20

Жалкие деревни. Неотстроенные хижины. Полуголое население. Мы разоряем радикально. Начдив на позициях. Армприказ — сдерживать противника, стремящегося к Бугу, наступать на Вакиево — Гостиное. Толкаемся, но успехов не удерживаем. Толки об ослаблении боеспособности армии все увеличиваются. Бегство из армии. Массовые рапорты об отпусках, болезнях.

Главная болячка дивизии — отсутствие комсостава, все командиры из бойцов, Апанасенко ненавидит демократов, ничего не смыслят, некому вести полк в атаку.

Эскадронные командуют полками.

Дни апатии, Шеко поправляется, он угнетен. Тяжело жить в атмосфере армии, давшей трещину.

Малице. 3–5.9.20

Передвинулись вперед к Малице.

Новый помнаштадив — Орлов. Гоголевская фигура. Патологический враль, язык без костей, еврейское лицо, главное — ужасная, если в нее вдуматься, легкость разговора, болтовни, вранья, боль (хромает), партизан, махновец, окончил реальное училище, командовал полком. От легкости этой страшно, что там внутри?

Мануйлов наконец, хоть и со скандалом, сбежал, были угрозы арестом, какая бестолковость Шеко, направили его в 1-ую бригаду, идиотство, Штарм направил в авиацию. Аминь.

Живу с Шеко. Туп, добр, если уколоть в нужное место, бездарен, без постоянной воли. Пресмыкательствую, зато ем. Томный полуодессит Богуславский, мечтающий об одесских «девочках», нет, нет, а съездит ночью за армприказом. Богуславский на казачьем седле.

1-ый взвод 1-го эскадрона. Кубанцы. Поют песни. Степенные. Улыбаются. Не шумят.

Левда подал рапорт о болезни. Хитрый хохол. «У меня

ревматизм, не в силах работать». Три рапорта из бригад, сговорились; если не отвести на отдых — дивизия погибнет, нет задора, лошади стали, люди апатичны, 3-я бригада два дня в поле, холод, дождь.

Грустная страна, непролазная грязь, отсутствующие мужики, прячут лошадей в лесах, тихо плачущие бабы.

Рапорт Книги — не имея сил управляться без комсостава…

Все лошади в лесах, красноармейцы меняют, наука, спорт.

Барсуков разлагается. Хочет в учебное заведение.

Идут бои. Наши пытаются наступать на Вакиев — Тонятыги. Ничего не выходит. Странное бессилие.

Поляк медленно, но верно нас отжимает. Начдив не годится, ни инициативы, ни нужного упорства. Его гнойное честолюбие, женолюбие, чревоугодие и, вероятно, лихорадочная деятельность, если это нужно будет.

Образ жизни.

Книга пишет — нет прежнего задора, бойцы ходят вялые.

Все время погода, нагоняющая тоску, дороги разбиты, страшная российская деревенская грязь, не вытащишь сапог, солнца нет, дождь, пасмурно, проклятая страна.

Я болен, ангина, жар, едва передвигаюсь, страшные ночи в задымленных чадных избах на соломе, все тело растерзано, искусано, чешется, в крови, ничего не могу делать.

Операции протекают вяло, период равновесия с начинающимся преобладанием на стороне поляка.

Комсостав пассивен, да его и нет.

Я бегаю к сестре на перевязки, надо идти огородами, непролазная грязь. Сестра живет во взводе. Героиня, хотя и совокупляется. Изба, курят, ругаются, меняют портянки, солдатская жизнь, еще один человек — сестра. Кто брезгает из одной чашки — выбрасывается.

Противник наступает. Мы взяли Лотов, отдаем его, он нас отжимает, ни одно наше наступление не удается, отправляем обозы, я еду в Теребин на подводе Барсукова, дальше — дождь, слякоть, тоска, переезжаем Буг, Будятичи. Итак, решено отдать линию Буга.

Будятичи. 6.9.20

Будятичи занято 44-й дивизией. Столкновения. Они поражены дикой ордой, накинувшейся на них. Орлов — сдаешь, катись.

Сестра гордая, туповатая, красивая сестра плачет, доктор

возмущен тем, что кричат — бей жидов, спасай Россию. Они ошеломлены, начхоза избили нагайкой, лазарет выбрасывают, реквизируют и тянут свиней без всякого учета, а у них есть порядок, всякие уполномоченные с жалобами у Шеко. Вот и буденновцы.

Гордая сестра, каких мы никогда не видели, — в белых башмаках и чулках, стройная полная нога, у них организация, уважение человеческого достоинства, быстрая, тщательная работа.

Живем у евреев.

Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода.

Будятичи. 7.9.20

Мы занимаем две комнаты. Кухня полна евреями. Есть беженцы из Крылова, жалкая кучка людей с лицами пророков. Спят вповалку. Целый день варят и пекут, еврейка работает, как каторжная, шьет, стирает. Тут же молятся. Дети, барышни. Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины.

Едим через каждые два часа.

Часть отведена за Буг, новая фаза операции.

Вот уже две недели как все упорнее и упорнее говорят о том, что армию надо отвести на отдых. На отдых — боевой клич!

Наклевывается командировка — в гостях у начдива — всегда едят, его рассказы о Ставрополе, Суслов толстеет, густо хам посажен.

Ужасная бестактность — представлены к ордену Красного Знамени Шеко, Суслов, Сухоруков.

Противник пытается перейти на нашу сторону Буга, 14-я дивизия, спешившись, отбила его.

Пишу удостоверения.

Оглох на одно ухо. Последствия простуды? Тело расчесано, все в ранах, недомогаю. Осень, дождь, уныло, грязь тяжелая.

Владимир-Волынский. 8.9.20

Утром на обывательской подводе в административный штаб. Аттестат, канитель с деньгами. Полутыловая гнусность — Гусев, Налетов, деньги в Ревтрибунале. Обед у Горбунова.

На тех же клячах в Владимир. Езда тяжелая, грязь непролазная, дороги непроходимы. Приезжаем ночью. Мотня с

квартирой, холодная комната у вдовы. Евреи — лавочники. Папаша и мамаша — старики.

Горе ты, бабушка? Чернобородый, мягкий муж. Рыжая беременная еврейка моет ноги. У девочки понос. Теснота, но электричество, тепло.

Ужин — клецки с подсолнечным маслом — благодать. Вот она — густота еврейская. Думают, что я не понимаю по-еврейски, хитрые, как мухи. Город — нищ. Спим с Бородиным на перине.

Владимир-Волынский. 9.9.20.

Город нищ, грязен, голоден, за деньги ничего не купишь, конфеты по 20 рублей и папиросы. Тоска. Штарм. Уныло. Совет профессиональных союзов, еврейские молодые люди. Хождение по совнархозам и профкомиссиям, тоска, военные требуют, озорничают. Дохлые молодые евреи.

Пышный обед — мясо, каша. Единственная утеха — пища.

Новый военком штаба — обезьянье лицо.

Хозяева хотят выменять мою шаль. Не дамся.

Мой возница — босой с заплывшими глазами. Рассея.

Синагога. Молюсь, голые стены, какой-то солдат забирает электрические лампочки.

Баня. Будь проклята солдатчина, война, скопление молодых, замученных, одичавших, еще здоровых людей.

Внутренняя жизнь моих хозяев, какие-то дела делаются, завтра пятница, уже готовятся, хорошая старуха, старик с хитринкой, притворяются нищими. Говорят — лучше голодать при большевиках, чем есть булку при поляках.

Ковель. 10.9.20

Полдня на разбитом, унылом, ужасном вокзале во Владимире-Волынском. Тоска. Чернобородый еврей работает. В Ковель приезжаем ночью. Неожиданная радость — поезд Поарма. Ужин у Зданевича, масло. Ночую в радиостанции. Ослепительный свет. Чудеса. Хелемская сожительствует. Лимфатические железы. Володя. Она обнажилась. Мое пророчество исполнилось.

Ковель. 11.9.20

Город хранит следы европейско-еврейской культуры.

Советских (денег) не берут, стакан кофе без сахару — 50 рублей, дрянной обедишка на вокзале — 600 рублей.

Солнце, хожу по докторам, лечу ухо, чесотка.

В гости к Яковлеву, тихие домики, луга, еврейские улички, тихая жизнь, ядреная, еврейские девушки, юноши, старики у синагоги, может быть парики, Соввласть как будто не возмутила поверхности, эти кварталы за мостом.

В поезде грязно и голодно. Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга, сидят запершись в своих кабинках, даже повар исхудал. Разительная перемена. Живут в клетке. Хелемская грязная кухарит, контакт с кухней, она кормит Володю, еврейская жена «из хорошего дома».

Целый день ищу пищу.

Район расположения 12-й армии. Пышные учреждения — клубы, граммофоны, сознательные красноармейцы, весело, жизнь кипит ключом, газеты 12-й армии, Армупроста, командарм Кузьмин, пишущий статьи, с виду работа Политотдела поставлена хорошо.

Жизнь евреев, толпы на улице, главная улица Луцкая, хожу с разбитыми ногами, пью неисчислимое количество чаю и кофе. Мороженое — 500 р. Позволяют себе весьма. Суббота, все лавочки закрыты. Лекарство — 5 р.

Кочую в радиостанции. Ослепительный свет, умствующие радиотелеграфисты, один пытается играть на мандолине. Оба читают запоем.

Киверцы. 12.9.20

Утром — паника на вокзале. Артстрельба. Поляки в городе. Невообразимое жалкое бегство, обозы в пять рядов, жалкая, грязная, задыхающаяся пехота, пещерные люди, бегут по лугам, бросают винтовки, ординарец Бородин видит уже рубящих поляков. Поезд отправляется быстро, солдаты и обозы бегут, раненые с искаженными лицами скачут к нам в вагон, политработник, задыхающийся, у которого упали штаны, еврей с тонким просвечивающим лицом, может быть хитрый еврей, вскакивают дезертиры с сломанными руками, больные из санлетучки.

Заведение, которое называется 12-й армией. На одного бойца — 4 тыловика, 2 дамы, 2 сундука с вещами, да и этот единственный боец не дерется. Двенадцатая армия губит фронт и Конармию, открывает наши фланги, заставляет затыкать собой все дыры. У них сдался в плен, открыли фронт, уральский полк

или башкирская бригада. Паника позорная, армия небоеспособна. Типы солдат. Русский красноармеец пехотинец — босой, не только не модернизованный, совсем «убогая Русь», странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые, голодные мужики.

В Голобах выбрасывают всех больных и раненых и дезертиров. Слухи, а потом факты: захвачено, загнанное в Владимир-Волынский тупик, снабжение 1-й Конной, наш штаб перешел в Луцк, захвачено у 12-й армии масса пленных, имущества, армия бежит.

Вечером приезжаем в Киверцы.

Тяжкая жизнь в вагоне. Радиотелеграфисты все покушаются меня выжить, у одного по-прежнему расстроен желудок, он играет на мандолине, другой умничает, потому что он дурак.

Вагонная жизнь, грязная, злобная, голодная, враждебная друг к другу, нездоровая. Курящие и жрущие москвички, без обличья, много жалких людей, кашляющие москвичи, все хотят есть, все злы, у всех животы расстроены.

Киверцы. 13.9.20

Ясное утро, лес. Еврейский Новый год. Голодно. Иду в местечко. Мальчики в белых воротничках. Ишас Хакл угощает меня хлебом с маслом. Она «сама» зарабатывает, бой баба, шелковое платье, в доме прибрано. Я растроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго, муж в Америке, рассудительная и неторопливая еврейка.

Длинная стоянка на станции. Тоска по-прежнему. Берем из клуба книжки, читаем запоем.

Клевань. 14.9.20

Стоим в Клевани сутки, все на станции. Голод, тоска. Не принимает Ровно. Железнодорожный рабочий. Печем у него коржи, карточки. Железнодорожный сторож. Они обедают, говорят ласковые слова, нам ничего не дают. Я с Бородиным, его легкая походка. Целый день добываем пищу, от одной сторожки к другой. Ночевка в радиостанции при ослепительном освещении.

Клевань. 15.9.20

Начинаются третьи сутки нашего томительного стояния в

Клевани, то же хождение за пищей, утром богато пили чай с коржами. Вечером поехал в Ровно на подводе авиации 1-й Конной. Разговор о нашей авиации, ее нет, все аппараты сломаны, летчики не умеют летать, машины старые, латаные, никуда не годные. Больной горлом красноармеец — вот он тип. Едва говорит, там, вероятно, все заложено, воспалено, лезет пальцем соскребывать в глотке пленку, сказали, что помогает соль, сыплет соль, четыре дня не ел, пьет холодную воду, потому что никто не дает горячей. Говорит косноязычно о наступлении, о командире, о том, что они босые, одни идут, другие не идут, манит пальцем.

Ужин у Гасниковой.

Иллюстрации

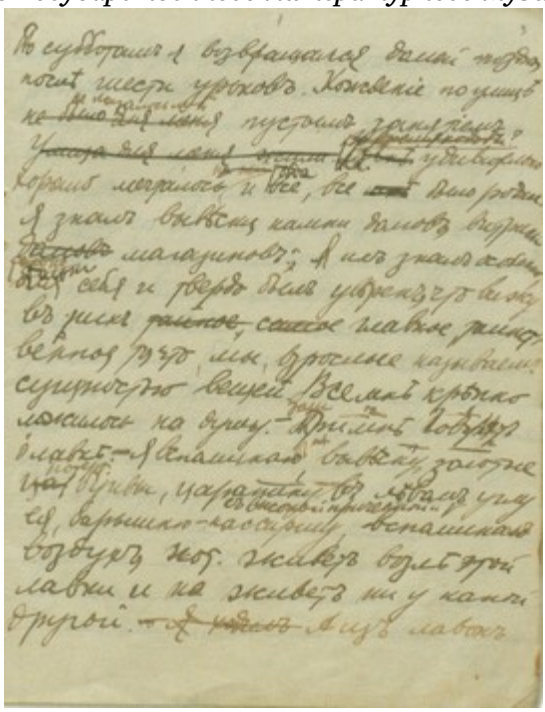
1. Исаак Бабель. Фото Татьяны Тэсс. Москва. 1930
Из фондов Государственного литературного музея

2. Николаев. Базар. Открытка. Начало XX века.

И. Бабель. 1900
Из архива Лидии Исааковны Бабель

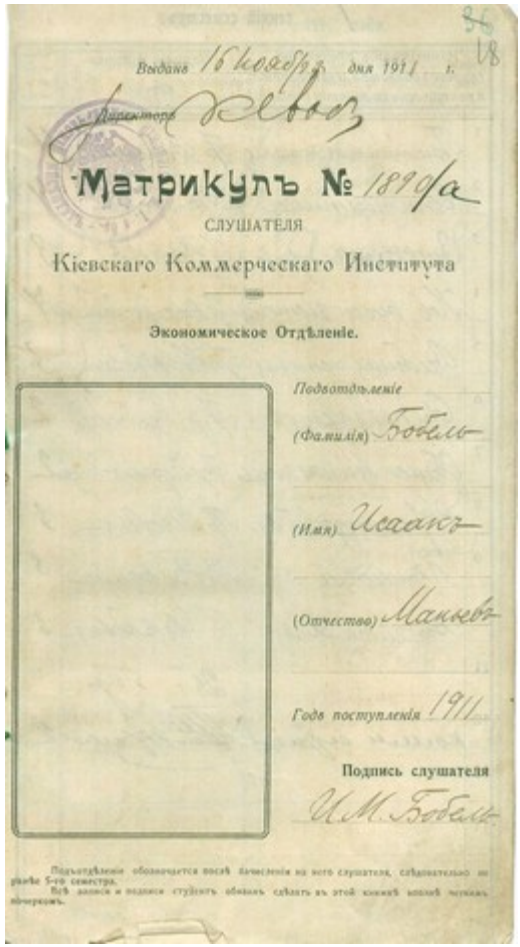
4. И. Бабель с отцом Э. И. Бабелем и сестрой Мери. Одесса. 1911–1912
Из архива Лидии Исааковны Бабель

5. И. Бабель с бабушкой и сестрой. 1910-1911
Из фондов Государственного литературного музея



6. Рукопись рассказа И. Бабеля «Детство. У бабушки». 1915

Из фондов РГАЛИ



Выдан 16 ноября дня 1911 г.

Директоръ

Матрикулъ № 1899/а

СЛУШАТЕЛЯ

Кіевскаго Коммерческаго Института

Экономическое Отдѣленіе.

Подотдѣленіе

(Фамилія) Бобель

(Имя) Исаакъ

(Отчество) Маневъ

Годъ поступленія 1911

Подпись слушателя

И.М. Бобель

Подотдѣленіе обозначается послѣ зачисленія на него слушателя, слѣдовательно по удобно 5-го семестра.

Всѣ записи и подписи студентъ обязанъ сдѣлать въ этой книжкѣ своей черными чернилами.

7. Матрикул слушателя Киевского коммерческого училища И. Бобеля (так до 1917 г. писалась фамилия Бабеля). 16 ноября 1911

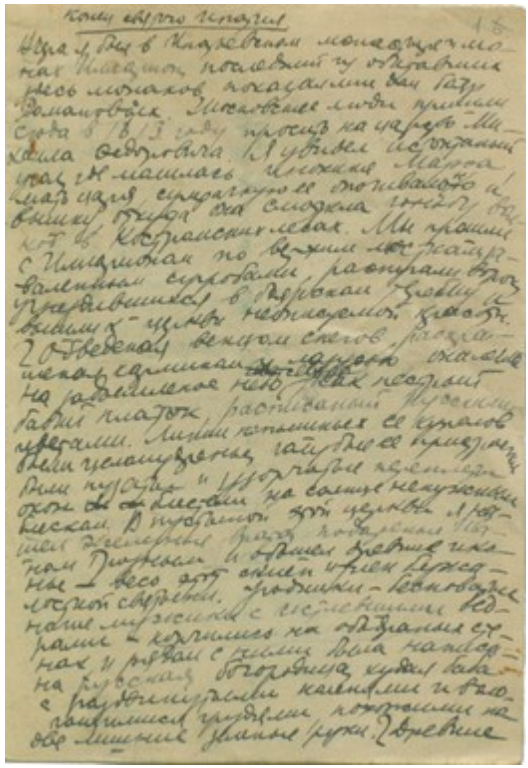
Из фондов Государственного литературного музея

8. Фото И. Бабеля, ученика Киевского коммерческого училища

Из фондов Государственного литературного музея

Балта.
Красиловка
Карловичи.
Нагартовъ.
Кишиневъ.
Гомель.
КЪ ИСТОРІИ ЕВРЕЙСКИХЪ ПОГРОМОВЪ И ПОГРОМНЫХЪ ПРОЦЕССОВЪ ВЪ РОССІИ
Черкассы.
Житомиръ.
Ярцево.
Бѣлостокъ.
Кролевецъ.
Кіевъ.
1881.
1905.
Рѣчи
ПО ПОГРОМНЫМЪ ДѢЛАМЪ
Съ предисловіемъ ПРОФ. И. В. ЛУЧИЦКАГО.
Рѣчи и заявленія прис. пов. П. А. Андреевскаго, М. Е. Бернштама, М. М. Винавера, О. О. Грузенберга, А. С. Зарудняго, С. Е. Кальмановича, Н. П. Карабчевскаго, М. А. Кроля, Л. А. Куперника, А. Д. Марголина, Н. К. Муравьева, М. Б. Ратнера, Г. Б. Слиозберга, князя А. И. Урусова и Л. А. Хоментовскаго.

9. Обложка книги «Речи по погромным делам». Киев. Типография С. Г. Слюсаревского. 1908

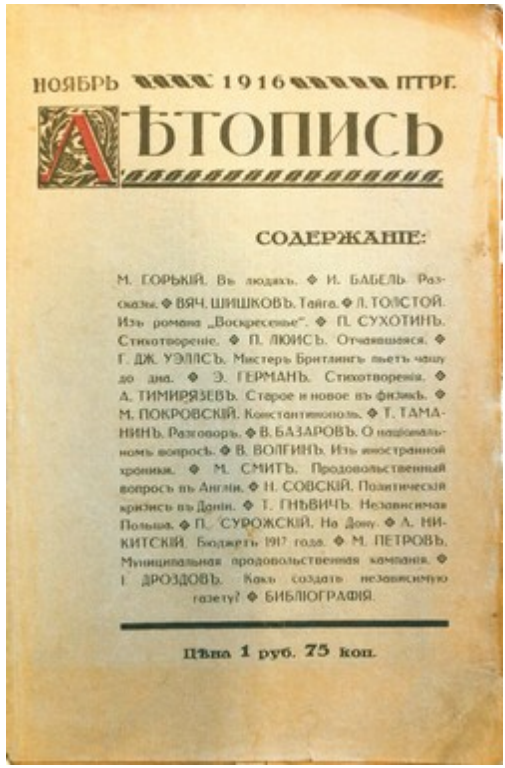


10. Рукопись рассказа «Конец святого Ипатия». 1924
Из фондов Государственного литературного музея

11. Меир Аксельрод.

Иллюстрация к рассказу И. Бабеля «История моей голубятни». Без даты

Из архива Еврейского музея и центра толерантности


НОЯБРЬ 1916 ПТРГ.

ЛѢТОПИСЬ

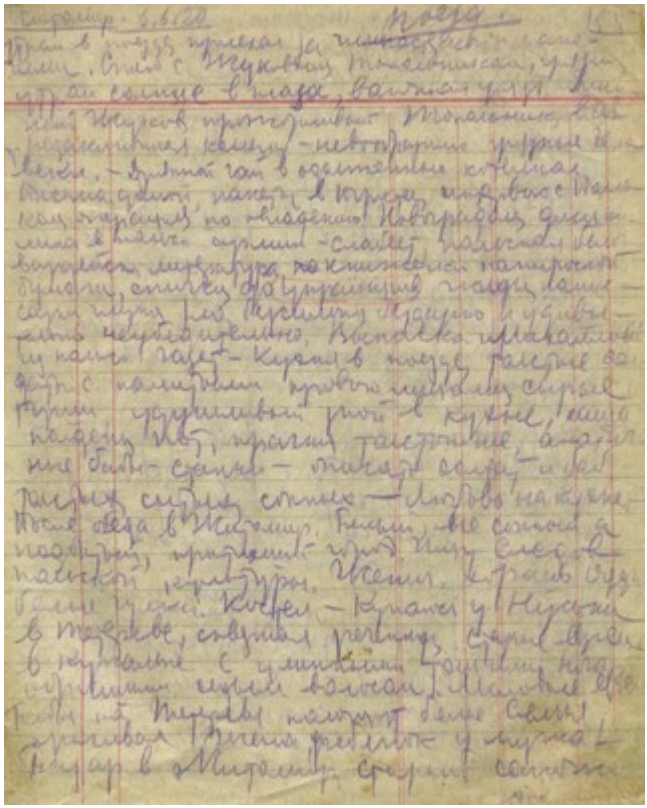
СОДЕРЖАНІЕ:

М. ГОРЬКІЙ. Въ людяхъ. ❖ И. БАБЕЛЬ. Разсказы. ❖ ВЯЧ. ШИШКОВЪ. Тайга. ❖ Л. ТОЛСТОЙ. Изъ романа „Воскресенье". ❖ П. СУХОТИНЪ. Стихотвореніе. ❖ П. ЛЮИСЪ. Отчаявшаяся. ❖ Г. ДЖ. УЭЛЛСЪ. Мистеръ Бритлингъ пьетъ чашу до дна. ❖ Э. ГЕРМАНЪ. Стихотворенія. ❖ А. ТИМИРЯЗЕВЪ. Старое и новое въ физикѣ. ❖ М. ПОКРОВСКІЙ. Константинополь. ❖ Т. ТАМАНИНЪ. Разговоръ. ❖ В. БАЗАРОВЪ. О національномъ вопросѣ. ❖ В. ВОЛГИНЪ. Изъ иностранной хроники. ❖ М. СМИТЪ. Продовольственный вопросъ въ Англіи. ❖ Н. СОВСКІЙ. Политическій кризисъ въ Даніи. ❖ Т. ГНѢВИЧЪ. Независимая Польша. ❖ П. СУРОЖСКІЙ. На Дону. ❖ А. НИКИТСКІЙ. Бюджетъ 1917 года. ❖ М. ПЕТРОВЪ. Муниципальная продовольственная кампанія. ❖ І. ДРОЗДОВЪ. Какъ создать независимую газету? ❖ БИБЛІОГРАФІЯ.

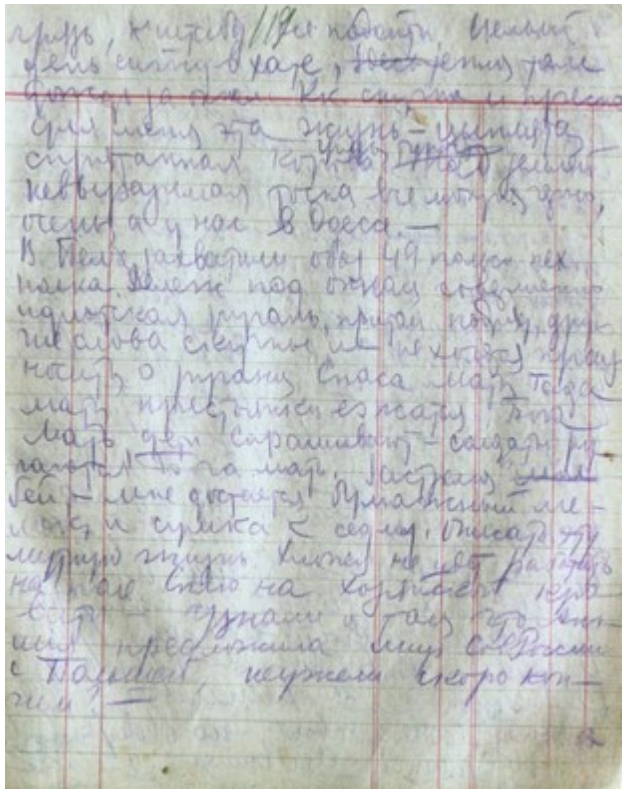
Цѣна 1 руб. 75 коп.

12. Обложка журнала «Летопись» (1916. № 11), в котором были опубликованы рассказы И. Бабеля

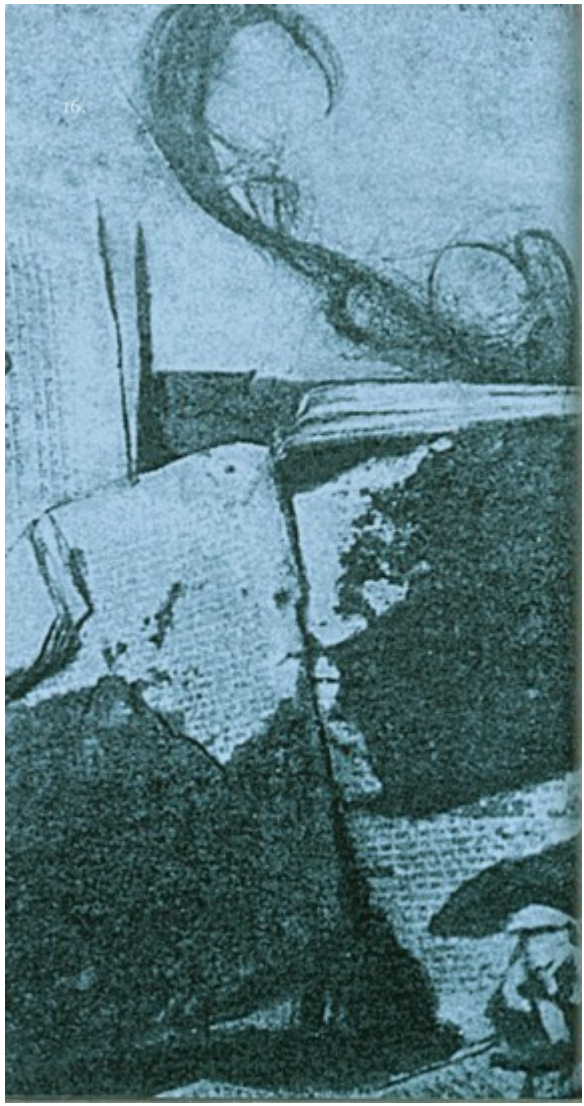
13. Одесса. 1917
Из архива агентства «ИТАР ТАСС»



14. Рукопись «Конармейского дневника» И. Бабеля. 1920
Из архива Лидии Исааковны Бабель



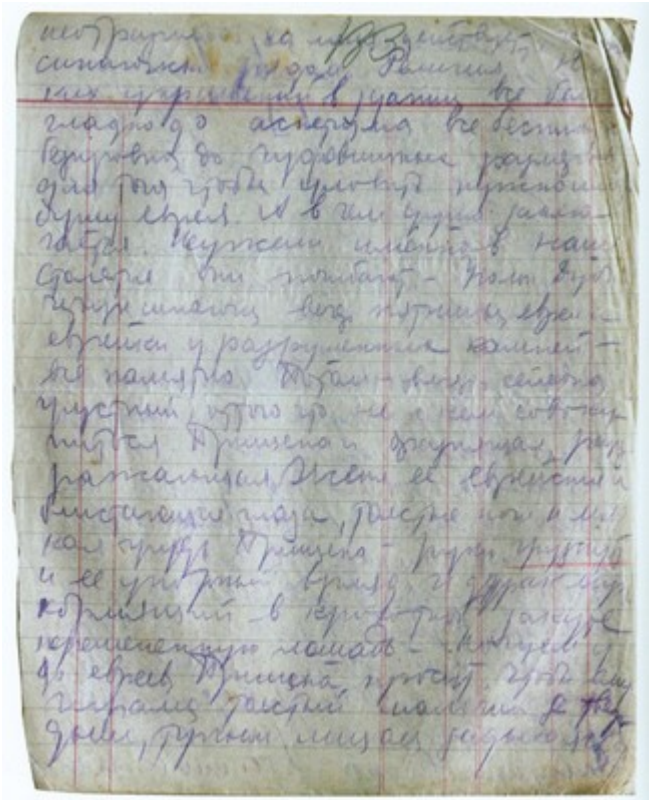
15. Рукопись «Конармейского дневника» И. Бабеля. 1920
Из архива Лидии Исааковны Бабель



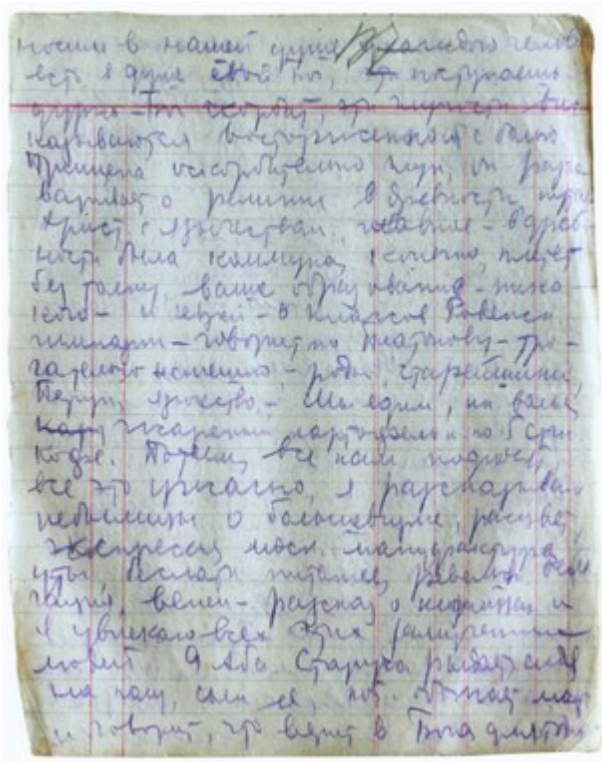
16. Из книги «Еврейские погромы, 1918–1921 годы». М.: Акц. Общество «Школа и книга». 1926

17. Вручение знамени Первой конной армии. Слева — командиры Первой конной Семен Буденный и Климент Ворошилов. 1919

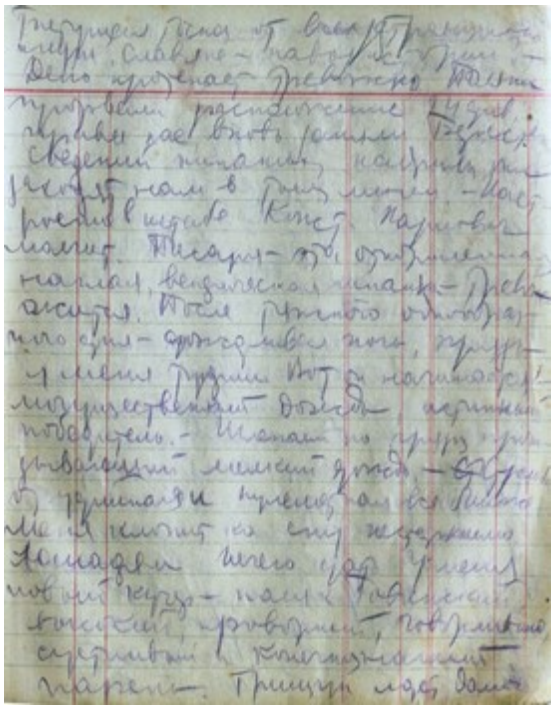
Из архива агентства «Россия сегодня»



18. Рукопись «Конармейского дневника» И. Бабеля. 1920
Из архива Лидии Исааковны Бабель



19. Рукопись «Конармейского дневника» И. Бабеля. 1920
Из архива Лидии Исааковны Бабель

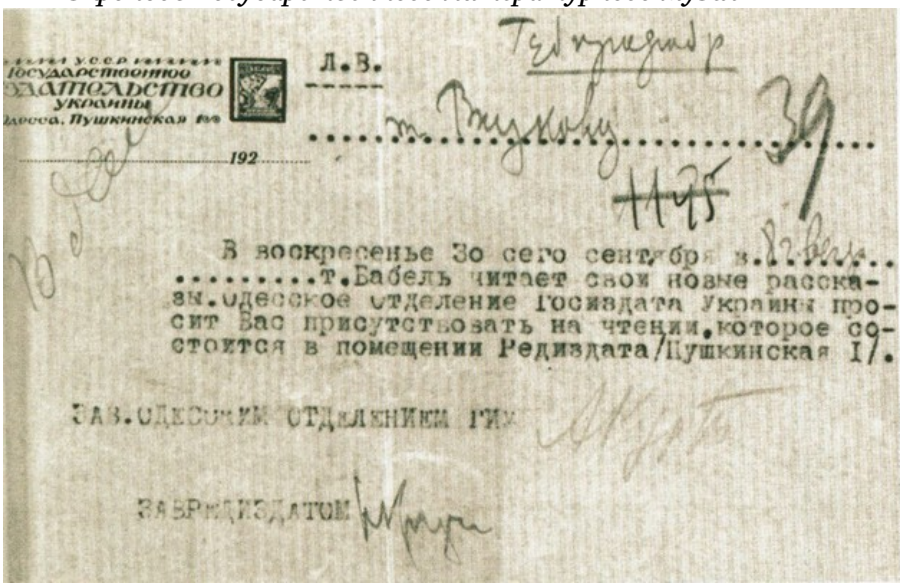


20. Рукопись «Конармейского дневника» И. Бабеля. 1920

Из архива Лидии Исааковны Бабель

21. Казак на лошади. Рисунок.
Художник Н. С. Самокиш. 1900-е

22. Евгения Борисовна Бабель, урожденная Гронфайн. 1920-е
Из фондов Государственного литературного музея


Государственное
издательство
Украины
Одесса, Пушкинская №6

Л.В.

Редиздат

т. Бабелю 39

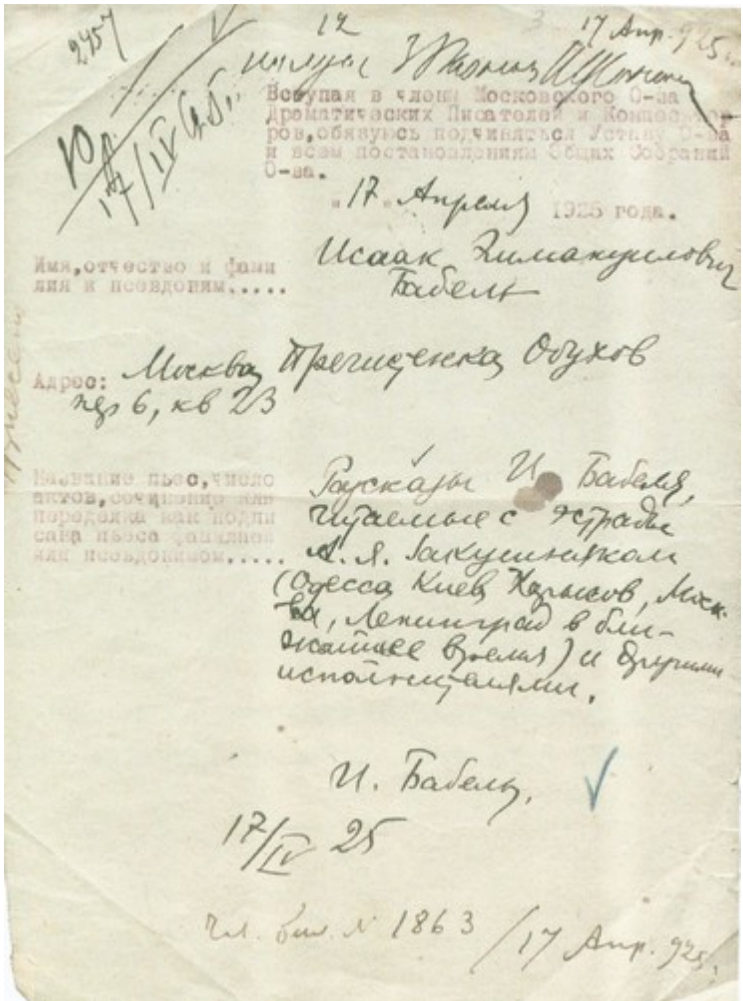
192

В воскресенье 30 сего сентября в...
.....т.Бабель читает свои новые расска-
зы.Одесское отделение Госиздата Украины про-
сит Вас присутствовать на чтении,которое со-
стоится в помещении Редиздата/Пушкинская 1/.

ЗАВ.ОДЕССКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГИЗ

ЗАВРЕДИЗДАТОМ

23. Приглашение. И. Бабель читает новые рассказы в помещении Редиздата/Пушкинская 1/. Одесса. 30 сентября 1923
Из фондов Одесского литературного музея



Вступая в члены Московского О-ва Драматических Писателей и Композиторов, обязуюсь подчиняться Уставу О-ва и всем постановлениям Общих Собраний О-ва.

17 Апреля 1925 года.

Имя, отчество и фамилия и псевдоним..... Исаак Эммануилович Бабель

Адрес: Москва Пречистенка Обухов пер 6, кв 23

Название пьес, количество актов, сочинение или переделка или подписание пьесы фамилией или псевдонимом..... Рассказы И. Бабеля, читаемые с эстрады А. Я. Закушняком (Одесса, Киев, Харьков, Москва, Ленинград в ближайшее время) и другими исполнителями.

И. Бабель.

12/IV 25

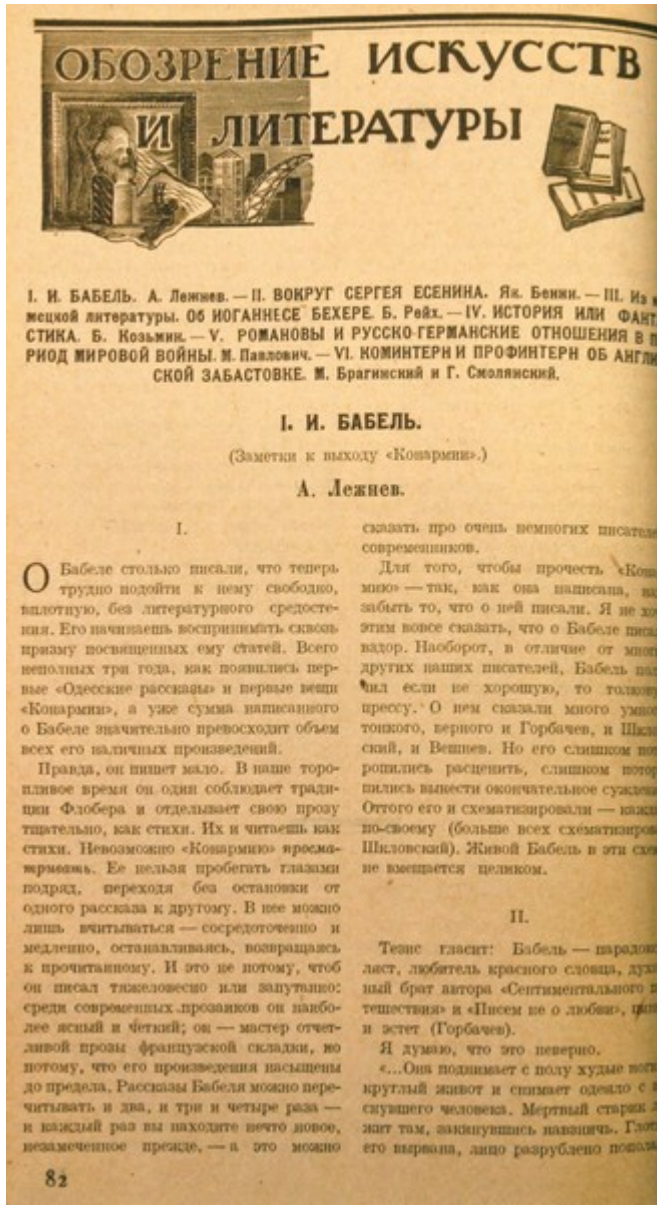
Ч. б. № 1863 / 17 Апр. 925.

24. Анкета Московского общества драматических писателей и композиторов (МОДПиК), заполненная И. Бабелем. Москва. 17 апреля 1925

Из фондов Государственного литературного музея. Ф. 151. Оп. 1. Ед. хр. 89

25. Обложка книги П. С. Когана «Красная армия в нашей литературе». М.: Военный вестник, 1926.

26. Обложка первого издания «Конармии». 1926



ОБОЗРЕНИЕ ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I. И. БАБЕЛЬ. А. Лежнев. — II. ВОКРУГ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. Як. Бенки. — III. Из ме
мецкой литературы. Об ИОГАННЕСЕ БЕХЕРЕ. Б. Рейх. — IV. ИСТОРИЯ ИЛИ ФАНТА
СТИКА. Б. Козьмин. — V. РОМАНОВЫ И РУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕ
РИОД МИРОВОЙ ВОЙНЫ. М. Павлович. — VI. КОМИНТЕРН И ПРОФИНТЕРН ОБ АНГЛИ
СКОЙ ЗАБАСТОВКЕ. М. Брагинский и Г. Смолянский.

I. И. БАБЕЛЬ.

(Заметки к выходу «Конармии».)

А. Лежнев.

I.

О Бабеле столько писали, что теперь трудно подойти к нему свободно, наивно, без литературного предостережения. Его начинаешь воспринимать сквозь призму посвященных ему статей. Всего неполных три года, как появились первые «Одесские рассказы» и первые вещи «Конармии», а уже сумма написанного о Бабеле значительно превосходит объем всех его наличных произведений.

Правда, он пишет мало. В наше торопливое время он один соблюдает традиции Флобера и отделывает свою прозу тщательно, как стихи. Их и читаешь как стихи. Невозможно «Конармию» *просматривать*. Ее нельзя пробегать глазами подряд, переходя без остановки от одного рассказа к другому. В нее можно лишь вчитываться — сосредоточенно и медленно, останавливаясь, возвращаясь к прочитанному. И это не потому, чтоб он писал тяжеловесно или запутанно: среди современных прозаиков он наиболее ясный и четкий; он — мастер отчеканной прозы французской складки, но потому, что его произведения насыщены до предела. Рассказы Бабеля можно перечитывать и два, и три и четыре раза — и каждый раз вы находите нечто новое, незамеченное прежде, — а это можно сказать про очень немногих писателей современников.

Для того, чтобы прочесть «Конармию» — так, как она написана, надо забыть то, что о ней писали. Я не хочу этим вовсе сказать, что о Бабеле писали вздор. Наоборот, в отличие от многих других наших писателей, Бабель получил если не хорошую, то толковую прессу. О нем сказали много умного, тонкого, верного и Горбачев, и Шкловский, и Вешнев. Но его слишком поторопились расценить, слишком поторопились вынести окончательное суждение. Оттого его и схематизировали — каждый по-своему (больше всех схематизировал Шкловский). Живой Бабель в эти схемы не вмещается целиком.

II.

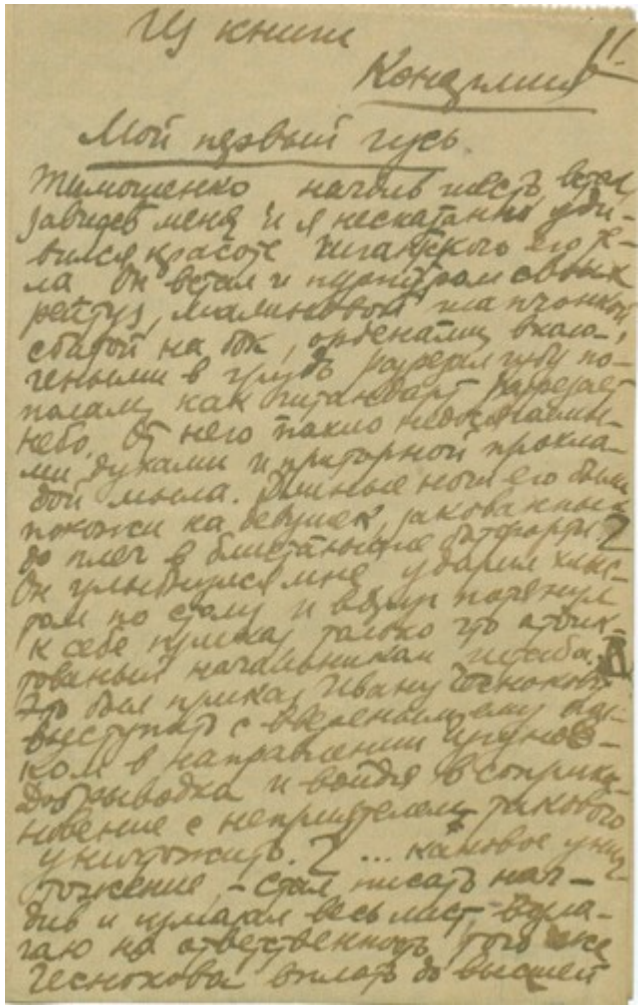
Тезис гласит: Бабель — парадоксалист, любитель красного словца, духовный брат автора «Сентиментального путешествия» и «Писем не о любви», циник и эстет (Горбачев).

Я думаю, что это неверно.

«...Она поднимает с полу худые ноги и круглый живот и снимает одеяло с высушего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам

27. Критическая статья А. Лежнева о творчестве И. Бабеля в журнале «Печать и революция». 1926.№ 6

28. Обложка журнала «Красная нива». 1927. № 8



29. Рукопись рассказа «Мой первый гусь» из цикла «Конармия».

Из фондов РГАЛИ

30. Шарж Бориса Ефимова на И. Бабеля из журнала «Красная нива». 1927. № 8

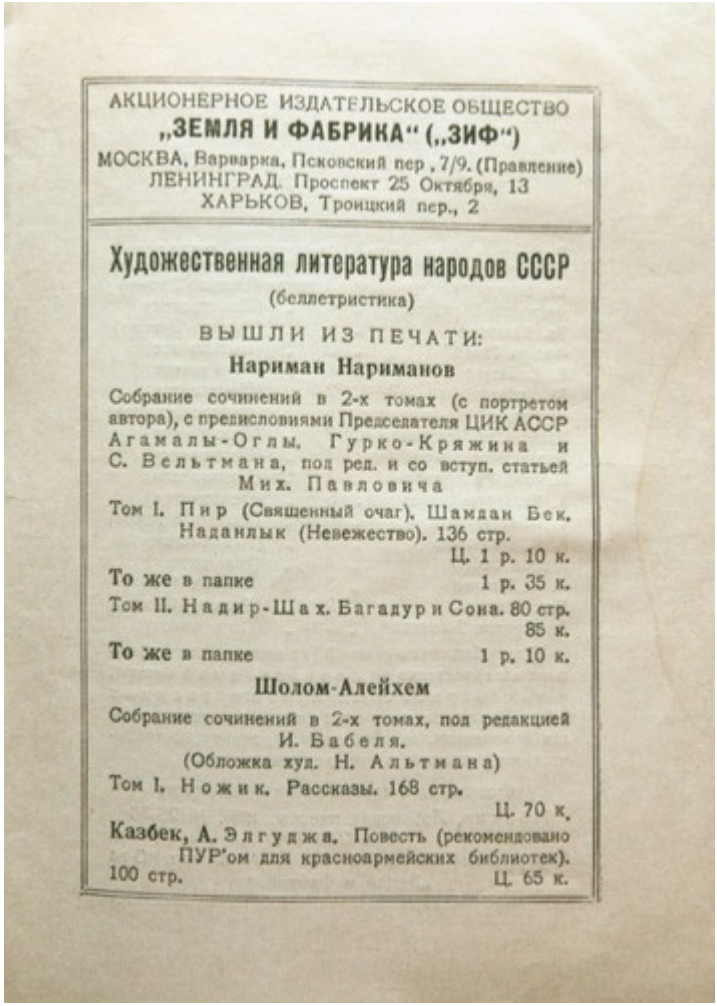
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И. БАБЕЛЯ

ТОМ II

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД



АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
„ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА" („ЗИФ")
МОСКВА, Варварка, Псковский пер. 7/9. (Правление)
ЛЕНИНГРАД. Проспект 25 Октября, 13
ХАРЬКОВ, Троицкий пер., 2

Художественная литература народов СССР

(беллетристика)

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Нариман Нариманов

Собрание сочинений в 2-х томах (с портретом автора), с предисловиями Председателя ЦИК АССР Агамалы-Оглы, Гурко-Кряжина и С. Вельтмана, под ред. и со вступ. статьей Мих. Павловича

Том I. Пир (Священный очаг). Шамдан Бек. Наданлык (Невежество). 136 стр. Ц. 1 р. 10 к.

То же в папке 1 р. 35 к.

Том II. Надир-Шах. Багадур и Сона. 80 стр. 85 к.

То же в папке 1 р. 10 к.

Шолом-Алейхем

Собрание сочинений в 2-х томах, под редакцией И. Бабеля.
(Обложка худ. Н. Альтмана)

Том I. Ножик. Рассказы. 168 стр. Ц. 70 к.

Казбек, А. Элгуджа. Повесть (рекомендовано ПУР'ом для красноармейских библиотек). 100 стр. Ц. 65 к.

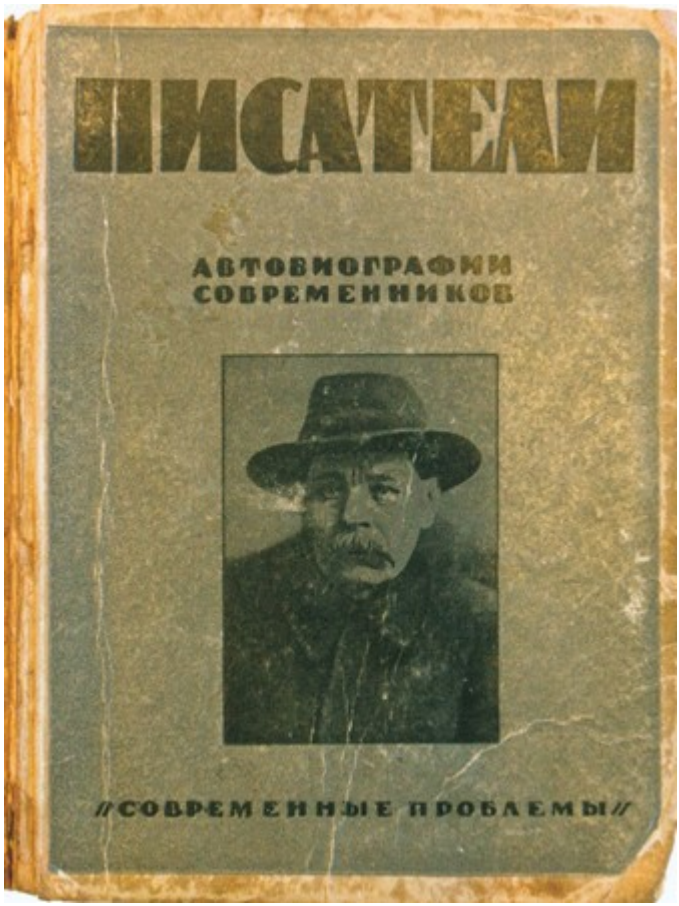
31. Обложка и оборот авантитула книги Шолом-Алейхема «Избранные сочинения. Т. 2. Мыльный пузырь»: М.-Л.: Земля и фабрика, 1927 (перевод с еврейского С. Гехта под редакцией И. Бабеля); полоса в сборнике «Мыльный пузырь» с рекламой 1-го тома «Избранных сочинений» Шолом-Алейхема под редакцией И. Бабеля

Из архива Давида Розенсона

32. Максим Горький. Фотография М. А. Шерлинга. Из брошюры «Русского общества для изучения еврейской жизни. Литературно-Музыкальный вечер». 22 марта 1916. Петроград

33. Член Революционного Военного Совета СССР Семен Буденный. 1 октября 1928

Из архива агентства «Россия сегодня».



34. Обложка книги «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков» под редакцией В. Лидина. М.: «Современные проблемы», 1928

35. Обложка книги «И. Бабель» под редакцией Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова из серии «Мастера современной литературы». Л.: «Academia», 1928

36. Проповедник. Летичев. 1913. Каталог «Опыты „молодого человека для фотографических работ“. Соломон Юдовин и русский пикториализм».

Из архива центра «Петербургская иудаика»

37. Шуточное фото И. Бабеля, опубликованное в журнале «Чудак». 1928. № 1 (декабрь)

Из архива Лидии Исааковны Бабель

38. И. Бабель с сестрой Мери. Бельгия. 1927
Из архива Лидии Исааковны Бабель

39. И. Бабель с сыном Михаилом. Мать ребенка — Тамара Владимировна Каширина. Москва. 1927

Из архива Государственного литературного музея

40. И. Бабель читает пьесу «Мария» в Литературном музее. 24 февраля 1934

Из архива Лидии Исааковны Бабель

41. Обложка издания пьесы «Мария». М.: Гослитиздат, 1935

МАРИЯ

И. БАБЕЛЬ

И. Бабель

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Муковнин Николай Васильевич
Людмила — его дочь
Фильзак Катерина Вячеславна
Дымшиц Исаак Маркович
Голицын Сергей Илларионович — бывший князь
Нефедовна — кликуша в доме Муковнина
Евстигнеич
Бишонков
Филипп
} инвалиды
Висковский — бывший ротмистр гвардии
Кравченко
Мадам Дора
Надзиратель — в милиции
Калмыкова — горничная в номерах на Невском, 86
Агаша — дворничиха
Андрей
Кузьма
Сушкин
} полотеры
Сафонов — рабочий
Елена — его жена
Нюшка
Милиционер
Пьяный — в милиции
Красноармеец с фронта

Действие происходит в Петрограде в первые годы революции

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Номера на Невском. Комната Дымшица — грязно, нагромождение мешков, ящиков, мебели. Два инвалида — Бишонков и Евстигнеич раскладывают привезенные продукты. У Евстигнеича — тучного человека с большим красным лицом — выше колен отняты ноги. У Бишонкова вшиблен пустой рукав. На груди у инвалидов — медали, георгиевские кресты. Дымшиц бросает на счетах.

Евстигнеич. Дорогу всю расшивали... Западберг бьет на Нарвщу — людям жить дали, убрали...

Бишонков. Слишком тиранит, Исаак Маркович.

Дымшиц. А Керенок есть...

Евстигнеич. Зачем есть — конешно... Дорогу как есть расшивали, все запрядаюшки вознае...

Бишонков. Слишком стало затруднительно с продуктовым делом, Исаак Маркович... К одной загранице привыкаешь, а ее уже нет. Хоть бы отбирали, а то ведь смерть к глазам приставляют.

Евстигнеич. Уже не день... Каждый день изобретение делают... Подъезжаем вонче к Царскосельскому — стрельба... Что такое... Думаем — власть отошла, а они это волу такую взяли — допреже всякого разбору бахать...

Бишонков. Большое богатство продуктов нонешний день отобрали. Детским, говорят, пойдет. В Царском селе в настоящее время один дети, коловня считается.

Евстигнеич. Детским, да с бородой...

Бишонков. А если я голодный — неужели ж я тебе не возьму? Обязательно я тебе возьму, если я голодный...

Дымшиц. Где Филипп? Я о Филиппе думаю... зачем вы человека бросили.

Бишонков. Мы его Исаак Маркович, не бросали: он чувства свои потерял.

Евстигнеич. Водит его кто-нибудь...

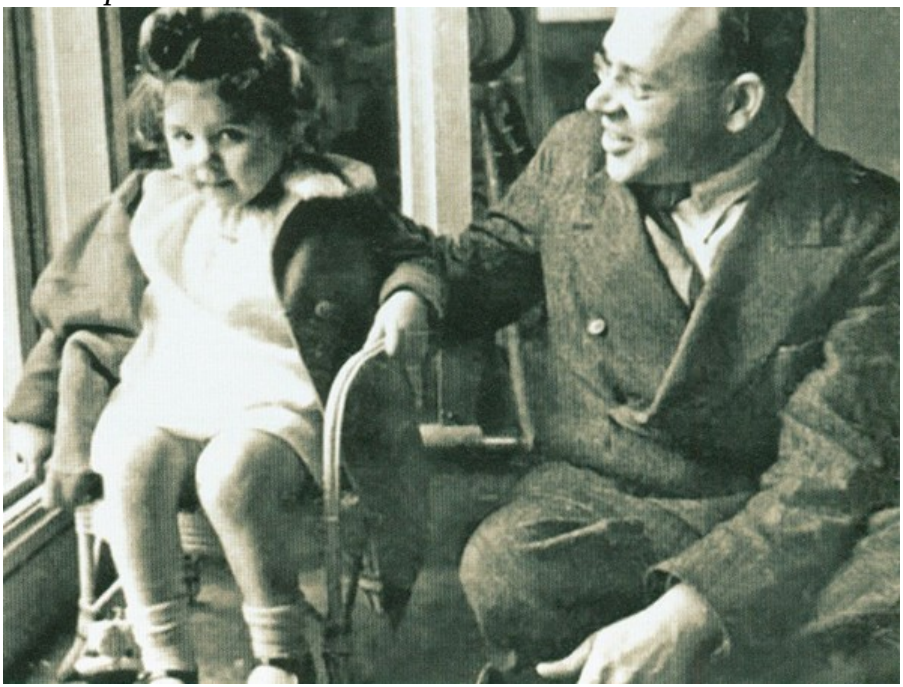
Бишонков. Одно слово — тиранство, Исаак Маркович.

Евстигнеич. Того же Филиппа взять — мужчина рослый, двигтивый, а внутренности нет, внутренность слабая... Подъезжаем к вокзалу — стрельба, народ плачет, водит. Я ему говорю: Филипп, говорю, мы форткой из Загородный пройдем, там вся цепочка своя... А уж он не тот, потерялся. Я, говорит, оглядеться нетти. Ну, говорю, оглядевшись, сиди... Спиртонос — божей человек, только в морду дазут, чего тебе бояться, из тебе один толс с пивом. А его уж к полу привяжешь... Мужчина сильный, лошадиная сила, а внутренность не та...

Бишонков. Мы так надеемся, Исаак Маркович, отыщется. За ним следу больного нет.

42. Публикация пьесы «Мария» в журнале «Театр и драматургия». 1935. № 3

43. Бабель на конном заводе в Молоденово. 1930
Из архива Лидии Исааковны Бабель



44. Бабель с Наташей, дочерью от первого брака. 1932-1933
Из архива Исаака Леопольдовича Лифшица

45. Антонина Николаевна Пирожкова и И. Бабель в поездке по Киевщине. 1933

Из архива Лидии Исааковны Бабель

46. И. Бабель в Тессели с М. Горьким, А. Мальро и М. Кольцовым. Апрель 1936

Из архива Лидии Исааковны Бабель

47. Антонина Пирожкова с дочерью Лидией. 1937
Из архива Лидии Исааковны Бабель

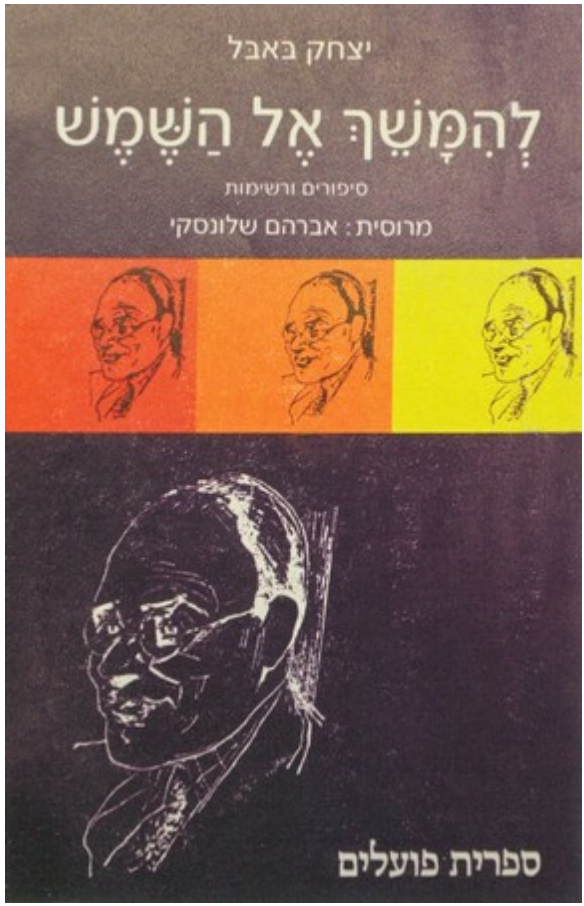
48. Фото И. Бабеля после ареста
Из архива Государственного литературного музея

49. Надгробие на могиле отца писателя Менахема-Маниса (ум. 1924), сына Леви-Ицхака Бабеля, впоследствии на памятнике было добавлено имя И. Бабеля.

Фотография опубликована: Encyclopedia Judaica, v. 12, Jerusalem: Keter Publishing House; New York: Macmillan Company, 1971 (статья «Odessa»)

50. Обложка сборника «Берешит» («В начале») с рассказами И. Бабеля «Гедали», «Рабби», «Письмо», «Сидоров» и «Сын рабби», впервые переведенными на иврит. Берлин. 1926

Из архива Давида Розенсона



51. Переиздание книги рассказов И. Бабеля «Потянуться к солнцу» («Лехимашех эль ашемеш») в переводе на иврит А. Шленского. «Сифрият поалим», 1984 (первое издание —1963)

52. Антонина Пирожкова с внуком Андреем. 1967
Из архива Лидии Исааковны Бабель

53. Давид Розенсон с Андреем Бабелем. 23 июня 2014
Фото Николая Бусыгина

54. Лидия Исааковна Бабель во время конференции в Государственном литературном музее, посвященной творчеству И. Бабеля. 23 июня 2014

Фото Николая Бусыгина

55. Исаак Бабель. Фото Татьяны Тэсс. Москва. 1930
Из фондов РГАЛИ

notes

Примечания

1

И. Э. Бабель. «Сын рабби».